

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

*Маше и сыну
Г.К.*

Г. А. КЛИМОВ

ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ АКТИВНОГО СТРОЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА
1977

В монографии обосновывается самостоятельность активного строя как языкового типа, отличного от номинативного и эргативного. В ней впервые устанавливаются основные структурные характеристики этого строя на уровне лексической, синтаксической и морфологической систем. Рассмотрены синхронный механизм функционирования активного строя и тенденции его развития. Установлена зависимость его специфики от определенного содержательного стимула. В заключении сформулирована гипотеза происхождения активного строя.

Ответственный редактор
доктор филологических наук
Г. В. КОЛШАНСКИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Проблемы контенсивной типологии, т. е. направления типологических исследований, ориентированных на содержание языковых форм, становятся в современном языкознании предметом все более пристального внимания. Этому едва ли приходится удивляться, если учитывать, что в отличие от формальных («чисто технических» — по выражению Э. Сепира) типологических схем, характеризующих ограниченные фрагменты поверхностной структуры языков, она имеет дело с целостными языковыми типами, мотивированными специфическими глубинными структурами. Ее неоспоримое преимущество перед формальной типологией состоит в значительно больших объяснительных возможностях и, в частности, в способности внести определенный вклад в разработку проблемы взаимоотношения языка и мышления.

Исследования нескольких последних лет дают основания утверждать, что в настоящее время возникла возможность сопоставить двум ранее постулированным целостным типологическим системам — номинативной и эргативной — третью, активный строй. Следует сразу же предупредить, что последний термин условен и не должен создавать иллюзии сколько-нибудь большей активности (в том или ином ее понимании) обозначаемого им языкового типа по сравнению с обоими первыми. Будучи производным от названия встречающейся в некоторых из его представителей структурной единицы — активного падежа (ср. аналогичное соотношение терминов «номинативный строй» и «номинатив», с одной стороны, и «эргативный строй» и «эргатив», с другой), он, таким образом, совершенно отличен по своему содержанию от встречающихся в ряде работ И. И. Мещанинова и некоторых других отечественных исследователей терминов «активный строй», «активность», «активная стадия», преимущественно связанных с анализом языков номинатив-

ной типологии, характеризующихся, как предполагалось, активизацией субъекта¹.

Активный строй можно коротко определить как такой тип языка, структурные компоненты которого ориентированы на передачу не субъектно-объектных отношений, а отношений, существующих между активным и инактивным участниками пропозиции. В соответствии с этим глаголы лексикализированы в нем по признаку активности ~ стативности «действия», а не транзитивности ~ интранзитивности, а субстантивы разделены на активные (одушевленные) и инактивные (неодушевленные). Соответственно, в синтаксисе здесь выступает корреляция активной и инактивной конструкций предложения, а также ближайшего и дальнейшего дополнений, и в морфологии — оппозиция активной и инактивной серий личных показателей глагола или активного и инактивного падежей имени и т. п.

Типология активных языков еще не служила предметом монографического исследования. Более того, до относительно недавнего времени самое ее понятие не было сколько-нибудь отчетливо сформулировано, и в существующей литературе активный строй квалифицировался в лучшем случае в качестве разновидности эргативного. Естественно поэтому, что и его конкретная проблематика, как правило, рассматривалась в рамках традиционной теории эргативности. Впервые попытка отграничения активной типологии языка, как принципиально отличной от эргативной, была предпринята автором настоящей монографии в ходе исследования проблемы генезиса эргативного строя².

Предлагаемая работа ставит своей основной задачей дальнейшее обоснование концепции активного строя как типологически совершенно самостоятельной системы разноразрядных (лексических, синтаксических и морфологических) признаков-координат языка, отличной как от

¹ Ср., например: *И. И. Мещанинов. Новое учение о языке. Стадильная типология.* Л., 1936, стр. 219—271, 329—342 (особенно — 334). — Объему формулируемого понятия активного строя до некоторой степени отвечает используемый И. И. Мещаниновым термин «пассивный строй».

² *Г. А. Климов. К характеристике языков активного строя.* — ВЯ, 1972, № 4; *Он же. Очерк общей теории эргативности.* М., 1973, стр. 213—254.

номинативной, так и эргативной систем. В соответствии с этим особое внимание в книге уделяется выработке адекватной модели описания его представителей. Поскольку до сих пор не изжитая опасная тенденция превращения целого ряда понятий дескриптивных грамматик номинативных языков в едва ли не универсальные категории лингвистического описания, автор руководствовался стремлением построить последнее в специфических терминах структуры активных языков.

Современные представители активного строя засвидетельствованы пока лишь на американском континенте. В Северной Америке они составляют сепировскую «большую семью» на-дене, а также группы сиу, мускоги (галф) и, по-видимому, ирокуа-каддо. Первая из них представлена сплошным массивом в северо-западной части Канады и в смежной зоне США (штат Аляска), а также отдельными вкраплениями на тихоокеанском побережье США и в южных отрогах Скалистых гор, вторая — в центральном регионе США (к востоку и юго-востоку от них локализируются языки ирокуа-каддо), третья — на юге, юго-востоке и востоке США.

Наиболее обширная по своему составу семья на-дене включает языки хайда, тлингит, эяк (все — на тихоокеанском побережье), а также большую совокупность близкородственных атапаскских языков: навахо (около 80 тыс. говорящих), апаче, чирикахуа, хупа, маттоле, сарси, чипевья, карьер и др.³ В группу сиу входят языки дакота, ассинибойн, понка, тутело, хидатса, крау, офо, айова, катамба и др. (вероятно, большинство из них не может рассматриваться в качестве представителей строго выдержанной активной типологии). К группе мускоги (галф) чаще всего причисляют языки мускоги (или крик), хичити, коасати и чоктав, хотя иногда к ним относят и ряд других, типологический облик которых менее ясен⁴. Наконец, группа ирокуа-каддо, иллюстрирующая, вероятно, позднее активное состояние, представлена близко-

³ К классификации последних см.: *H. Hovjer. The Chronology of the Athapaskan Languages.* — *IJAL*, v. 22, 1956, стр. 219—232.

⁴ О генетических связях языков мускоги с натчез см.: *M. R. Haas. Catches and the Muskogean Languages.* «*Language*», v. 32, 1956, стр. 61—72; ср.: *Она же. A New Linguistic Relationship in North America: Algonquian and the Gulf Languages.* «*Southwestern Journal of Anthropology*», v. 14, 1958, стр. 231—264.

родственными ирокезскими языками (гурон, могавк, онеида, сенека, опондага и др.), чероки и др.⁵ Существуют основания полагать, что к числу активных должен быть отнесен и обособленно стоящий североамериканский язык ючи (Yuchi), ареально соприкасающийся с территорией распространения группы ирокуа-каддо (небезынтересно заметить, что существует гипотеза об отдаленных генетических связях ючи с языками сиу и на-дене⁶).

Представители активного строя зафиксированы также в Южной Америке, где к ним относится большая совокупность языков тупи-гуарани. Всего насчитывается около пятидесяти членов этой лингвистической семьи, локализующихся в Бразилии, Парагвае, Аргентине, Боливии и Перу и распределяющихся по семи группам: 1) собственно тупи-гуарани, к которой, помимо тупи (его старая вариация — так называемый тупинамба — в источниках XVI и XVII вв. известна под именем *lingua geral*, т. е. общего языка атлантического побережья Бразилии) и гуарани (как старого, так и современного, известного под названием *Avanêê*), относятся такие языки, как кайва, камаюрá, авети, кокама, омагуа, мундуруку, сирионо, а также: 2) юруна, 3) арикем, 4) тупари, 5) рамарама, 6) монде и 7) пурубора⁷.

Можно надеяться, что языки активной типологии в будущем удастся обнаружить и среди других слабо или почти неизученных языков не только Америки, но и иных континентов. Во всяком случае некоторые основания для такой надежды дают имеющиеся описания их тех или иных фрагментов, отрывочность которых не позволяет в настоящее время прийти к сколько-нибудь определенным выводам.

⁵ О генетических взаимоотношениях языков сиу и ирокезских см.: L. Allen. Siouan and Iroquoian. — *IJAL*, v. 6, 1931, № 3—4; также: W. L. Chafe. Another Look at Siouan and Iroquoian. «*American Anthropologist*», v. 66, 1964; *Он же*. Siouan, Iroquoian and Caddoan. «*Current Trends in Linguistics*, 10. Linguistics in North America». The Hague — Paris, 1973, стр. 1189—1199.

⁶ Ср.: M. R. Haas. Athapaskan, Tlingit, Yuchi and Siouan. XXX Congreso internacional de Americanistas, 2. Mexico, 1962, стр. 495—500.

⁷ A. D. Rodrigues. Classification of Tupi-Guarani. — *IJAL* v. XXIV, 1958, стр. 231—234; *Он же*. Die Klassifikation des Tupi-Stammes. «*Proceedings of the 32nd International Congress of Americanists*». Copenhagen, 1958, стр. 679—684.

Не исключено, в частности, что активные языки представлены в индонезийском и меланезийском ареалах. Так, в филиппинской лингвистике отмечены явления, напоминающие типичные импликации активной типологии. В соответствующих дескриптивных исследованиях систематически используются понятия активного и пассивного глаголов (active ~ passive verb), активной и пассивной конструкций предложения (active ~ passive sentences), а соответствующая терминологическая традиция, по-видимому, восходит еще к словоупотреблению у Л. Блумфилда⁸. Например, в статье, посвященной моделям предложения в группе филиппинских языков, Э. Константино пишет следующее: «В активном предложении глагол—сказуемое есть активный глагол. Активным глаголом является такой, который сочетается с подлежащим—агентом (actor—subject), как например, глагол 'убегать' в предложениях (8)—(12); если этот глагол имеет аффикс, то это активный аффикс. Каждый из двадцати шести филиппинских языков, кроме тер(нате), имеет по несколько активных аффиксов. . . »⁹ Напротив, «пассивное предложение является таким глагольным, в котором предикат передается пассивным глаголом. Пассивный глагол сочетается с подлежащим—недеятелем (non—actor subject) и имеет дополнение—пассивного деятеля. . . Дополнение пассивного деятеля следует непосредственно за пассивным глаголом и предваряется маркером пассивного деятеля. Пассивный глагол также характеризуется как обладающий пассивным аффиксом. Каждый из двадцати шести филиппинских языков имеет несколько пассивных аффиксов»¹⁰. В другой статье, характеризующей один из фрагментов глагольной структуры языка дибабавон (на севере провинции Давао острова Минданао из группы Филиппинских), отмечается, что здесь «главное разграничение по дистрибутивному признаку проводится между стативными и активными глаголами. Стативные глаголы описывают состояние или эффект, произведенный на аффектант (affectant) процессом или событием, и заполняют основную позицию пре-

⁸ L. Bloomfield. Tagalog Texts with Grammatical Analysis. «University of Illinois. Studies in Language and Literature», v. 3. Urbana, 1917.

⁹ E. Constantino. The Sentence Patterns of Twenty Six Philippine Languages. «Lingua», v. 15, 1965, стр. 79.

¹⁰ Там же, стр. 85—86.

диката стативных глагольных предложений. Активные глаголы описывают действие или активность, осуществляемые деятелем (actor), и заполняют основную позицию предиката активных глагольных предложений»¹¹.

Не исключено, что отдельные представители активной типологии (скорее всего, проводимой непоследовательно) встречаются и на континенте Австралии. Во всяком случае с подобной возможностью заставляют считаться приводимые в специальной литературе дескриптивные характеристики отдельных австралийских языков. Ср., например, указание на то, что в языке алава показателем «эргативного» падежа оформляется подлежащее конструкций предложения, ощущаемых как транзитивные (to be felt transitive) независимо от того, является ли их глагольное сказуемое двухличным или одноличным. В этом же языке в позиции деятеля (actor) способен выступать лишь класс имен, обозначающих живые существа, а также подвижные предметы (такие, как лодки, машины, самолеты)¹².

Необходимо упомянуть, наконец, что типология таких древних языков Ближнего Востока, как эламский (собственно, раннеэламский) и отчасти хурритско-урартские, по крайней мере в своих существенных чертах носила активный облик. В частности, в хурритском *verba movendi* и некоторые другие интранзитивные глаголы, так называемые *Tatverba*, имеют транзитивное спряжение, и их подлежащее оформляется особым падежом, квалифицирующимся как агентив¹³. Подобные черты проступают и в современных эскимосско-алеутских языках.

В целом в монографии рассматриваются три категории эмпирических объектов. Центр тяжести исследования приходится на представителей активной типологии, реально засвидетельствованных на лингвистической карте мира. Другую категорию его объектов составляют так или иначе напоминающие их отдельные древние языки Ближнего Востока, представленные лишь памятниками письменности. Наконец, третью группу объектов здесь

¹¹ J. Forster and M. L. Barnard. A Classification of Dibatawon Active Verbs. «Lingua», v. 20, 1968, № 3, стр. 265.

¹² Ср.: M. C. Sharpe. Alawa case relationship. «Linguistic Trends in Australia. Australian Aboriginal Studies». Canberra, 1970, № 23, стр. 43—44.

¹³ Ср.: Н. Ногадзе. Транзитивные и интранзитивные глаголы в хурритском. «Мацне», 1973, № 1, стр. 153—164 (на груз. яз.).

образуют некоторые уже реально не засвидетельствованные, а лишь реконструируемые праязыковые системы (общеиндоевропейская, общекартвельская, общенисейская, общеафразийская и нек. др.), лучше всего укладывающиеся в схему активного строя.

Естественно, что решающее во всех отношениях значение придается показаниям живых активных языков. Конечно, их сравнительная немногочисленность, равно как и далеко не всегда достаточная адекватность существующих описаний, не позволяет пока дать исчерпывающую характеристику активного строя. Однако, несмотря на то что в дальнейшем понятие последнего, несомненно, будет уточнено, его структурное своеобразие представляется достаточно очевидным и в настоящее время. Что касается его исторически документированных представителей, то здесь сталкиваемся со всеми теми трудностями, с которыми связана структурная интерпретация мертвых языков. Вместе с тем реконструируемые праязыковые системы служат в работе не столько опорным материалом исследования, сколько иллюстрациями общих положений, к которым последнее приводит. Особенно широкое место в работе отводится фактам ближе знакомых автору картвельских языков, до сих пор сохраняющих ощутимый контакт с активным строем.

Подобно монографии автора, посвященной теории эргативности, настоящая работа строится из пяти основных разделов. В ее первой главе коротко излагается история изучения рассматриваемой проблематики. Предмет второй главы составляет опыт формулировки основных понятий теории активности — активной конструкции предложения, активной типологии последнего, а также активного строя языка в целом. Здесь же попутно дается описание морфологической специфики членов предложения в активных языках. Наконец, в этой же главе некоторые исторически засвидетельствованные и реконструированные структуры отождествляются в качестве активных. Третья глава содержит общую характеристику механизма синхронного функционирования активного строя, а также семантической детерминанты, обуславливающей его структурный облик. В четвертой главе прослеживаются наиболее существенные диахронические закономерности развития активных языков. Наконец, в последней главе излагается опыт рассмотрения проблемы генезиса активного строя.

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ АКТИВНОГО СТРОЯ

В истории исследования активного строя как особого структурного типа языков не существует какой-либо традиции. Как известно, реальные представители этой типологии принадлежат к числу малоизученных языков. Поэтому естественно, что к настоящему времени не сложилось не только сколько-нибудь общей теории активного строя, но не было разработано и его частных теорий, построенных на фактическом материале каких-либо его представителей. В частности, не имеет отношения к сфере контенсивной типологии и встречающееся в современной американистической литературе понятие атапаскского языкового типа, основанное на некоторых критериях чисто формального порядка¹. Не выработало соответствующей частной теории и индоевропейское языкознание, пришедшее в ходе реконструкции древнейшего протоиндоевропейского состояния к целому комплексу признаков активной типологии (впрочем, этого было и трудно ожидать, поскольку в течение длительного времени достоянием науки оставались лишь фрагменты этого комплекса, к тому же в лучшем случае рассматривавшиеся сквозь призму традиционной теории эргативности).

Тем не менее, представляется возможным наметить три различных линии исследования, без учета прогресса которых трудно было бы сформулировать понятие активной типологии. Первая из них, связанная с конкрет-

¹ Ср.: *H. Hoijer. The Athapaskan Languages. «Studies in the Athapaskan Languages». University of California Publications in Linguistics, 29. Berkeley and Los Angeles, 1963; также: G. W. Tharp. The Position of the Tsetsaut among Northern Athapaskans. — IJAL, v. XXXVIII, 1972, № 1.*

выми работами в области древнейшей структуры индоевропейских языков, вторая — по существу укладывавшаяся в рамки теории эргативности и, наконец, третья — сводившаяся к дескриптивному анализу засвидетельствованных активных языков, в течение длительного периода почти не обнаруживали точек соприкосновения. Едва ли будет преувеличением сказать, что своим становлением теория активного строя прежде всего обязана индоевропеистике и теории эргативности. В то же время, как это ни парадоксально, изучение самих активных языков до последнего времени давало для нее крайне мало. Впрочем, говорить здесь о каком-либо действительном парадоксе не приходится, если учесть, что это исследование, как правило, ориентировалось на иноструктурные модели описания.

Наиболее ранние миссионерские грамматики языков тупи и гуарани, являвшиеся основным источником знаний о них еще на протяжении всего XIX столетия, строились по схеме латинской, опиравшейся в тот период на принципы философской грамматики². Ясно, что подобный подход с самого начала лишил науку информации о подлинных структурных характеристиках этих языков. Практически мало что изменилось в этом отношении в XIX—начале XX в., когда представления об их строе формулировались в терминах описания языков номинативной типологии. Так, этим языкам приписывалось функционирование чуждой им глагольной категории залога, под которую подводилось различие каузатива, взаимной и так называемой возвратной (фактически — нецентробежной) версий активного глагола. Личные префиксы в морфологической структуре глагольных и именных образований не были сколько-нибудь четким образом отграничены от соответствующих личных местоимений. Поверхностное знакомство со структурой этих языков приводило нередко к самым нелепым выводам. Так, согласно грамматике Жозе Аншиета, в языке тупи имеет место спряжение имен (в качестве иллюстрации

² Ср.: *P. Josè de Anchieta. Arte de Gramática da Lingua mais usada na Costa do Brasil. Coimbra, 1595 (São Paulo, 1946); L. Figueira. Arte da Lingua Brasilica. Lisboa, 1621; A. R. de Montoya. Tesoro de la lengua guaraní. Madrid, 1639; Он же. Arte y vocabulario de la lengua guaraní. Madrid, 1640; Он же. Catecismo de la lengua guaraní. Madrid, 1640.*

приводится изменение по лицам стативного глагола 'быть добрым, хорошим': хе-сатû 'я добрый', nde-сатû 'ты добрый', у-сатû 'он добрый'), неизменяемые по падежам именные формы квалифицируются в понятиях падежной парадигмы латинского имени (номинатива, генитива и т. п.)³.

С опорой на структурную модель номинативной системы выполнено и известное краткое описание языка тлингит (колошенского) И. Е. Вениаминова⁴. Об этом могут свидетельствовать, например, его следующие формулировки: «частей речи в колошенском языке можно найти столько же, как и в русском» (стр. 9; среди них на стр. 10 упоминаются и прилагательные), «падежей я заметил только два, а именно: именительный, или общий, и творительный. Наприм., те 'камень', 'камня' и проч., теч 'камнем'» (стр. 9), «в глаголах замечается два залога: действительный и страдательный» (стр. 13).

Типичный образец подобного описания содержится, например, в пространной грамматике языка дакота, опубликованной в 1852 г. С. Риггсом, на которую впоследствии опирались многие языковеды⁵. В ней налицо много ошибочного в структурной квалификации как глагола, так и имени. Здесь, в частности, безоговорочно постулируется наличие класса прилагательных (стр. 34—37, 55—57), к которому причислена не только чистая основа стативного глагола (вероятно, этим объясняется высказываемое на стр. 16 мнение о существовании в дакота глаголов, образованных от прилагательных), но и количественные, и порядковые числительные, покрываемые термином «numeral adjectives» (стр. 56). На целом семантических основаниях в языке принимается и

³ P. Josè de Anchieta. Arte de Gramática da Língua mais usada na Costa do Brasil. São Paulo, 1946, стр. 11—12, 23—25, 46 и др. [цит. по:] G. F. Guizzetti. Sentido, distribución y significado en el análisis funcional de las estructuras idiomáticas indoamericanas. «Revista de Antropología», v. 6°. São Paulo, 1958, № 2.

⁴ «Замечания о колошенском и кадыякском языках и отчасти о прочих российско-американских с присовокуплением российско-колошенского словаря, содержащего более 1000 слов, из коих на некоторые сделаны пояснения». Сост. Иван Вениаминов в Ситке. СПб., 1846.

⁵ Grammar and Dictionary of the Dakota Language (ed. by S. R. Riggs). «Smithsonian Contributions to Knowledge». N. Y., 1852.

функционирование причастий активного и пассивного залога (ср. стр. 19 и 54). Встречаемся в этой грамматике и с использованием понятий транзитивного и интранзитивного глагола. Хотя структура языка и заставляла составителя использовать термины *active verbs* и *neuter (/ / adjective) verbs*, подобное словоупотребление опиралось на весьма неопределенные критерии. Достаточно заметить, например, что *wa-ti* 'я живу, обитаю' (с префиксом 1-го лица активного ряда) считается словоформой нейтрального, а не активного глагола, в то время как позднее К. Уленбек без колебаний видел ее активный характер и даже допускал, что в каком-то отношении с точки зрения носителей языка она может оказаться формой транзитивного глагола⁶. Без каких-либо на то оснований здесь, наконец, признается наличие глагольного инфинитива, якобы совпадающего по форме с чистой основой глагола (стр. 18). В сфере именной морфологии в этом по существу беспадежном языке принимается различие в местоимениях и существительных падежей, квалифицируемых в качестве номинатива, объектива и посессива. Причем если в местоимениях оно аргументируется некоторыми формальными признаками, то в субстантивах оно всецело выводится из их позиции в предложении: ср. *Dawid Sopiya waštedaka* 'Давид (им. пад.) Софью (объектн. пад.) любит' или *Dakota Bešdeke wičakteri* 'Дакота (им. пад.) людей фокс (объектн. пад.) убили' (см. 9—11, 32). Уже на чисто семантических основаниях в языке констатируется различие имен мужского и женского родов (стр. 31—32). В то же время в грамматике по существу оказались незамеченными не только такие частные явления, как различие в прономинальной системе инклюзива ~ эксклюзива (смешанное с категорией двойственного числа), а также противопоставление в имени притяжательных форм органической и неорганической принадлежности (соответствующие факты трактуются как различие «имен частей тела» и «имен вещей»), но и более важные структурные черты языка.

Конечно, невозможно отрицать адекватности целого ряда наблюдений в этой грамматике («субъектно-объект-

⁶ Ср.: Х. К. Уленбек. Пассивный характер переходного глагола или глагола действия в языках Северной Америки. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 85.

ный» характер глагольного спряжения, формы фреквентатива и версии в глагольной словоформе, наличие эмфатических и неэмфатических серий личных местоимений, правило постпозиции определений и др.), сделанных, вопреки предвзятой схеме описания, под давлением языковых фактов.

Сказанного, вероятно, достаточно, чтобы объяснить, почему даже такой тонкий исследователь «внутренней формы» языка, как В. Вундт, не смог заметить столь существенной для дакота роли противопоставления одушевленного и неодушевленного начал, о чем свидетельствует его высказывание, что здесь «обе категории различаются только тем, что множественное число одушевленных обозначается суффиксом, который в других случаях отсутствует»⁷. Следует осознать и ту прозорливость, которой должен был обладать пользовавшийся этой грамматикой К. Уленбек, чтобы увидеть фактическую принадлежность дакота к языкам неноминативной типологии.

В более поздних работах французского лингвиста Р. де ля Грассери, много занимавшегося американскими языками, обычно также встречаемся с распределением глаголов на транзитивные и интранзитивные (по отношению к таким активным языкам, как тупи, гуарани, дакота и др.). Кажется поэтому неожиданным, что, напротив, разделение глаголов на активные (*verbes actifs*) и нейтральные (*verbes neutres, absolues, passifs*) принималось им для являющихся в своей основе уже эргативными алгонгинских языков, лишь сохраняющих более или менее тесные связи с активной типологией⁸. Хотя он и отмечал отсутствие, например, в языках тупи-гуарани «абсолютного залога», он констатировал здесь вместе с тем наличие целого ряда «относительных залогов» (*les voix relatives*), под которые ошибочно подводил нецентробежную форму активного глагола

⁷ W. Wundt. *Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte.* Bd I. Die Sprache, T. 2, Aufl. 2. Leipzig, 1904, стр. 20. — Здесь нелишне упомянуть, что В. Вундт высказывался в пользу посессивности структуры глагольных словоформ в атапаскских языках (стр. 142).

⁸ R. de la Grasserie. *Du caractère concret de plusieurs familles linguistiques Américaines. Études de grammaire comparée.* Paris, 1914, стр. 42—43, 53.

(ср. формы *o-je-aysú* 'он любит себя' или *o-rogo-ary* 'он горит' в гуарани), а также его взаимную версию (ср. *ja-jo-aysú* 'мы любим друг друга', *re-jo-yuka* 'вы убиваете друг друга' в том же языке)⁹. Нечетко отделял здесь Р. де ля Грассери личные префиксы глагольных словоформ от личных местоимений, посессивные формы имен существительных в гуарани были квалифицированы им как формы «спряжения имени»¹⁰.

Нельзя, конечно, отрицать зависимости представлений Р. де ля Грассери от имевшихся крайне несовершенных описаний представителей активного строя (в частности, по языкам тупи-гуарани он опирался на старые грамматики Ж. Аншиеты, Л. Фигейры, А. Р. де Монтойи). Однако немало неадекватных утверждений содержится и в описательных очерках отдельных активных языков, принадлежащих ему самому. Так, в беспомощном языке хайда он видит наличие номинатива и аккузатива, «которые не имеют показателей», пассивного залога, имени прилагательного, а также разбиение глаголов на транзитивные и интранзитивные¹¹. Аналогичным образом в описании языка тлингит автор не сомневается в наличии прилагательных и различении глагольных форм действительного и страдательного залога, оперирует понятиями транзитивных и интранзитивных глаголов; бросается в глаза и неудачная попытка распределить личные показатели глагола по субъектной и объектной сериям — в обоих рядах оказались представлены одни и те же формы¹².

По-видимому, наиболее значительным итогом исследования активных языков в XIX в. явилось возникновение в лингвистике представления о более высокой степени конкретности их строевых элементов как на лексическом, так и грамматическом (в основном — морфологическом) уровнях. В качестве соответствующих иллюстраций фигу-

⁹ Он же. *De la categorie des voix. Études de grammaire comparée*. Paris, 1899, стр. 116—117, 120—122.

¹⁰ Р. де ля Грассери. *Conjugaison pronominale. Études de grammaire comparée*. Paris, 1900, стр. 76, 69, 160.

¹¹ Он же. *Cinq langues de la Colombie Britannique. Haïda, Tshimshian, Kwagiutl, Nootka et Tlinkit. Grammaires, vocabulaires, textes traduits et analysés. «Bibliothèque linguistique Américaine», t. XXIV*. Paris, 1902, стр. 24—25, 11, 42—43, 30, 50—51.

¹² Там же, стр. 474, 483—484, 479—480, 475.

рировали и различие инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа, и наличие посессивной флексии имен существительных и некоторые иные их факты.

Общая ориентация на модель описания языков номинативного строя дает себя знать и в дескриптивных работах исследователей активных языков в XIX—первой половине XX столетия. Особенно ярко она выступает в публикациях по языкам тупи-гуарани¹³.

Модели описания структуры номинативного строя следует в основном переизданная в 1960 г. грамматика языка тупи (*lingua geral*) А. Фернандеса. Наряду с именем существительным и глаголом автор безоговорочно постулирует здесь и имя прилагательное. В субстантивах он без оснований различает мужской, женский и средний род (более интересно его замечание на стр. 110, согласно которому имена служат для обозначения как одушевленных, так и неодушевленных референтов). В грамматике на чисто семантических основаниях выделяются транзитивные и интранзитивные глаголы (более интересна формулировка, что глагол выражает действие или состояние, стр. 146 и 156).

В соответствии с этим здесь различаются формы действительного и страдательного залога транзитивного глагола, а на уровне членов предложения говорится о различии прямого и косвенного дополнения. Автор безоговорочно видит в языке глагольные времена и фиксирует в нем причастия. Единственное, что несколько оправдывает подобный подход, заключается в том, что *lingua geral* действительно несколько номинативизован вследствие участия в становлении его норм элементов португальского языка.

Тенденция к описанию активных языков в адекватных их структуре терминах намечается гораздо позднее. В исследованиях по языкам тупи-гуарани она заявляет

¹³ Ср., например: P. Constantino Tastevin. Gramática da Língua Tupi. «Revista do Museu Paulista», t. XIII. São Paulo, 1923; P. Justo Bottignoli. Gramática Razonada de la Lengua Guaraní. Montevideo, 1940; S. Muniagurria. El Guaraní. Buenos-Aires, 1947; P. Antonio Guash. El idioma Guaraní (gramática y antología de prosa y verso). 3-e ed. Asuncion, 1956, стр. 113—119. A. Fernandes. Gramática Tupi (Histórica, Comparada e Expositiva). 2ª ed. Rio de Janeiro, 1960.

о себе в работах таких современных авторов, как А. Товар, Р. П. Лемос Барбоса, Г. Ф. Гизетти¹⁴.

С точки зрения предмета настоящей работы особое внимание обращают на себя публикации аргентинского исследователя Г. Ф. Гизетти, для которых характерны поиски истолкования структуры языка гуарани с содержательных позиций. Автор исходит из общей предпосылки, согласно которой язык «рассматривается как знаковая система культуры: язык, действительно, отражает психо-социальные различия, обусловленные определенной культурой, поскольку языковые структуры являются значащими системами, употребляемыми человеком в его общественной жизни и которые обусловлены во всех своих проявлениях культурными моделями»¹⁵. Его работы, стремящиеся установить наличие параллелизма между структурой языка и моделью мира, создаваемой его носителями, приводят к выводу, что «рассматривая параллелизм между языком и культурой и особый статус языка как культурного явления, становится возможным исследовать соответствующие психокультурные феномены посредством семантического анализа языковых структур»¹⁶. Очень важно, в частности, содержащееся в них признание того обстоятельства, что «наши глаголы, субстантивы и прилагательные не имеют точных соответствий в языке гуарани»¹⁷. Обращает на себя внимание моделирование Г. Ф. Гизетти системы личных местоимений в гуарани в терминах активного и пассивного соучастников диа-

¹⁴ A. Tovar. Ensayo de caracterización de la lengua guaraní. «Anales del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo», t. IV. San Martín, 1950, стр. 114—126; R. P. Lemos Barbosa. Perfil da Língua Tupi. «Pequeno Vocabulário Tupi-Português». Rio de Janeiro, 1951; G. F. Guizzetti. Gramática Funcional del Idioma Guaraní, según el Modelo Axiomático Generativo, Morfosintaxis Básica. Rosario (Argentina), 1963.

¹⁵ G. F. Guizzetti. Langue, conception du monde et perception de l'espace chez les Guaraní. «Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 1962, № 7, стр. 41.

¹⁶ Он же. Los fenómenos psicoculturales de índole inconsciente. «Investigaciones en sociología». Año 1, Mendoza, Argentina, 1962, № 2, стр. 119.

¹⁷ Он же. Sentido, distribución y significado en el análisis funcional de las estructuras idiomáticas indoamericanas. «Revista de Antropología», Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, v. 6, 1958, № 2, стр. 200.

лога¹⁸. Автор, по всей вероятности, прав, когда приписывает интенсивно протекающую перестройку аспектно-темпоральной системы глагола испанизованного гуарани результату языкового взаимодействия¹⁹. В целом работы авторов этого направления наиболее сильны в своей критической части, ставящей под сомнение адекватность многих представлений науки прошлого о структуре этих языков. В то же время значительно более скромными рисуются успехи ее позитивной стороны, во многом имеющей характер программы будущих исследований.

Впрочем, отдельные ценные в рассматриваемом плане наблюдения были сделаны и вне этого направления. Так, в парагвайской лингвистической традиции были выделены два функционально различных ряда личных глагольных аффиксов, в соответствии с закономерностями, дистрибуции которых были выявлены два основных класса глагольных слов в языке гуарани: так называемые «*verbos areales*» (по префиксам 1-го лица *a-* и 2-го лица — *re-*), с одной стороны (с подклассом «*verbos aireales*») и «*verbos xen-dales*» (по префиксам 1-го лица *xe-* и 2-го лица — *nde-*), с другой. При этом первый класс квалифицируется в качестве активных глаголов, а второй — интранзитивных или нейтральных²⁰. Авторы большой грамматики гуарани Э. Грегорес и А. Суарес приходят на основании одной особенности формального характера (морфологически различного оформления субстантивов в позиции дополнения) к выводу о наличии здесь двух классов имен существительных, к одному из которых относятся обозначения одушевленных референтов, а к другому — неодушевленных²¹.

Несмотря на бесспорную ценность некоторых наблюдений, отражающихся в описательных грамматиках различных представителей активного строя, в целом дескриптивный анализ последних всегда оказывался совершенно неспособным увидеть этот строй как некоторую целост-

¹⁸ G. F. Guizzetti. Los determinadores y la cuantificacion en el pensar real de los hablantes del Guaraní Yopará. «Idiomas, cosmovisiones y cultura». Rosario (Argentina), 1967, стр. 19—20.

¹⁹ Он же. Las marcas aspecto-temporales en el Guaraní común del Paraguau. «Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg», 1969, № 9, стр. 508.

²⁰ Ср., например: P. Antonio Guash. Указ. соч.

²¹ E. Gregores, J. A. Suárez. A Description of Colloquial Guaraní. The Hague — Paris, 1967, стр. 136.

ную типологическую систему. Естественно, что такое положение не могло способствовать разработке его теории.

Адекватное понимание основных принципов организации активного строя долго затрудняла формальная невыраженность в составе имени существительного его принадлежности к классу активных («одушевленных») или инактивных («неодушевленных») субстантивов. Любопытно, что оппозиция обоих лексических классов имен в этих языках не была замечена даже Б. Уорфом, который, опираясь, в частности, на материал языка навахо, впервые ввел в обиход лингвистики разграничение так называемых открытых (overt) и скрытых (covert) классов слов и грамматических категорий. Впрочем, возможно, это следует объяснить тем обстоятельством, что в этом языке, как и в других представителях семьи на-дене, противопоставление одушевленных имен неодушевленным несколько завуалировано дополнительным противопоставлением субстантивов по форме их референтов.

Всего изложенного должно быть достаточно, чтобы понять, почему начало разработки общей проблематики активного строя оказалось связанным прежде всего не с изучением его реальных представителей, а с исследованием древнейшего состояния индоевропейских языков (позднее эти вопросы оказались и в поле зрения теории эргативности).

Как известно, раньше ряда других черт в предполагаемое дономинативное состояние протоиндоевропейского было спроецировано противопоставление активного и пассивного падежей. На основании некоторых особенностей распределения падежных показателей по именам разных родов в древних индоевропейских языках К. Уленбек предположил наличие в древнейшем общиндоевропейском оппозиции всего двух падежей — активного и пассивного. «Под активным падежом, — писал он в 1901 г., — следует понимать падеж действующего лица, падеж субъекта при переходных глаголах: в индоевропейском языке он характеризовался суффиксированным -s, которое едва ли можно отделять от основы указательного местоимения so и которое, вероятно, следует рассматривать как постпозитивный артикль. Пассивный падеж является падежом страдающего лица или предмета, испытывающего действие, в более общем значении — лица или предмета, о котором что-то высказывается; причем ему не приписы-

вается при этом какое-либо переходное действие. Он является, таким образом, падежом объекта при переходных глаголах и падежом субъекта при пассивных и непереходных глаголах. В индоевропейском языке в качестве пассивного падежа функционировала чистая основа, и только при основах на -о- мы находим в качестве признака окончания -т»²². Вместе с тем уже в этой же заметке содержится предпосылка разработанной в дальнейшем гипотезы о том, что общеиндоевропейский номинатив должен скорее восходить к активному (а не эргативному) падежу, а исходным пунктом формирования позднейшего аккузатива (характерный показатель последнего -m/-n признается обобщенным на все основы из класса только одушевленных имен лишь в относительно позднюю эпоху) должен был послужить инактивный падеж. Имеется в виду догадка К. Уленбека о внутренней логической связи такой падежной оппозиции с вероятным классным распределением имен на одушевленные и неодушевленные в том же состоянии. «Здесь возникает вопрос, — пишет он далее, — почему же у существительных мужского и женского рода развился активный падеж, между тем как у существительных среднего рода он не развился? Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой, так как существительные среднего рода обозначают в общем неодушевленные предметы, которым едва ли можно приписать какое-либо переходное действие. Вследствие этого названия деревьев относятся к мужскому и женскому роду, в то время как названия их плодов — к среднему. Но если дерево можно было мыслить как нечто одушевленное и активное, то плод является только предметом, который мог мыслиться только как нечто страдающее. Поэтому от названий плодов активный падеж на -s не мог возникнуть, а следовательно, здесь не было и внешнего повода для перехода в мужской и женский род»²³. Уместно заметить, что уже здесь автор обратил внимание на сходную глубинную структуру северо-

²² C. C. Uhlenbeck. Agents und Patiens im Casussystem der indogermanischen Sprachen. «Indogermanische Forschungen», XII, 1901, стр. 170 (русс. пер.: Х. К. Уленбек. Agents и Patiens в падежной системе индоевропейских языков. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 101—102).

²³ Х. К. Уленбек. Указ. соч., стр. 102; ср. также: J. Jong. De waardeeringsonderscheiding van «levend» en «levenloos» in het Indogermanisch vergeleken mit hetzelfde verschijnsel in enkele Algonkintalen. «Ethnopsychologische Studien», 1913.

американского языка дакота, полагая, что факты последнего могут быть привлечены для соответствующей реконструкции протоиндоевропейского.

Дальнейшее развитие индоевропеистики, в частности разработка вопросов древней надежной парадигматики²⁴, показало большую перспективность обоснования активной, а не эргативной типологии общеиндоевропейской структуры (следует напомнить, впрочем, что первоначальные представления науки об эргативности не были отделены от понятия активности).

Следующий решительный шаг был сделан в этом направлении А. Мейе, когда он сформулировал положение, согласно которому исторически засвидетельствованное тернарное распределение индоевропейских субстантивов по мужскому, женскому и среднему родам должно восходить к более древнему бинарному противопоставлению имен одушевленного (активного) и неодушевленного (ин-активного) классов²⁵. Дальнейшие исследования привели в его пользу дополнительную аргументацию. В частности, развитие анатолийского языкознания поставило вопрос о возможности прямого продолжения такой оппозиции в хеттском языке, знающем бинарную систему противопоставления «общего» и среднего родов, а также внесло некоторые уточнения в самый принцип подобного разбienia.

В дальнейшем именной аспект проблемы домина- тивного прошлого индоевропейских языков был увязан с типологически однородными импликациями их древней- шей глагольной системы. При этом было обращено внима-

²⁴ Ср.: *N. van Wijk*. Der nominale Genetiv Singular im Indogermanischen in seinem Verhältnis zum Nominativ. Zwole, 1902; *K. Brugmann*. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Berlin, 1904, стр. 626; *H. Pedersen*. Neues und Nachtragliches. «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», Bd XL, 1907, стр. 152—153; *Он же*. Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. København, 1938, стр. 83—85; *A. Vaillant*. L'ergative indoeuropéen. — BSLP, t. 37, 1936, fasc. 2, стр. 93—108; *H. Hendriksen*. Quelques faites à lumière d'une système casuel indoeuropéen comportant un cas transitif et un cas intransitif. «Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague», 1940, t. 5; *А. Н. Савченко*. Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке. — ЭКПЯРТ. Л., 1967, стр. 74—90.

²⁵ *A. Meillet*. Linguistique historique et linguistique générale, t. I. Paris, 1921, стр. 217; также: *A. Meillet, J. Vendryes*. Traité de grammaire comparée des langues classiques. Paris, 1924, стр. 488.

ние на недифференцированность в ней морфологической категории залога, на отсутствие темпоральных градаций глагола, замещающихся аспектуальными (формами способов действия), на возможность функционирования в структуре глагольной словоформы личных показателей объекта и т. д.²⁶ Однако наиболее важная лексическая по своему характеру импликация активности в сфере глагола, а именно — распределение глагольных лексем по двум «скрытым» классам глаголов действия, с одной стороны, и глаголов состояния, с другой, была выявлена в индоевропейистике значительно позднее, когда сопротивление языкового материала заставило исследователей отказаться от первоначально складывавшегося впечатления о структурной противопоставленности в древнейшей прасистеме транзитивных глаголов интранзитивным.

С прогрессом внутренней реконструкции наиболее раннего протоиндоевропейского состояния возникли сомнения в адекватности интерпретации его структуры как эргативной. Особое значение имеет в этом отношении исследование А. В. Десницкой «Развитие категории прямого дополнения в индоевропейских языках» (докторская диссертация. Л., 1946), характеризующее эволюцию способов передачи субъектно-объектных отношений в индоевропейском предложении. Выводы автора (невозможность проецировать в это состояние оппозиции транзитивного и интранзитивного глаголов, недифференцированность в нем прямого и косвенного дополнений и др.) составляют вескую аргументацию против подобного решения. По ее мнению, «двойственное переходно-непереходное употребление глаголов не может рассматриваться в древнегреческом языке как группа единичных случаев. Характеризуя, в основном, относительно более древний глагольный

²⁶ С. Д. Кацнельсон. К генезису номинативного предложения. «Труды Ин-та языка и мышления им. Н. Я. Марра». IV. Серия Romano-Germanica. М.—Л., 1936, № 1, стр. 56 и след. (ср.: Н. Н. Uhlenbeck. [Рец. на кн.:] С. Д. Кацнельсон. К генезису номинативного предложения. «Museum», 1937, № 9, стр. 225—227); Р. Kretschmer. Objektive Konjugation im Indogermanischen. «Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philol.-hist. Klasse», 1947, Bd 225, Abh. 2, стр. 3—49; J. Knobloch. La voyelle thématique *e//o* serait-elle un indice d'objet indoeuropéen? «Lingua», v. III, 1953, № 4, стр. 407—420; А. Н. Савченко. Происхождение среднего залога. Ростов-на-Дону, 1960.

тип — так называемые глаголы первичного образования, оно выступает как специфическая черта семантической обратимости, присущая целому ряду простейших глагольных понятий. . . Таким образом, мы имеем в древнегреческом языке целую систему пережитков того состояния глагола, при котором отсутствовала дифференциация значений переходности и непереходности. Глагольная основа была в этом отношении нейтральна, абсолютна и допускала поэтому возможность двоякого семантического использования в зависимости от непосредственной ситуации предложения»²⁷. Аналогичная картина имеет место и в языках активной типологии, чем они противостоят представителям эргативного строя, весь структурный механизм которых обуславливается лексическим обособлением транзитивных и интранзитивных глаголов.

Необходимо отметить, впрочем, что семантическое основание наметившегося для этого состояния противопоставления глаголов действия и состояния до сих пор остается в индоевропеистике не вполне ясным. В этой связи А. В. Десницкая писала следующее: «Древнейший глагол индоевропейских языков, в своей нейтральности, заключал в себе лишь потенции для дальнейшего развития этих категорий (имеется в виду транзитивность ~ интранзитивность. — Г. К.), играющих существенную роль в системе выражения объектных отношений в более поздние периоды. Однако мы можем поставить вопрос о характере этой нейтральности. Можно предполагать, что первичная нейтральность была более близка, собственно, к непереходности, чем к переходности: но эта непереходность не была «непереходностью» в нашем смысле слова, предполагающем существование двух взаимопоставленных категорий. Первичная «непереходность» была значительно более широким понятием, охватывавшим все типы употребления глагольных основ и, тем самым, включавшим и употребление при глаголе тех или иных дополнений. Поэтому было бы глубоко неправильно приписывать ей характер «пассивности», недейственности. Такой оттенок значения, без сомнения, мог иметь место,

²⁷ Ср.: А. В. Десницкая. Из истории развития глагольной категории переходности. «Памяти акад. Л. В. Щербы». Л., 1951, стр. 138—139; ср.: Она же. Переходные и непереходные глаголы в древнеисландском языке. «Уч. зап. филол. фак-та Ленинградского ун-та, т. V, 1941.

но лишь в зависимости от особого смысла предложения. Первичная непреходность не исключает сопряженности действия с определенным объектом; но характер этой сопряженности с объектом не представляет собой, однако, «переходности», предполагающей направленность действия на объект. Это скорее конкретизация значения глагольной основы с помощью той или иной именной основы. . .»²⁸ В свете других типологических аналогий, проведенных между древнейшим протоиндоевропейским состоянием и структурой представителей активного строя, есть основания думать, что именно при учете данных последних лет появится возможность внести в решение этого вопроса существенные уточнения.

Вместе с тем прослеживаемые А. В. Десницкой черты протоиндоевропейского, такие, как различие в глаголе диатезы актива и медиума, историческая связь винительного падежа (через предполагаемую для него первоначальную обстоятельственно-определятельную семантику) с так называемым неопределенным падежом, бинарная оппозиция имен «одушевленного» и «неодушевленного» класса (с определенными отступлениями от его основного принципа) и другие также свидетельствуют в пользу типологической квалификации его структуры как активной, а не эргативной. Особый интерес представляют и ее высказывания против переоценки рядом исследователей глоттогонической значимости эргативной типологии предложения, в соответствии с чем эргативный строй языка представлялся стадially необходимой предпосылкой становления номинативного.

В 1952 г. М. М. Гухман также отмечала, что «отсутствие специального оформления глагольной парадигмы переходного глагола» в индоевропейских языках, равно как и вообще имеющиеся здесь «следы нечеткости дифференциации переходности и непреходности глагола, о которых писал еще А. Мейе, представляют собой элементы совершенно иной системы, чем эргативная конструкция»²⁹. И. М. Тронский, принимающий для дальней реконструкции протоиндоевропейского противопоставление не тран-

²⁸ А. В. Десницкая. Из истории развития. . ., стр. 139—140.

²⁹ М. М. Гухман. Критика некоторых концепций стадильности происхождения и развития германских языков. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», т. XI, 1952, вып. 2, стр. 149.

ного) строя общеиндоевропейского языка в номинативный»³⁴.

Некоторые черты активного строя оказались объектом рассмотрения в ряде отечественных исследований 30—40-х годов при попытках хотя бы в общих чертах охарактеризовать языковой тип, предшествовавший в рамках разрабатывавшейся тогда стадильной перспективы эргативному строю.

Так, в определенный период на подобную роль претендовало понятие так называемого пассивного строя, выдвигавшееся И. И. Мещаниновым, элементы структуры которого иллюстрировались им на материале таких языков, как дакота, а также алеутского и немеду (североамериканского языка из группы сахалтин), которые, будучи в принципе уже эргативными, обнаруживают заметные точки соприкосновения с активным строем. Анализируя способ передачи здесь субъектно-объектных отношений под углом зрения популярной в то время концепции Л. Леви-Брюля о дологическом характере мышления первобытного человека, он считал, в частности, что «в пассивном строе реально действующее лицо, по нормам „магического мышления“, воспринимается пассивно, так как действующее лицо мыслится стоящим вне человека и заключено в самом акте, выражающем действие. . .»³⁵

В рамках этого строя И. И. Мещанинов усматривал отсутствие оппозиции транзитивных и интранзитивных глаголов: «В пассивной стадии переходность и непереходность действия на объект могли выражаться одним и тем же глаголом, что стояло в непосредственной связи с его построением по линии принадлежности. . . и по линии индивидуального действия лица. . . От этого зависело оформление имен. В эргативной стадии семантика глаголов разделила их на переходные и непереходные»³⁶. Отмечая последующую перестройку глаголов на транзитивные и интранзитивные, он писал: «. . . при этом переходе грамматического строя на новые позиции нельзя не отметить резкого скачка, приведшего к качественному из-

³⁴ Вяз. В. С. Иванов. Единство предмета науки о языке. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1973, № 3, стр. 245; ср.: *Он же*. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976, стр. 14—16.

³⁵ И. И. Мещанинов. Новое учение о языке. Стадильная типология. Л., 1936, стр. 231.

³⁶ Там же, стр. 319.

зитивных глаголов интранзитивным, а глаголов действия глаголам состояния, указывает, что в этом случае «говорить об эргативной конструкции в классическом смысле этого слова не приходится»³⁰. Эту же мысль А. Н. Савченко формулирует следующим образом: «При сравнении с вариантами эргативной конструкции, существующими в современных языках, она (в виду имеется модель индоевропейского предложения с глаголом действия. — Г. К.) оказывается нетипичной, потому что в ней выражение субъекта действия эргативным или абсолютным падежом зависело не от переходности или непереходности глагола, а от глагольной формы действия или состояния»³¹.

Если подобный подход адекватен, то предпринятое С. Д. Кацнельсоном на материале германских языков исследование генезиса номинативного предложения оказывается по существу посвященным рассмотрению процесса преобразования активной типологии предложения в номинативную (ср., в частности, проводимое им различие так называемой архаической и пережиточной эргативности)³².

Недавно автор настоящей работы попытался показать, что не только такие важные черты, как лексические оппозиции субстантивов активного («одушевленного») и инактивного («неодушевленного») классов и глаголов действия и состояния, но и большая совокупность структурных характеристик других уровней древнейшего протоиндоевропейского состояния, должны скорее свидетельствовать о его активной, а не эргативной типологии. По его мнению, учет импликаций активного строя, как они выступают в его современных представителях, способен существенно расширить сами перспективы дальнейшего исследования протоиндоевропейского³³. Гипотезу о его активном прошлом в настоящее время разделяет Вяч. Вс. Иванов, отмечаящий факт преобразования «активного (раннеэргатив-

³⁰ И. М. Тронский. О доминативном прошлом индоевропейских языков. — ЭКПЯРТ, стр. 94; ср.: Он же. Общеиндоевропейское языковое состояние (Вопросы реконструкции). Л., 1967, стр. 91.

³¹ А. Н. Савченко. Эргативная конструкция предложения..., стр. 90.

³² С. Д. Кацнельсон. Указ. соч.

³³ Г. А. Климов. Типология языков активного строя и реконструкция протоиндоевропейского. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1973, № 5.

менению прежних синтаксических отношений, следовательно, и грамматических оформлений»³⁷.

Интересны в этой связи и его замечания по поводу глагольной диатезы незалогового характера, функционирующей в представителях этого строя: «В пассивной стадии глагол семантически не разделяется, поэтому переходность и непереходность действия оказывается формальной стороной глагольного использования. В зависимости от этой формальной стороны глагола находится построение всей фразы и, в частности, постановка падежа субъекта, то есть вовсе не стоящая в связи с семантикою переходности глагола, а зависящая от его оформления в данной фразе (от объектности или безобъектности глагольной формы). Достаточно убедительные примеры этого положения мы уже видели в алеутских фразах: *anġaġi-ĥ suku-ĥ* 'человек берет-он' и *anġaġi-m suku* 'человек берет-он-его' (букв.: 'человека взятие-его'). Глагол один и тот же, но в первом примере он оформлен безобъектно, а во втором объектно, в связи с чем и действующее лицо стоит в одном случае в прямом падеже, а в другом в относительном»³⁸. Отсюда вполне закономерным представляется заключение И. И. Мещанинова, согласно которому «оба указанных строя спряжения, прямой (субъектный) и относительный (субъектно-объектный), в своем противоположении друг другу не стоят в том же отношении, как наш действительный и страдательный залого»³⁹. Сопоставляя оба типа алеутского спряжения с диатезой диффузного глагола в эргативном абхазском языке он приходил даже одно время к выводу, что по строю своей речи оба они отличаются друг от друга «как два типологически различных языка»⁴⁰.

О том, насколько близко подходил И. И. Мещанинов к выделению активного строя, свидетельствует следующая цитата: «В самое последнее время в результате длительного исследования более мелких яфетических языков Кавказа установлено, что в некоторых из них отмеченное выше противопоставление двух строев предложения (эргатив-

³⁷ И. И. Мещанинов. Общее языкознание. К проблеме стадийности в развитии слова и предложения. Л., 1940, стр. 219.

³⁸ Он же. Новое учение. . . , стр. 333.

³⁹ И. И. Мещанинов. Новое учение. . . , стр. 71.

⁴⁰ Он же. Притяжательное спряжение в унанганском (алеутском) и абхазском языках. «Язык и мышление», IX, 1940, стр. 22.

ного и абсолютного. — Г. К.) идет гораздо шире. Может иметь место противоположение всякого действия, даже непереходного, всякому выражению состояния, не только представленному именным сказуемым, но и вербальным. В связи с этим выделяются глаголы действия, и подлежащее может стоять в активном падеже даже при непереходном глаголе. Абсолютный падеж подлежащего в предложениях состояния еще теснее сближает здесь именное сказуемое с вербальным при глаголах состояния. В основе лежит уже не наличие или отсутствие объекта, а смысловое значение предложения, противопоставляющее всякое действие состоянию»⁴¹.

Нетрудно увидеть, что в этих отрывочных высказываниях, несмотря на нечеткость ряда их формулировок, оказались учтенными и поставленными в единый системный ряд некоторые весьма существенные признаки активной типологии. Необходимо заметить, однако, что в дальнейшем после безуспешной попытки сопоставить рассмотренные явления с понятием иного — так называемого посессивного строя И. И. Мещанинов вслед за большинством исследователей стал склоняться к их рассмотрению в рамках теории эргативности⁴².

Заслуживает упоминания и попытка системного осмысления комплекса черт активного строя, предпринятая А. П. Рифтиным. Бегло характеризуя так называемую активно-пассивную стадию развития языка, он считал, что именно в этот период «происходит первая дифференциация частей речи. Выделяются местоимение, имя существительное и глагол, числительное, но нет еще прилагательного. Лексические категории обособляются от грамматических, которые получают различные средства для своего выражения. Для этой же ступени характерно наличие большого количества грамматических классов в имени, которые отражены в образовании множественного числа, в числительных, в согласовании имени и глагола, в местоимении»⁴³. Он полагал вместе с тем, что «для этой же ступени характерно разделение принадлежности на отчу-

⁴¹ *Он же*. Глагол. М.—Л., 1948, стр. 86.

⁴² См., например: И. И. Мещанинов. Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967, стр. 111—112.

⁴³ А. П. Рифтин. Основные принципы построения теории стадий в языке. «1819—1944. Труды юбилейной научной сессии ЛГУ». (Секция филол. наук). Л., 1946, стр. 27.

ждаемую и неотчуждаемую. Последняя отчетливо древнее и восходит к категории тождества. На этой же ступени принадлежность-определение начинает отделяться от предикативности, хотя родительного падежа еще нет. . .»⁴⁴

По-видимому, не будет ошибкой сказать, что невозможность воспроизведения целостной схемы активного строя, равно как и неадекватность ряда представлений о его характерных чертах, в первую очередь обуславливались весьма поверхностным знакомством науки прошлого с его реальными представителями.

Особенно часто к рассмотрению структурных элементов языков активной типологии обращались исследователи проблемы эргативности. Не будет преувеличением сказать, что во многом теория активного строя складывалась в рамках исследований по общей проблематике эргативности. Такое положение объяснялось и известным внешним сходством активных и эргативных языков и рядом реальных пережитков активного состояния, сохраняющихся во многих из последних.

В качестве одного из относительно широких направлений работ эргативистов следует, в частности, назвать опыты реконструкции в различных эргативных языках исторического противопоставления активного и инактивного (по более распространенной терминологии — «пассивного») классов субстантивов.

Так, если оставить в стороне одно беглое высказывание Н. Я. Марра, связавшего функционирование двоякого рода именных показателей множественного числа в древнегрузинском с обозначением денотатов активного и пассивного классов⁴⁵, то впервые с тезисом о сохранении в картвельских языках следов такой именной классификации выступил уже К. Д. Дондуа, анализируя дистрибуцию формативов плюралиса -n и -eb в древнегрузинском⁴⁶. К аналогичной гипотезе при истолковании уже целого ряда фактов эргативных языков в их предполагавшейся внеязыковой обусловленности прибегала С. Л. Быховская. По ее мнению, «древнейшим типом такой классификации, прослеженной на языковом материале и поддержи-

⁴⁴ А. П. Рифтин. Указ. соч., стр. 27.

⁴⁵ Л. Marr et M. Brière. La langue géorgienne. Paris, 1931, стр. 61.

⁴⁶ К. Д. Дондуа. О двух суффиксах множественности в грузинском. «Язык и мышление», I, 1933, стр. 64—66.

ваемой историей общества и историей мышления, является классификация по социальной активности, воспринимавшейся, разумеется, на разных стадиях развития общества и мышления по-разному. В процессе смены стадий языковые факты перестраивались, переосмыслились, причем системы классификации объектов позднейших эпох налагали на уже существующие системы»⁴⁷. Рассматривая функциональное противопоставление падежных аффиксов -*ta* («активного») и -*i* («пассивного») в древнегрузинском, она писала: «... ясно, что раз падежные окончания активного и пассивного падежей образуются лишь одними признаками множественности, без падежных аффиксов, то здесь дело не в выделении падежей, а в выделении класса существ, которые могут выступать — одни только в роли субъектов действия, другие, наоборот, только в роли объектов действия, и никогда — в роли его субъектов, творцов, следовательно, отражают ту степень развития человеческого общества, когда в сознании его членов выделялись только члены общественного коллектива — творцы, и объекты действия этих творцов, предметы или существа, мыслившиеся только как пассивные элементы общества, по участию их в жизни коллектива»⁴⁸. Здесь же необходимо упомянуть ее точку зрения, согласно которой генезис склонения хронологически соотносится со структурным состоянием языка, в котором имеет место противопоставление активного и пассивного классов имен существительных⁴⁹. В то же время С. Л. Быховской представлялось, что в индоевропейском языкознании «категория грамматического рода объясняется в корне неправильно, как пережиток классификации по одушевленности»⁵⁰.

М. М. Гухман писала в этой связи следующее: «Отпочкование действителя от самого действия, представление об агенсе, неминуемо оказалось переплетенным с дифферен-

⁴⁷ С. Л. Быховская. Показатели множественности как классовые показатели в грузинском и баскском языках. «Академия наук акад. Н. Я. Марру». Л., 1935, стр. 179.

⁴⁸ С. Л. Быховская. Падежи в грузинском и армянском древнелитературных языках в палеонтологическом освещении. «Яфетический сборник», VI. Л., 1930, стр. 217.

⁴⁹ Она же. К вопросу о происхождении склонения (на материале кавказских языков). «Изв. АН СССР, VII сер., Отделение гуманитарных наук», 1930, № 4, стр. 288—289.

⁵⁰ Она же. Показатели множественности. . . , стр. 179.

пацией предметов на социально-активные и социально-пассивные, такие, которые могли быть действителями, и такие, к которым могло быть только соотнесено данное состояние или действие (непереходное). Позднее через классовые показатели (вначале отсутствовал какой бы то ни было показатель, — определяющим был сам предмет) при возникновении падежей эти же категории осмыслиются как активный и пассивный падежи. . . По существу своему активные и пассивные категории тогда делаются категориями склонения, т. е. тогда рассматриваются как возможные модификации одного понятия, когда оказывается снятой классификация предметов внешнего мира на активные и пассивные. . . В связи с генезисом своим пассивный падеж — просто имя, без показателя, активный — с показателем, подчеркивающим его действительность»⁵¹.

По мнению Л. И. Жиркова, историческое истолкование основ лексической классификации, поныне существующей в нахско-дагестанских языках, "нашлось в принципе разделения всех явлений, предметов и животных на «активные» и «пассивные»"⁵².

Не менее показательны сравнительно недавние высказывания Г. П. Мельникова и А. И. Курбанова, которым «представляется, что в основе именной классификации цахурского языка лежит необходимость выделения только двух признаков в классифицируемых объектах: признака разумности и признака активности (причем и признак разумности также можно рассматривать как признак активности более высокого порядка). Таким образом, чтобы определить, к какому классу относится конкретное слово, необходимо ответить на два вопроса: является ли называемый этим словом объект разумным и является ли он активным. . .»⁵³ «При этом важен не сам уровень данной социальной ступеньки, а как бы его проекция на универсальную шкалу оценки активности. Следовательно, при рас-

⁵¹ М. М. Гухман. Происхождение строя готского глагола. «Труды Ин-та языка и мышления им. Н. Я. Марра», XIV. Серия Romanogermanica. М.—Л., 1940, № 4, стр. 143.

⁵² Л. И. Жирков. Табасаранский язык. Грамматика и тексты. М.—Л., 1948, стр. 57.

⁵³ Г. П. Мельников, А. И. Курбанов. Логические основания именной классификации в цахурском языке. «Вопросы структуры языка». М., 1964, стр. 160.

пределении неразумных и неживых объектов по классам нужно также выявить те их признаки (в данном случае уже не социальные), которые можно было бы увязать с идеей активности, чтобы оценить степень ее проявления»⁵⁴. Конкретизируя это положение, авторы отмечают, что в цахурском языке «к классу III в основном относится все то, что независимо от человека рождается, живет, растет, в чем человек видит выражение определенной самостоятельности и активности, если даже эта активность проявляется в нежелательной для человека форме. Конечно, в определении того, что считать активным, а что — пассивным, сказывается «национальная субъективность», если можно так выразиться, но тем не менее, как мы постараемся показать, использование критерия активности позволяет несколько развеять впечатление бессистемности распределения цахурских имен между классами III и IV»⁵⁵.

Как структурный, так и внешний контекст функционирования близкой по содержанию оппозиции одушевленности ~ неодушевленности нередко обсуждался и за пределами теории эргативности.

Так, В. Шмидт рассматривает распределение имен по классам одушевленных и неодушевленных (*Vitalitäts-kategorie*) в качестве одного из основных способов группировки имен и местоимений в языках мира. Он, по-видимому, с основанием полагал, что в своем наиболее чистом виде подобное различие проводится в языках Северной и Средней Америки. По его мнению, оно вообще более свойственно языкам северного полушария, чем южного. На его связь с фазой ранней патриархальной культуры указывает, по В. Шмидту, сам языковой ареал, знающий подобное различие. Автор, однако, отдает себе отчет в трудностях однозначного решения проблемы такой классификации⁵⁶. Здесь вместе с тем важно подчеркнуть, что не удалось ему и поместить эту оппозицию в систему типологически однородных ей фактов языка, о чем свидетельствуют несколько чисто эмпирически постулированных им наборов структурных явлений, соответствующих тем или иным культурным кругам.

⁵⁴ Там же, стр. 161.

⁵⁵ Там же, стр. 163.

⁵⁶ W. Schmidt. Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde. Heidelberg, 1926, стр. 338—342.

В известной статье Л. Ельмслева, мыслившейся автором как подготовительный этап на пути создания сравнительно-типологического исследования проблемы грамматического рода, рассмотрен удельный вес языковых противопоставлений личности ~ неличности и одушевленности ~ неодушевленности. Автор бегло излагает историю выявления последних по разным языкам и приходит к выводу, что историю обеих оппозиций составляет противоборство так называемой консервативной тенденции и тенденции к их мотивации⁵⁷. Складывается впечатление, что при этом Л. Ельмслев несколько переоценивает способность оппозиции одушевленности ~ неодушевленности к регенерации (к тому же неясно, можно ли говорить о регенерации этого противопоставления в случае, если один способ его передачи заменяется другим).

Значительно реже объектом рассмотрения в рамках теории эргативности оказывалась типология предложения в языках активного строя. В этом плане можно привести лишь одно высказывание С. Л. Быховской, связанное с критикой популярного в науке того времени тезиса о пассивном характере эргативной конструкции предложения. «Яркий свет проливают здесь некоторые североамериканские языки, в которых переходный глагол идет по той же конструкции, как и в языках яфетических; однако среди этих языков есть такие, как языки сиу и тлингит, в которых по этой мнимой «пассивной» конструкции идут не только глаголы переходные, но все глаголы движения. В этих языках глаголы делятся не по принципу переходности или непереходности, а по принципу действительности или покоя: все глаголы движения как то: 'ходить', 'бежать' и т. п. спрягаются так же, как переходные глаголы в яфетических языках, т. е. логический субъект стоит в активном падеже, все же глаголы состояния, как то: 'нуждаться', 'быть усталым', 'думать' и т. п. спрягаются по типу глаголов непереходных, т. е. логический субъект стоит в падеже именительном или пассивном. Так как в этих языках нет формально выраженного путем окончаний склонения, то эта особенность выражается раз-

⁵⁷ L. Hjelmslev. Animé et inanimé, personnel et nonpersonnel. «Travaux de l'Institut de linguistique», v. I. Paris, 1956 (русск. пер.: Л. Ельмслев. О категориях личности ~ неличности и одушевленности ~ неодушевленности. «Принципы типологического анализа языков различного строя». М., 1972, стр. 114—152).

ницей в местоименных частицах (глагольной словоформы. — Г. К.), т. е. логический субъект при глаголах движения отличается от логического субъекта при глаголах состояния, а последний совпадает с прямым объектом переходного глагола. Так, в языке дакота (сиу) субъект при глаголах движения выражается местоименным показателем *wa-*, прямой объект переходного глагола и субъект глаголов состояния — местоименным показателем *ma-* (*mi-*, *m-*):

| | | |
|-------------------|--|--------------------|
| <i>wa-t'i</i> | | 'I dwell' |
| <i>ma-síca</i> | | 'I am bad' |
| <i>ma-ya-k'te</i> | | 'thou killest me', |

где *ma-* служит одновременно и в качестве местоименного показателя-субъекта глагола непереходного и прямого объекта переходного, в отличие от *wa-*, служащего только в качестве местоименного показателя-субъекта глагола переходного. Эта особенность конструкции глаголов в некоторых американских языках лишний раз подчеркивает, что дело не в пассивности, а, наоборот, в подчеркивании активности, действительности субъекта. Эта конструкция проливает свет и на развитие глагола. . .»⁵⁸

Впервые мнение о том, что прототипом эргативной конструкции предложения должна была служить активная, в неявной форме высказано С. Л. Быховской. «Деление на глаголы действия и состояния имеет место в североамериканских языках и является более древним, чем деление по признаку переходности. В самом деле, приведенные нами факты из баскского и кабардинского языков (имеются в виду случаи нейтральности глагольной лексемы в отношении признака транзитивности ~ интранзитивности. — Г. К.) говорят, что глагол, не имеющий прямого объекта, стремится перейти в строй глаголов непереходных. Если считать для североамериканских языков более древним деление на глаголы по их переходности и непереходности, нам пришлось бы предположить обратный процесс, т. е. что безобъектные глаголы движения перешли в строй глаголов переходных, что совсем

⁵⁸ С. Л. Быховская. «Пассивная» конструкция в яфетических языках. «Язык и мышление», II, 1934, стр. 67—68.

невероятно»⁵⁹. Оно было по существу разделено А. Н. Савченко при рассмотрении проблемы «эргативной» конструкции предложения в древнейшем протоиндоевропейском состоянии: «При сравнении с вариантами эргативной конструкции, существующими в современных языках, она оказывается нетипичной, потому что в ней выражение субъекта действия эргативным или абсолютным падежом зависело не от переходности или непереходности глагола, а от глагольной формы действия или состояния, эргатив выражал в ней не только субъект действия и косвенный объект, но и объект желания, восприятия и мысли, однако эти особенности ее, как показывает анализ эргативной конструкции, более архаичны, чем то, что характеризует ее современные варианты. Нужно иметь в виду, что современные варианты эргативной конструкции, по-видимому, далеко отошли от того, что было при возникновении ее»⁶⁰. В дальнейшем в ряде публикаций автора настоящей работы был предпринят опыт эксплицитного обоснования этого мнения на фоне более широкого процесса становления эргативного строя языка на базе активного, обусловленного, по его мнению, усилением ориентации строевых элементов языковой структуры на передачу субъектно-объектных отношений⁶¹. Вообще определенная внешняя близость структур активного и эргативного строя, а также нередкий параллелизм тенденций их развития, по-видимому, создают у отдельных исследователей впечатление, согласно которому активная типология может быть представлена в качестве раннеэргативной⁶².

Следует упомянуть, наконец, что структурная специфика целого ряда древних языков Передней Азии, являющихся либо эргативными с отчетливыми чертами активного строя, либо — преимущественно активными, обусловила развитие в работах И. М. Дьяконова такого понима-

⁵⁹ Там же, стр. 72; ср. также И. И. Мещанинов. Общее языкознание. К проблеме. . . , стр. 219.

⁶⁰ А. Н. Савченко. Эргативная конструкция предложения. . . , стр. 90.

⁶¹ Г. А. Климов. К характеристике языков активного строя. — ВЯ, 1972, № 4; Он же. Очерк общей теории эргативности. М., 1973, стр. 213—252; Он же. К происхождению эргативной конструкции предложения. — ВЯ, 1974, № 1.

⁶² Ср.: Вач. Вс. Иванов. Указ. соч., стр. 245; также: А. Н. Савченко. К вопросу о происхождении эргативной конструкции предложения. — ИКЯ, т. XVIII, 1973, стр. 141—143.

ния эргативности, которое скорее приближается к представлениям об активности. Так, автором специально акцентируется фундаментальная значимость для «эргативной» типологии языка противопоставления глаголов действия (т. е. переходного действия, движения, говорения и нек. др.) и глаголов состояния, в соответствии с чем традиционные для теории эргативности концепты подлежащего и прямого дополнения заменяются им понятиями субъекта действия и субъекта состояния, которые должны находить определенные соответствия в речевом сознании носителей рассматриваемых языков. При характеристике конкретных переднеазиатских языков И. М. Дьяконов неоднократно отмечает нейтральность их глагола в отношении признака переходности ~ непереходности, квалифицирует «эргатив» в качестве падежа субъекта действия вообще и т. д.⁶³

Необходимо вместе с тем подчеркнуть те непреодолимые трудности, на которые постоянно наталкивалось рассмотрение различных импликаций активного строя в рамках теории эргативности. Фактический материал вовлеченных последней в исследование языков обнаруживал их серьезные расхождения и в отношении именных классификаций, и в характере противопоставления глагольных лексем, в конструкциях предложения, в функциональном содержании падежных окончаний и личных аффиксов глагола. Вследствие этого далеко не всегда однозначным представлялся, например, характер оппозиции активного и пассивного классов имен, отождествлявшейся иногда с распределением субстантивов на классы «разумных» (т. е. лица, человека) и «неразумных» (т. е. неллица, вещи), нередко встречающимся в эргативных языках⁶⁴.

Можно привести немало ярких примеров, иллюстрирующих теоретические трудности, с которыми сталкивается исследование в условиях отождествления активной типологии языка с эргативной.

Так, несомненным шагом назад явилась предпринятая на определенном этапе исследования К. Уленбеком попытка свести намеченное им ранее различие активного

⁶³ Ср.: И. М. Дьяконов. Эргативная конструкция и субъектно-объектные отношения (на материале языков Древнего Востока). — ЭКПЯРТ.

⁶⁴ Ср.: И. И. Мещанинов. Проблема классификации языков в свете нового учения о языке. Л.—М., 1935, стр. 56.

и инактивного (стативного) глаголов к профилирующему в эргативных языках противопоставлению транзитивного и интранзитивного, и в связи с этим к отождествлению активного и «пассивного» падежей с эргативным и абсолютным (в его терминологии — транзитивным и интранзитивным). В его статье 1906 г. отмечается, что протоиндоевропейский имел активный и пассивный «или, точнее, транзитивный и интранзитивный» падежи и предпринимается безуспешная попытка отождествить два ряда личных показателей в глаголе языка дакота с эргативным и абсолютным эргативных языков⁶⁵. «Отношения, сходные с языком дакота, — писал он далее, — обнаруживаются и в тесно с ним связанном языке хидатса. К языкам, различающим транзитивный падеж (при этом автор в какой-то мере предвосхищает понятие глубинного падежа некоторых современных лингвистов. — Г. К.), принадлежит, по-видимому, и колошский язык, как это следует из кратких замечаний Фр. Мюллера. В колошском языке, как, вероятно, и в баскском, мы встречаемся с пониманием переходного глагола как пассивной формы»⁶⁶. Колебания К. Уленбека, отражавшие стремление свести оппозицию активных и «пассивных» глаголов к противопоставлению транзитивных и интранзитивных (он предполагал, что активные глаголы, интранзитивные с точки зрения нашего языкового мышления, окажутся в каком-либо отношении транзитивными в рассматриваемых языках), отразились и в его большой публикации 1917 г., посвященной обоснованию концепции пассивности транзитивного и активного глаголов в североамериканских языках. В соответствии с этим он приходил к мысли о том, что транзитивный (т. е. эргативный) падеж и активный могут представлять собой разновидности некоторого единого так называемого энергетического падежа⁶⁷. Однако

⁶⁵ C. C. Uhlenbeck. Zur Casuslehre. «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», XXXIX, 1906, стр. 600 и 602—603 (русс. пер.: Х. К. Уленбек. К учению о падежах. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 97 и 99—100).

⁶⁶ Там же, стр. 100.

⁶⁷ C. C. Uhlenbeck. Het passieve karakter van het verbum transitivum, f van het verbum actionis in talen van Noord-Amerika. «Verslagen en mededeelingen der Akademie Amsterdam», Aft. Letterkunde, V, t. 2, 1917, стр. 187—216 (русс. пер.: Х. К. Уленбек. Пассивный характер переходного глагола или глагола действия в языках

в 30-х годах сопротивление материала активных и эргативных языков заставило К. Уленбека осознать неудачность подобных попыток, что дало о себе знать в нескольких его работах того времени. В одной из них он прямо приходит к выводу, что его предположения не оправдались: «Когда я привлек материал дакота к падежным взаимоотношениям в индоевропейском. . ., мне еще было не вполне ясно, должны ли мы прежде всего разграничивать противопоставления *Transitivus : Intransitivus* и *Activus : Inactivus*, если мы, конечно, должны принять, что *Transitivus* и *Activus* следует рассматривать как частные случаи одного и того же «*Casus energeticus*» (автор исходит из справедливого убеждения о функциональной аналогии, существующей в активных и эргативных языках между показателями позиционных падежей имени и личными аффиксами глагола. — Г. К.). Тогда я полагал, что если в случаях, как то имеем в языке дакота, энергетические местоименные элементы выступают в интранзитивных для нашего языкового сознания глаголах, то это можно объяснить допущением, что такие глаголы в соответствующих языках могли восприниматься как некоторым образом транзитивные. Однако дальнейшие исследования в области американистики привели меня к взгляду, что в языках типа дакота мы имеем дело с падежным противопоставлением *Activus : Inactivus*. В соответствии с этим схема языка дакота следующая: энергетические местоименные элементы функционируют как логический субъект при транзитивных глаголах и интранзитивных глаголах действия, инертные местоименные элементы, напротив, — как логический объект при транзитивных глаголах и как субъект при инактивных глаголах»⁶⁸. В другой статье он уже отчетливо выражает свое согласие с ранее высказанным Э. Сепиром мнением о необходимости проведения четкого различия между эргативным падежом, с одной стороны, и активным, с другой⁶⁹.

Северной Америки «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 74—96

⁶⁸ C. C. Uhlenbeck. Die Kasuswerte der pronominalen Konjugationselemente des Dakota. «Indogermanische Forschungen», Bd LII, H. 3, 1934, стр. 227

⁶⁹ Он же. [Рец. на кн.] G. Royen. Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprachen der Erde. «Anthropos. Revue Internationale d'Ethnologie et de Linguistique», Bd XXV, fasc. 3—4, 1930, стр. 65.

О едва ли преодолимых теоретических трудностях, возникающих при отождествлении структурных компонентов активного и эргативного строя, свидетельствуют и многие высказывания других исследователей проблемы эргативности. «Эргативный падеж, — писал А. Тромбетти, — есть не что иное как разновидность эмфатического именительного падежа. Это явствует из многих фактов. . . Во всех этих случаях одно и то же существо предстает перед нами различно в зависимости от того, является ли оно производящим или не производящим действие; в первом случае оно является одушевленным, во втором — неодушевленным. На языке миньонг (Австралия) *kega* «какаду» в эргативе передается как *kego*; при этом первая форма соответствует женскому роду в индоевропейских языках, вторая — мужскому. Кроме того, в подобных случаях наблюдается еще переход из низшего класса в высший, например, в языке *фуль*, где имя животного, которому приписывается действие, свойственное человеку, выступает часто как имя лица. . . Помимо этого активный и пассивный субъекты выражаются иногда различными словами; например, местоимение «ты» имеет в аварском языке две совершенно различных формы: *min* — пассивную и *du-sa* — активную. . .»⁷⁰ Нетрудно заметить, что, характеризуя по существу некоторые признаки активного строя, автор с целью иллюстрации своего положения обращается к фактам эргативного аварского языка, не способного как-либо его подкрепить.

Минует данное обстоятельство и критически рассматривающая это высказывание С. Л. Быховская, которая писала следующее: «Пытаясь опровергнуть другое якобы подтверждение пассивности конструкции (речь идет об эргативной модели предложения. — Г. К.) — различие в местоименных показателях для субъекта и объекта, Тромбетти справедливо замечает, что субъект должен выражаться другим местоимением, чем прямой объект. Подходя таким образом как будто близко к истине, он, однако, сворачивает с верного пути, доказывая, что субъект воспринимается как нечто одушевленное, объект — неодушевленное. Дело здесь, конечно, не в одушевлен-

⁷⁰ А. Тромбетти. О теории пассивного характера глагола. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 153—154.

ности или неодушевленности, а в активности и пассивности. . .» ⁷¹ Однако известные современной науке факты представителей активного строя говорят о том, что строгое размежевание оппозиции активного ~ инактивного от одушевленного ~ неодушевленного оказывается далеко не так легко осуществимым, как это могло представляться на начальном этапе изучения рассматриваемой проблематики. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что скорее активному падежу отвечает определение самой С. Л. Быховской эргатива, согласно которому это «есть падеж, указывающий на активность предмета, в пользу чего говорит особенно тот факт, что имена среднего рода, т. е. относившиеся некогда к классу социально-пассивных, не имеют показателя активного именительного падежа» ⁷².

Невозможность увидеть в этих условиях синтаксические предпосылки распределения маркированности и немаркированности в оформлении активного и инактивного падежей может быть проиллюстрирована следующим несколько более ранним высказыванием С. Л. Быховской: «. . . в ряде североамериканских языков непереходные глаголы делятся на глаголы движения и состояния: первые из них, наравне с переходными глаголами, имеют так называемую пассивную конструкцию («эргативную». — Г. К.), т. е. подлежащее стоит в активном падеже; глаголы же состояния имеют конструкцию т. н. активную, т. е. подлежащее стоит в именительном падеже (пассивном). Это вполне понятно: поскольку предмет находится в определенном состоянии без изменения, для выражения его нет надобности ни в каких аффиксах — предмет остается пассивным, и надо только назвать его. Но поскольку предмет производит какое-нибудь действие, объектное в переходных глаголах, безобъектное — в непереходных, необходимо выразить, что предмет этот производит какое-нибудь действие, необходимо придать какой-нибудь аффикс для выражения этого» ⁷³. Наивность такого рассуждения, прямо проецирующего отношения внеязыковой действительности в структуру языка, едва ли нуждается в комментариях.

⁷¹ С. Л. Быховская. «Пассивная» конструкция. . ., стр. 60—61.

⁷² Там же, тр 65.

⁷³ С. Л. Быховская. К вопросу о происхождении склонения, стр. 289.

В этом же контексте можно упомянуть не имевшую успеха попытку обоснования пассивного характера активного глагола, предпринятую на материале американских языков К. Уленбеком (см. подробнее стр. 128 настоящей работы). Он апеллировал при этом к особому миропониманию их носителей, согласно которому реальный производитель действия будто бы представлялся всего лишь орудием в руках некоторой «вышей силы»⁷⁴. Такой подход кажется особенно неожиданным, если учесть, что самому же К. Уленбеку принадлежат следующие строки: «Наше чувство языка обманчиво; пытаюсь найти у примитивных народов привычное нам мышление и вкладывая в их менее развитое мировоззрение наше собственное, мы часто попадаем впросак. Чтобы получить правильное представление о языковых отношениях, нужно найти объективные, внутренние критерии»⁷⁵.

Известный польский американист Тадеуш Милевский не обособлял активные языки от эргативных, которые он квалифицировал в ряде работ в качестве «объектных» (*langues objectives*). В этом можно убедиться по данной им интерпретации материала таких североамериканских языков, как хайда, тлингит и атапаскского чипевья, где на чисто семантических основаниях автор усматривает противопоставление транзитивного предложения со схемой А—О—Р и интранзитивного со схемой О—Р (А — символ агента действия, а О — его объекта)⁷⁶. Не проводится такого обособления и в его статье 1961 г., где языки тупи, гуарани, дакота, хидатса и хайда наряду с некоторыми эргативными отнесены к группе «агентивно-детерминативных», постулированной опять-таки на основе признания корреляции глагольной транзитивности ~ интранзитивности универсальным явлением языковой действительности⁷⁷.

Подобные трудности объясняются очевидным преувеличением сходства обеих языковых типологий за счет

⁷⁴ C. C. Uhlenbeck. Het passieve karakter van het verbum transitivum of van het verbum actions in talen van Noord-Amerika.

⁷⁵ X. К. Уленбек. Пассивный характер. . . , стр. 74.

⁷⁶ T. Milewski. La structure de la phrase dans les langues indigènes de l'Amérique du Nord. — В кн.: T. Milewski. Études typologiques sur les langues indigènes de l'Amérique (Prace Komisji Orientalistycznej, № 7), Kraków, 1967, стр. 71, 74, 82—83.

⁷⁷ T. Milewski. Analyse typologique de la langue ojibwa. Указ. соч., стр. 117, 119—120.

недооценки тех принципиальных расхождений со схемой эргативности, которые налицо в активных языках. Немало примеров возникновения таких трудностей известно, в частности, из истории изучения картвельских языков. Нельзя сказать, что картвелисты не видели многочисленных структурных отклонений последних от принципов эргативного строя. Целый ряд исследователей обращали свое внимание и на многочисленные случаи оформления подлежащего «эргативом» при большом числе семантически интранзитивных глаголов (их число достигает сотен, а при учете широкой превербной деривации, возможно, и тысяч) в форме времен аористной серии. Однако чаще всего при этом ограничивались замечанием, что подобные случаи требуют специального разъяснения. Единичные же попытки их истолкования, например, утратой исторически наличествовавшего прямого дополнения, остаются неподкрепленными фактическим материалом. Между тем именно изучение этих исключений помогает увидеть подлинный механизм обусловившего их доминативного состояния картвельских языков.

Вместе с тем время от времени в литературе встречались отдельные попытки различения двух видов эргативности и, соответственно, двух типов эргативных языков, опиравшиеся на несовпадение их структурного механизма. Еще в 1936 г. С. Д. Кацнельсон пришел к мысли о необходимости различать две разновидности эргативного строя, одну из которых он квалифицировал как «архаическую», а другую, широко представленную на современной лингвистической карте мира, как «пережиточную»⁷⁸. В 1940 г. М. М. Гухман писала, что «в эргативной конструкции одной из специфических черт, поскольку дело касалось глагольной системы, была именно дифференциация глаголов, в одних языках — на переходные и непереходные, в других — на глаголы действия и состояния; дифференциация эта выражалась в различной трактовке субъекта этих глаголов и в связи с этим в различном, казалось бы, синтаксическом построении. . . В отношении глагола основным является деление на переходные и непереходные в одних языках, или на глаголы действия и состояния,

⁷⁸ С. Д. Кацнельсон. К генезису доминативного предложения, стр. 103.

и других» ⁷⁹. В соответствии с различной схемой передачи субъектно-объектных отношений два типа «эргативных» языков различает и У. Чейф ⁸⁰.

Несколько дальше идет в этом отношении Дж. Метьюз, обративший свое внимание на серьезность отклонений в синтаксической структуре языка хидатса (из группы сиу) от эргативной схемы, образующихся за счет проявления принципов активного строя. В своем очерке синтаксиса последнего он отмечает, что «рассматривая предложения хидатса в контексте целостной грамматики, а не в изоляции, мы видим, что отношения эргативности не составляют фундаментальной черты хидатса, если не сказать, что они здесь вообще не существуют» ⁸¹. Конкретизируя свой вывод, он пишет далее: «Таким образом, эргативность является не фундаментальной чертой грамматики хидатса, а скорее автоматическим следствием фундаментального разграничения двух типов глагольных построений — активного и стативного... и общей каузативной конструкции, которая сама по себе составляет построение активного глагола» ⁸².

На некоторые отклонения структурной организации ряда неноминативных североамериканских языков от принципов эргативности, по-видимому, еще в 1917 г. обратил свое внимание Э. Сепир, анализируя способы передачи субъектно-объектных отношений на материале их местоименных показателей. Тогда же он, в частности, пришел к выводу о необходимости функционального разграничения эргативного и собственно активного падежей ⁸³.

Наиболее существенный шаг в сторону обособления активного строя от эргативного был сделан в работах С. Д. Кацнельсона, посвященных задаче реконструкции

⁷⁹ М. М. Гукман. Происхождение строя готского глагола, стр. 132 — 133; ср.: Она же. Конструкция с дательным//винительным лица и проблема эргативного прошлого индоевропейских языков. — ЭКПЯРТ, стр. 60.

⁸⁰ Wallace L. Chafe. Meaning and the structure of language. Chicago and London, 1970, стр. 232.

⁸¹ G. H. Matthews. Hidatsa Syntax. Papers on Formal Linguistics. The Hague, 1965, стр. 143.

⁸² Там же, стр. 146.

⁸³ E. Sapir. [Рец. на кн.:] C. C. Uhlenbeck. Het passieve karakter van verbum transitivum of van het verbum actionis in talen van Noord-Amerika. — IJAL, v. 1, 1917, стр. 88.

так называемой «актуальной» или «архаической» эргативности на основе свидетельств типологии так называемой «пережиточной» эргативности современных представителей эргативного строя (в частности, на материале австралийского языка аранта). Его существо заключается в том, что автор установил для соответствующего состояния отличный от характерного для эргативного принцип лексикализации глагольных слов, поскольку здесь в единый лексический класс оказываются объединенными транзитивные глаголы и интранзитивные глаголы движения⁸⁴.

Несколько позднее, характеризуя находящее свое структурное выражение понятие активности, С. Д. Кацнельсон писал следующее: «... говоря об активности предикандума (т. е. любого из именных компонентов предиката. — *Г. К.*), мы имеем в виду вполне определенную категорию, которую следует отличать от других близких к ней категорий. Под активностью мы здесь понимаем способность людей и животных активно перемещаться в пространстве либо еще их способность воздействовать на другие объекты, в том числе на людей и животных. . . Сферой действия принципа активности являются только предикаты активного движения и собственно переходные предикаты. К собственно переходным мы относим предикаты, выражающие воздействие одушевленных предметов на другие объекты. . . Принцип активности можно распространить и на квазипереходные предикаты, указав, что предикандумы, выражающие целостное событие, не принимаются в расчет при «отборе» субъекта. Одушевленный предикандум при таком предикате окажется тогда единственным предикандумом, способным занять позицию субъекта. Когда Дж. Лайонз говорит, что «переходность связана с различием одушевленных и неодушевленных предметов» и что в «идеальной» или «нормальной» языковой системе субъектом переходного действия является одушевленный предмет, то он формулирует принцип активности

⁸⁴ С. Д. Кацнельсон. К генезису номинативного предложения, стр. 103; *Он же*. Эргативная конструкция и эргативное предложение. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1947, № 1, стр. 43—44, 48—49; *Он же*. К происхождению эргативной конструкции. — ЭКПЯРТ, стр. 33—36; *Он же*. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, стр. 192.

в его более общем варианте»⁸⁵. Должно быть очевидным, что здесь уже почти сформулирован принцип противопоставления активного («одушевленного») и инактивного («неодушевленного») начал, как он реализован по крайней мере в части языков активной типологии.

Ч. Филлмор, опираясь на типологические расхождения в функционировании местоименных элементов глагола американских языков, выявленные Э. Сепиром, констатирует наличие их нескольких типов. Один из них, реализованный в языке дакота, соответствует системе активного строя. По автору, здесь активный субъект непереходного предложения получает одинаковое формальное выражение с агенсом переходного в отличие от объекта переходного предложения и инактивного субъекта непереходного, маркирующихся иным образом. В рамках разрабатываемой им грамматики глубинных «падежей» за формой двух первых стоит активный падеж (active), за формой двух вторых — инактивный (inactive)⁸⁶.

Некоторое приближение к модели активного строя на уровне лексической и синтаксической системы встречается и у западнонемецкого автора Г. Хеппа. Опираясь на фактический материал австралийского языка аранта (и учитывая, в частности, работы С. Д. Кацнельсона по проблеме эргативности) он разграничивает здесь, с одной стороны, собственно эргативную конструкцию предложения, соответствующую актуальному состоянию этого языка, а с другой — так называемую преэргативную (*vorergativische Konstruktion*), прослеживаемую им по различной роли в предложении имен двух разных классов — *Eigenamen* и *Sachnamen* (или «konkrete» Substantiva), отражающих предполагаемое автором для более ранней эпохи противопоставление исконных «субъектных» и «объектных» слов. Совокупность вероятных фрагментов этого строя Г. Хепп характеризует общим термином «преэргативность» (впрочем, мнение о большей архаичности структурной недифференцированности глагола по признаку транзитивность ~ интранзитивность представляется ему ошибочным). Обращает на себя внимание отчетливая стадияльная перспектива принимаемой автором общей кар-

⁸⁵ С. Д. Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление, стр. 192.

⁸⁶ Charles J. Fillmore. The Case for Case, «Universals in Linguistic Theory». N. Y. (Winston), 1968, стр. 53—54.

типы языковой эволюции, ведущая от презэргативности через эргативное состояние к номинативному⁸⁷.

Наиболее общее приближение к типологии предложения в языках активного строя представляет собой беглая характеристика так называемой «идеальной эргативной системы» (*ideal ergative system*), недавно данная Дж. Лайонзом в целях диахронического истолкования особенностей как эргативных, так и номинативных языков. Отмечая, что эта система в настоящее время не реализуется в языках, по традиции квалифицируемых в качестве эргативных, и, отвлекаясь от способов согласования, выступающих на уровне поверхностной структуры, он подчеркивает в ней своеобразие потенций «одушевленных» и «неодушевленных» имен, из которых лишь первые могут иметь как агентное (*agentive*), так и неагентное (*non-agentive*) употребление (напротив, амплуа вторых ограничено лишь неагентными функциями). При этом указывается, что транзитивность предложения логически увязывается с наличием «одушевленного» подлежащего, и что с определенной точки зрения построения типа английского *Wealth attracts robbers* могут рассматриваться как паразитический нарост на нормальных⁸⁸.

Наиболее существенной чертой подавляющего большинства предшествовавших исследований в рассматриваемом направлении является ограниченность взгляда на их предмет единичными явлениями или, в лучшем случае, узкими фрагментами той значительно более широкой типологической схемы, в рамках которой они функционируют (если, конечно, отвлечься от попыток их совмещения с моделью эргативного строя). В этом отношении своего рода исключение составляет предпринятая И. И. Мещаниновым попытка выделения в рамках его синтактико-типологической классификации языков особого «пассивного строя», недостаточная корректность понятия которого стала ему позднее очевидной.

Впервые краткий опыт совокупной типологической характеристики языков активного строя был предпринят автором настоящей работы в 1972 г., когда многие его

⁸⁷ G. Hopp. *Evolution der Sprache und Vernunft*. Berlin—Heidelberg. — New York, 1970, стр. 109—114.

⁸⁸ J. Lyons. *Introduction to Theoretical Linguistics*. Cambridge, 1971, стр. 356—359.

стороны еще представлялись гораздо менее ясными⁸⁹. В частности, наличие в этих языках семантически тождественных глагольных дублетов, соотносящихся исключительно с именами активного или пассивного классов здесь еще рассматривалось изолированно от профилирующего в их структуре лексического противопоставления активных и пассивных глаголов. Тогда же автор высказал мысль о том, что активные языки должны быть типологическими предшественниками представителей выдержанного эргативного строя⁹⁰. Первая дескриптивная характеристика структуры одного из активных языков — языка камаюра из семьи тупи-гуарани — в терминах намеченной тогда модели описания была выполнена бразильской исследовательницей Л. С. Феррейра⁹¹. Несколько позднее Г. К. Вернер показал, что структурные черты неноминативного типологического компонента кетского языка должны принадлежать не эргативному строю, а активному⁹². В. П. Назаров с целью объяснения невозможности реконструкции для прапанахскодагестанского языка-основы таких основных падежей, как эргативный, дативный и родительный обращается к гипотезе об активной типологии его древнейшего состояния⁹³. Наконец, опираясь на широкую совокупность разноуровневых явлений восточноиранских языков, Д. И. Эдельман приходит к предположению, согласно которому их субстратная подоснова должна была обладать чертами активной типологии⁹⁴.

⁸⁹ Г. А. Климов. К характеристике языков активного строя; ср.: *Он же*. Очерк общей теории эргативности. М., 1973, стр. 213—226.

⁹⁰ *Он же*. К генезису эргативной конструкции предложения. «Proceedings of the Eleventh International Congress of Linguists», I. Bologna, 1974, стр. 945—947.

⁹¹ Луиза Соарес Феррейра. Язык камаюра (фонетика и фонология, краткие сведения о грамматике). — Автореф. канд. дис. Ун-та дружбы народов им. Патриса Лумумбы. М., 1973.

⁹² Г. К. Вернер. Реликтовые признаки активного строя в кетском языке. — ВЯ, 1974, № 1.

⁹³ В. П. Назаров. Разыскания в области исторической морфологии восточнокавказских языков. Махачкала, 1974, стр. 33—34.

⁹⁴ Д. И. Эдельман. Структурные «аномалии» восточноиранских языков и типология субстрата. «Studien zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Karl Ammer zum Gedenken». Jena, 1976, стр. 88—90. — Тезис автора о типологической самостоятельности активного строя принимают и зарубежные рецензенты его предшествующей монографии: ср.: В. Comrie. [Рец. на:] G. A. Klimov. Očerik obščej teorii ergativnosti. «Lingua», v. 39,

Из предпринятого обзора истории вопроса должно быть очевидным, что ведущая роль в исследовании теоретической проблематики активного строя принадлежит отечественной науке. Бесспорен ее решающий вклад в разработку этой проблематики, сделанный в рамках общей теории эргативности. Немаловажная роль принадлежит ей и в обосновании гипотезы активного прошлого индоевропейских языков.

Современное состояние разработанности рассматриваемой теории ставит перед ней множество задач. Едва ли не основной из них является последовательное отграничение активной типологии языка от эргативной. В этой связи трудно переоценить важность дальнейшего расширения эмпирической базы исследования. Есть основания надеяться, что от прогресса, достигнутого в области общей теории активного строя, будут существенно зависеть более широкие перспективы лингвистической типологии.

Одной из насущных задач теории активного строя является упорядочение и прежде всего — унификация ее терминологического аппарата, без которого модель описания рассматриваемых языков останется несовершенной. Обычное неразграничение принципиальных типологических схем активного и эргативного строя играло в этом плане самую отрицательную роль, что отчетливо сказывается и на той линии исследования активности, которая сложилась в рамках индоевропейского языкознания. В итоге метаязык этой теории не располагает сколь-нибудь единообразной системой терминов даже для обозначения таких наиболее важных импликаций активного строя, каковыми являются присущие ему лексические группировки имен существительных и глаголов, корреляции конструкций предложения, противопоставления позиционных падежей имени и личных аффиксов глагола.

Так, в индоевропеистической традиции обычно говорилось о противопоставлении «одушевленного» (*animé*) и «неодушевленного» (*inanimé*) классов субстантивов или

1976; *S. Romportl. Aktuálnost poznatků o jazycích ergativního typu* (Na okraj monografie G. A. Klimova). «Slovo a slovenost», 1976, № XXXVII.

«среднего» и «несреднего» родов ⁹⁵ (в работах И. М. Тронского предпочитают термины «активный» и «инертный» класс ⁹⁶). В исследованиях по теории эргативности в этой роли обычно выступают термины «активный» и «пассивный» (ср. работы С. Л. Быховской, Л. И. Жиркова, К. Д. Дондуа и др.).

Для обозначения функционирующей в этих языках оппозиции глагольных слов как в теории эргативности, так и в индоевропейском языкознании, начиная с работ К. Уленбека, получили распространение термины «глагол действия» и «глагол состояния». Близкие к последним обозначения — «активные глаголы» (active verbs) и «статические // стативные глаголы» (static // stative verbs) — встречаются у Э. Сепира и некоторых других американских исследователей ⁹⁷. В современной американистической литературе последний член оппозиции нередко квалифицируется как «neutral verbs» ⁹⁸.

Активная конструкция предложения, организуемая «глаголами действия», в существующей литературе обычно фигурировала под именем эргативной. Нередко такое словопотребление встречается и в индоевропейистических исследованиях ⁹⁹. В работах по языкам эргативного строя до относительно недавнего времени была распространена нежелательная синонимия, встречававшаяся иногда даже в публикациях одного и того же автора. Так, в частности, в нахско-дагестанском языкознании эргативная модель предложения нередко квалифицировалась в качестве

⁹⁵ Ср., например: Вяч. Вс. Иванов. Эргативная конструкция в общиндоевропейском. — ЭКПЯРТ (тезисы докладов). Л., 1964; А. Н. Савченко. Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке.

⁹⁶ И. М. Тронский. Общиндоевропейское языковое состояние, стр. 60 и след.

⁹⁷ E. Sapir. Central and North American Languages. «Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture, Personality». Berkeley and Los Angeles, 1958, стр. 175; также: Wallace L. Chafe. A Semantically Based Sketch of Onondaga. — «Supplement to IJAL», v. 33, 1970, № 2, pt. II.

⁹⁸ Ср., например: E. Sapir, H. Hoijer. The Phonology and Morphology of the Navaho Language. «University of California Publications in Linguistics», v. 50. Berkeley and Los Angeles, 1967, стр. 93—95.

⁹⁹ Ср.: Вяч. Вс. Иванов. Эргативная конструкция в общиндоевропейском; А. Н. Савченко. Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке.

«активной»¹⁰⁰. Напротив, рудименты активной конструкции, выступающие в картвельских языках, как правило, покрывались термином «эргативная конструкция»¹⁰¹. В то же время К. Д. Дондуа, один из немногих авторов, использовавших термин «активная конструкция предложения» в картвелистике, употреблял его синонимично с «эргативная конструкция»¹⁰².

Отсутствует терминологическая однозначность и в квалификации морфологических импликаций активности. Ее лишены уже работы К. Уленбека, впервые постулировавшего в 1901 г. дихотомию «активного» (*Activus*) и «пассивного» (*Passivus*) падежей. В публикации 1906 г. более адекватным ему представляется противоположение транзитивного (*Transitivus*) и интранзитивного (*Intransitivus*) падежей. Еще позднее, по-видимому, убедившись в неприменимости обоих в системе описания американских языков активного строя, но в то же время, исходя из мысли, что они реализуют некоторую разновидность эргативного, К. Уленбек ввел было в роли их общих знаменателей более объемные термины — «энергетический падеж» (*Casus energeticus*) и «инертный падеж» (*Casus inertiae*). Однако в дальнейшем последние обозначения не получили применения ни в трудах самого К. Уленбека, ни в работах других лингвистов¹⁰³.

Позднее термин «активный падеж» использовали такие индоевропейцы, как А. Дебруннер (который противопоставлял ему термин «инактивный падеж»), Е. Курилович (у последнего он служит синонимом эргатива, поскольку определяется как падеж субъекта при транзитивном гла-

¹⁰⁰ Ср., например: М. М. Гаджиев. Синтаксис лезгинского языка, ч. I. Махачкала, 1954, стр. 83 и след.; Л. И. Жирков. Указ. соч., стр. 59—60, 62—66.

¹⁰¹ Ср., например: Г. А. Климов. К эргативной конструкции предложения в занском языке. — ЭКПЯРТ. Л., 1967, стр. 149 и след.

¹⁰² Ср.: К. Д. Дондуа. Морфологическое выражение активного (эргативного) строя в адыгейской и картвельской группах кавказских языков. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», вып. 3, 1948; *Он же*. Настоящее «обычности» в активной конструкции (из типологических связей картвельских языков с горскими языками Кавказа). «Изв. АН СССР, ОЛЯ», вып. 1, 1949.

¹⁰³ Х. К. Уленбек. *Agens* и *Patiens* в падежной системе индоевропейских языков, стр. 101—102; *Он же*. К учению о падежах, стр. 97 и след.; С. С. Uhlenbeck. [Рец. на кн.:] G. Rozen. Die nominalen Klassifikationssysteme in Sprachen der Erde, стр. 653,

голе), Х. Педерсен¹⁰⁴ и др. Активный падеж и транзитивный, с одной стороны, и пассивный и интранзитивный, с другой, оказываются синонимами и в словоупотреблении О. Есперсена¹⁰⁵. В недавнее время противопоставление глубинных активного (active) и инактивного (inactive) падежей по отношению к языку дакота было постулировано Ч. Филлмором¹⁰⁶.

В отечественном языкознании термин «активный падеж» (а также его коррелят «пассивный падеж»), первоначально служивший синонимическим обозначением эргатива, нашел свое применение в рамках теории эргативности. Впервые такое словоупотребление встречается в одной из статей Н. Я. Марра: «... в чистом яфетическом грузинском, прямой, принимаемый за именительный, служит логическим объектом при переходном глаголе, этот падеж как бы пассивный, а косвенный (имеется в виду падеж с характеристикой -та. — Г. К.) служит логическим субъектом, он активный»¹⁰⁷. В дальнейшем оно сохранялось в работах таких советских лингвистов, как С. Л. Быховская, Л. И. Жирков, К. Д. Дондуа, И. И. Мещанинов¹⁰⁸. Следует отметить, что в некоторых исследованиях последнего автора термину «активный падеж» отводилось особое место, поскольку он использовался в них в качестве синонима так называемого «самостоятельного эргатива», т. е. эргатива, не совмещающего функции какого-либо косвенного падежа¹⁰⁹. Нельзя, впрочем, пройти мимо того обстоятельства, что в применении к структуре карт-

¹⁰⁴ А. Debrunner. Lautgesetz und Analogie. «Indogermanische Forschungen», Bd LI, 1933, стр. 289; J. Kuryłowicz. Études indoeuropéennes. I. Kraków, 1935, стр. 161—165; Н. Pedersen. Neues und Nachträgliches. «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», Bd XL, 1907, стр. 152—153.

¹⁰⁵ О. Есперсен. Философия грамматики. М., 1958, стр. 189.

¹⁰⁶ Charles J. Fillmore. The Case for Case. «Universals in Linguistics Theory». N. Y. (Winston), 1969, стр. 54.

¹⁰⁷ Н. Я. Марр. О происхождении языка. — В кн.: «По этапам развития яфетической теории (сб. статей Н. Я. Марра)». Л., 1926, стр. 304.

¹⁰⁸ Ср.: С. Л. Быховская. К вопросу о происхождении склонения. Л. И. Жирков. Грамматика лезгинского языка. Махачкала, 1941; К. Д. Дондуа. Морфологическое выражение активного (эргативного) строя...

¹⁰⁹ Ср., например: И. И. Мещанинов. Общее языкознание. К проблеме... стр. 204—205; Он же. Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967, стр. 52—53.

вельских языков этот термин, равно как параллельно встречающееся выражение «активная конструкция предложения», в определенной мере находил свое объективное оправдание. Дело в том, что картвельский «эргатив» является падежом подлежащего как при транзитивных, так и при множестве интранзитивных, и семантически активных (согласно грамматической концепции А. Г. Шанидзе — «медиаактивных»¹¹⁰) глаголах, чем он скорее сближается с активным падежом представителей активной типологии.

Необходимо, наконец, упомянуть существование некоторого терминологического параллелизма между метаязыками теории активного строя и интенсивно разрабатывающейся в настоящее время концепции универсалий. Он стал особенно ощутимым с тех пор, как основное направление исследований в русле последней начало использовать для обозначения ряда явлений универсальной глубинной структуры языка такие названия «падежей», как *Agent* и *Patient*, стало различать «активные» и «стативные» глаголы и т. д.¹¹¹ Можно думать, что подобному параллелизму способствует уже сам обычно рассматривающийся материал некоторых индоевропейских языков, и прежде всего — английского, который на каком-то уровне действительно, по-видимому, еще отражает отдаленные реминисценции активного строя. Однако за внешне сходным терминологическим аппаратом этих исследований нередко скрывается существенно отличная система понятий. Ср., в частности, отнесение в них к числу стативных глаголов семантики 'видеть', 'слышать', 'знать', 'надеяться', 'нравиться', 'помнить', 'верить', 'сомневаться' и других, относимых в рамках теории активного строя к классу глаголов произвольного действия и состояния, а не стативных.

¹¹⁰ А. Г. Шанидзе. Основы грамматики грузинского языка. I. Морфология. «Труды кафедры древнегрузинского яз. Тбилис. гос. ун-та. 15. Тбилиси, 1973, стр. 305 (на груз. яз.).

¹¹¹ Ср., например: *G. Lakoff. Stative Adjectives and Verbs in English. Harvard Computation Laboratory. Report N NFS-17, 1966; David A. Lee. Stative and Case Grammar. «Foundations of Language», v. 10, 1973, N 4.*

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ТЕОРИИ АКТИВНОГО СТРОЯ

Как было показано в предшествующей главе, характерное для науки прошлого смешение понятий активного и эргативного строя, а также частных структурных компонентов обоих, обуславливалось недостаточной разработанностью общей теории эргативности, и, соответственно, недостаточной адекватностью определения ее основных понятий. Только с формулировкой важнейших концептов этой теории возникает возможность сформулировать и дефиниции основных понятий, которыми оперирует теория активного строя. С разработкой последней становится все более ясным, что активная типология языка, как и, например эргативная, является не аномалией, а одним из закономерных способов выявления основных «позиционных» функций структурных средств языка.

Прежде чем перейти к соответствующим дефинициям, необходимо подчеркнуть, что аналогично другим языковым типам, намечающимся к настоящему времени в плане контенсивной типологии (в частности, номинативному эргативному, классному и нейтральному), активный строй представляется целостной системой признаков-координат языка, заявляющих о себе на его лексическом, синтаксическом и морфологическом уровнях¹. Хотя, по-видимому, имеются основания исходить из того, что некоторые особенности фонологии — собственно, фонологической синтагматики — в конечном счете также обуславливаются типологической спецификой более высоких уровней языковой структуры, фактическая неразработанность этого вопроса не разрешает затронуть его здесь даже в самой

¹ Ср.: Г. А. Климов. Вопросы контенсивно-типологического описания языков. «Принципы описания языков мира». М., 1976, стр. 123—131.

общей форме. Между тем ряд обстоятельств может свидетельствовать о том, что активный тип представляет собой структуру, которая с большей отчетливостью, чем номинативный или эргативный, позволяет увидеть межуровневые зависимости языковых элементов.

Если учесть, что некоторые концепты описательной грамматики номинативных языков (такие, как, например, залог, переходный // непереходный глагол, прямое // косвенное дополнение, именительный падеж) вплоть до последнего времени обнаруживают настораживающую тенденцию к превращению в едва ли не универсальные категории лингвистического описания, то будет нетрудно понять, что одной из важнейших задач настоящей работы должна явиться разработка адекватной модели описания активных языков. Решение ее будет способствовать более глубокому рассмотрению вопроса о соотношении типологически специфичных и, напротив, общих по крайней мере для нескольких языковых типов категорий, настойчиво выдвигаемого все более интенсифицирующимися исследованиями разноструктурных языков: в виду имеется, например, соотношение более узкого понятия залога, с одной стороны, и более широкого понятия глагольной диадезы, с другой (ср. в этой связи предложенное Б. Л. Уорфом различение таксонимических и дескриптивных категорий разных степеней²).

Принципиально важными понятиями теории активности, отчетливое размежевание которых составляет необходимую предпосылку ее адекватности, представляются понятие активной конструкции предложения, его целостной активной типологии и, наконец, активного строя языка в целом. Наиболее общим из них является последнее, включающее широкую совокупность разноуровневых структурных импликаций языка и, в частности, оба названных первыми. Значительно более узким оказывается синтаксическое по своему существу понятие предложения активной типологии, которое включает на правах его составляющих моделей активную, инактивную и «аффертивную» конструкции. Должно быть очевидным, что наиболее частным является понятие активной конструкции предложения.

² Б. Л. Уорфф. Грамматические категории. «Принципы типологического анализа языков различного строя». М., 1972, стр. 59—60.

Необходимо принять во внимание, что поскольку опыт эксплицитной формулировки всех этих понятий предпринимается в данной работе впервые, самое состояние разработки проблематики предполагает до некоторой степени предварительный и, вероятно, недостаточно строгий характер предлагаемых далее определений. Не приходится, однако, сомневаться в том, что уже и в настоящем своем облике все они отчетливо размежевываются с соотносительными с ними концептами эргативной конструкции предложения, его эргативной типологии и эргативного строя языка в целом.

Несколько предвосхищая последующее изложение, необходимо прежде всего подчеркнуть, что самое общее отличие активного строя от других языковых типов, выделяемых в рамках принимаемой автором контенсивно-типологической схематики, заключается в ориентации его поверхностных характеристик на особую глубинную структуру — семантическую детерминанту языка, противопоставляющую не собственно субъектное и объектное или какие-либо иные начала, а активное и инактивное (должно быть очевидным, что в виду имеется не некоторый универсальный понятийный субстрат, в той или иной форме выражающийся в представителях разных типологий, а содержательный принцип, характеризующийся меньшей глубиной). Не может, конечно, существовать никаких сомнений в том, что в сознании носителей активных языков субъектно-объектные отношения действительности запечатлены вполне отчетливо. Согласно справедливому замечанию Э. Сепира, «ни один из известных нам языков не может от этого увернуться, равно как он не может выразить чего-либо, не прибегая к символам для конкретных понятий»³. Более того, нетрудно убедиться, что выражение последних достаточно адекватно обеспечивается наличными в их структуре средствами. Вместе с тем сами способы передачи этих отношений оказываются здесь принципиально отличными от средств их воплощения в языках иных типологий (создается убеждение, что внутренняя логика активного строя требует более однозначного отображения тех отношений, которые существуют во внеязыковой действительности между активным и инактивным актантами).

³ Э. Сепир. Язык. Введение в изучение речи. М.—Л., 1934, стр. 73.

С самого начала необходимо признать бесперспективность попыток сформулировать перечисленную совокупность определений на уровне тех или иных поверхностных параметров языков активной типологии. Уже сам континентальный характер типологической схемы, только с точки зрения которой и оказывается возможной постуляция рассматриваемого здесь структурного типа, с необходимостью предполагает соотносительность соответствующих дефиниций с глубинной структурой, вызывающей к жизни весь механизм активного строя (ранее имела место попытка дать соответствующие определения, приближающиеся по своему характеру к операциональным ⁴). Впрочем, ввиду определенных расхождений формально-типологических параметров активных языков иной подход был бы вообще едва ли возможен: в одних языках отношения активности могут передаваться в глаголе, в других — как в глаголе, так и в связанных с ним именных компонентах предложения, в третьих — исключительно в именах. Более того, активный строй способен к воплощению не только в агглютинативных и флективных языках, но и в языках, формальный тип которых может определяться как изолирующий (в последнем случае характерные для него отношения могут, в частности, передаваться посредством служебных слов). Так, на непреодолимые трудности наталкивается, например, попытка общего определения активной (или инактивной) конструкции предложения, базирующаяся на признаках поверхностного синтаксиса. Даже в тех случаях, когда, казалось бы, существуют некоторые поверхностно-синтаксические черты, общие для всех ее разновидностей — такие, как доминанция сказуемого над связанными с ним именными компонентами предложения — они не способны послужить основой для ее удовлетворительного определения. Дело в том, что, не говоря уже о соответствии этих признаков другим моделям предложения активной типологии (инактивной и аффертивной), они присущи и всем моделям предложения по крайней мере эргативной типологии.

Представляется естественным начать с дефиниции наиболее общего из входящих в обозначенный круг

⁴ Г. А. Климов. К характеристике языков активного строя. — ВЯ, 1972, № 4.

понятий концепта активного строя языка, не нуждающегося, по-видимому, в каких-либо ссылках на предварительно выработанные определения более узких концептов. В соответствии с его глубинной сущностью он может быть определен как такой строй, разноуровневые поверхностные характеристики которого ориентированы на передачу противопоставления не субъектного и объектного начал, как то наблюдается в системе номинативной типологии, или не агентного и фактитивного (по А. Е. Кибрику), как то имеется в системе эргативной типологии, а активного и инактивного. Это практически значит, что совокупность признаков-координат его поверхностной структуры (прежде всего — противопоставление активного и инактивного классов субстантивов, оппозиция активных и стативных глаголов, корреляции активной и инактивной конструкций предложения, активного и инактивного рядов личных показателей глагола и активного и инактивного падежей) обнаруживает значительно меньшую приспособленность к передаче субъектно-объектных отношений, чем это имеет место в рамках эргативного и особенно номинативного строя.

Во избежание возможных недоразумений необходимо вторично подчеркнуть, что все эти отношения вполне отчетливым образом выражаются и в любом активном языке. Однако ввиду отсутствия в его основных парадигматических элементах однозначной ориентации на субъектное или объектное начало выражение и того и другого оказывается достижимым в контексте взаимодействия его различных структурных компонентов в плане синтагматики.

Такое положение, служащее предметом специального рассмотрения в следующей главе настоящей работы, может быть, например, проиллюстрировано на механизме функционирования здесь активного и инактивного рядов личных глагольных аффиксов. Так, в языке дакота различаются префиксы 1-го и 2-го лица активной серии *wa-* и *ya-* и префиксы тех же лиц инактивной — *ta-* и *ni*. Если оба первых из них с некоторым основанием могут быть охарактеризованы в качестве субъектных (хотя они и не охватывают всех реальных разновидностей субъекта), то вторые имеют отчетливый диффузный, т. е. субъектно-объектный, характер. Несмотря на это, субъектно-объектное содержание, передаваемое в дакота гла-

ительными словоформами *wa-ti* 'я обитаю, живу', *wa-kaška* 'я связываю (его)', *ma-kaška* 'меня связывает (он)', *ma-ta* 'я умираю', *ma-wašte* 'я добрый, хороший', *ma-ya-kaška* 'меня ты связываешь' и т. п., не вызывает какой-либо неясности. Должно быть естественным, в частности, что в одноличных формах глаголов личный аффикс ин-активной серии всегда соотнесен с субъектом действия или состояния, а в двухличной — с объектом действия ⁶.

Конечно, если учесть структурную специфику некоторых других типов, выделяемых в рамках контенсивной типологии (классного и нейтрального), трудно сомневаться в том, что и сама оппозиция активного и инактивного начал, пронизывающая всю систему представителей рассматриваемого типа, обозначает определенное приближение к дихотомии субъектного и объектного. Однако довольно очевидная диффузность в передаче отношений последней, равно как и часто встречающееся здесь отождествление активного начала с «одушевленным», а инактивного — с «неодушевленным», дают основания усматривать в активных языках вполне специфическую типологию языковой структуры.

Имеется возможность показать, что дефиниции профилирующих в системе активного строя конструкций предложения в терминах каких-либо поверхностно-морфологических характеристик не только не корректны теоретически (казалось бы, они должны были бы быть выдержаны во всяком случае в собственно синтаксических терминах), но и вообще невозможны.

В принципе, подобно известным вариациям эргативной и абсолютной конструкций предложения в системе эргативного строя, его активная и инактивная модели могут выступать в трех морфологических разновидностях — глагольной (1), смешанной (2) и именной (3), которые схематически можно отобразить следующим образом:

Активная конструкция Инактивная конструкция

- | | |
|--|---|
| 1. N — V _{act} | 1. N — V _{stat} |
| 2. N _{act} — V _{act} | 2. N _{inact} — V _{stat} |
| 3. N _{act} — V | 3. N _{inact} — V |

⁶ Ср.: М. М. Гухман. Происхождение строя готского глагола. М.—Л., 1940, стр. 136—137.

Необходимо при этом оговорить два обстоятельства. Во-первых, следует учитывать, что в обоих случаях во внимание принимаются только те члены предложения, наличие которых составляет необходимое и, вместе с тем, достаточное условие для признания конкретного языкового построения в качестве активной или пассивной конструкции — подлежащее и сказуемое. Естественно, что в составе обеих моделей предложения могут быть и дополнения, однако их наличие факультативно и поэтому не находит здесь своего отражения. Следует поэтому заметить, что схематические репрезентации обеих конструкций, предлагавшиеся автором настоящей работы ранее, недостаточно точны: в обозначении в них факультативной позиции дополнения он следовал за схемой Ч. Филлмора, оказавшейся под ассоциативным воздействием схемы эргативного построения, по-видимому, предполагающей позицию дополнения⁶. Между тем такое различие принципиальных схем предложения в языках активной и эргативной типологии на уровне их синтагматического состава, возможно, способно составлять один из аргументов в пользу необходимости типологического разграничения активного строя от эргативного (подробнее об этом см. на стр. 122—123 настоящей работы).

Во-вторых, должна быть очевидной условность морфологической основы подобной градации типов конструкции предложения. Дело в том, что обе модели отчетливо различимы не только во флективных и агглютинативных языках, но и в языках, приближающихся к изолирующим. Например, их именной тип может базироваться на технике так называемой нефлективной морфологии, что лишний раз подчеркивает фундаментальное различие типологических систем, ориентированных на признаки формального и содержательного характера.

В глагольной разновидности соответствующие синтаксические отношения всецело передаются в составе словоформы глагольного сказуемого, в смешанной они отражаются как в структуре глагола-сказуемого, так и в именных членах предложения, и, наконец, в именной они полностью выражаются в именных членах.

⁶ Г. А. Климов. Очерк общей теории эргативности. М., 1973, стр. 219; ср.: Ch. J. Fillmore. The Case for Case. «Universals in Linguistic Theory». N. Y. (Winston), 1968, стр. 53.

Если учесть факт обычной неразвитости парадигмы именного склонения в активных языках (отражающий собой общее ограниченное развитие здесь именной морфологии), то должно быть понятно, почему в них, как правило, представлена глагольная разновидность названных моделей предложения. Характеризуя отражение глубинных субъектно-объектных ролей в словоформе подобного глагола-сказуемого, И. И. Мещанинов писал следующее: «Такого рода построения глагола имеют место не в одних только языках с номинативным строем предложения. Они обусловлены наличием одной общей грамматической формы для активного и пассивного подлежащего. Они проявляются тогда, когда по внешней форме самого подлежащего не удастся установить, выступает ли оно в предложении как действующее лицо или же как лицо, испытывающее на себе результаты действия. Глагол в обоих случаях не управляет падежом подлежащего, а характеризует его смысловое положение в предложении и сам в соответствии с этим оформляется. Поэтому в тех языках, в которых не выделяется особый активный падеж и в которых активность или пассивность самого оформленного или неоформленного падежом имени неясна, может быть использован специальный глагольный форматив для выявления позиции субъекта»⁷. Для таких языков особенно справедлива образная характеристика глагола как «алгебраической формулы мысли».

Поскольку активные и инактивные личные аффиксы глагольного сказуемого, с одной стороны, и флексии активного и инактивного падежей, с другой, выполняют тождественные синтаксические функции, может сложиться впечатление об избыточности смешанного морфологического типа обеих профилирующих конструкций предложения в активных языках. Однако, судя по всему, это не так. Имеются основания считать, что последний возникает в том случае, когда в силу тех или иных причин выражение отношений активного строя в словоформе глагольного сказуемого оказывается недостаточным.

В существующих активных языках господствующим по своей распространенности оказывается глагольный морфологический тип активной и инактивной конструкций. Это обстоятельство непосредственно связано с обыч-

⁷ И. И. Мещанинов. Глагол. М.—Л., 1948, стр. 144.

ной неразвитостью в них парадигмы именного склонения. Именно такая картина налицо во всех представителях семей на-дене, тупи-гуарани, сиу⁸, прокуа-каддо, а также в языках ючи. Из древнеписьменных языков этот тип характеризовал эламский.

Смешанный морфологический тип обеих конструкций засвидетельствован в языках мускоги, в которых встречается противопоставление активного падежа с признаком -t и инактивного с признаком θ // -n⁹.

Что же касается именной разновидности активной и инактивной конструкций предложения, то она в настоящее время на материале идентифицированных языков активного строя, как будто, не засвидетельствована. Однако тем больший интерес вызывают случаи остаточного функционирования этой разновидности в структуре отдельных языков уже преимущественно номинативной или эргативной типологии. Возможно, она была представлена, например, в наиболее раннем состоянии древнеегипетского языка, где функцию активного «падежа» мог играть предлог in. В частности, М. А. Коростовцев приводит множество иллюстраций, свидетельствующих о том, что здесь в отличие от аналитического «номинатива», передаваемого сочетанием нулевого предлога с именем существительным или местоимением, «сочетание in+существительное», с одной стороны, и парадигма независимых местоимений, с другой стороны, выражают в предложении не только грамматический и логический субъект, но вообще тот предмет или лицо, которое в предложении играет главную смысловую роль¹⁰. Существуют основания предполагать, что она имела и в том состоянии протоиндоевропейского, а также протокартвельского, в котором оппозиция активного и инактивного падежей еще сохранялась, но

⁸ Еще в 1940 г. М. М. Гухман отмечала, что «языком, в котором отсутствует склонение и где вся сложность рассматриваемых отношений (имеются в виду отношения активности, как они воспринимались сквозь призму теории эргативности. — Г. К.) дана в глаголе, является приводимый Уленбеком североамериканский язык дакота из группы сиу» (М. М. Гухман. Указ. соч., стр. 136).

⁹ Ср.: F. G. Speck. Some Comparative Traits of the Muskogean Languages. «American Anthropologist», v. 9, 1907, № 3. стр. 481.

¹⁰ Ср.: М. А. Коростовцев. Эргативный «падеж» в египетском языке. «Древний Египет и Древняя Африка». М., 1967, стр. 92.

способы выражения субъекта ввиду того, что уже они отражают варьирующую по языковым типам картину. Конечно, в подобную дефиницию может быть введено и указание на способы выражения объекта, однако последнее было бы здесь, по-видимому, избыточным (не исключено, что не нуждается в дополнительной ссылке на способы обозначения объекта и глубинно-синтаксическая дефиниция эргативной типологии предложения, ранее предложенная автором)¹¹.

Из сказанного естественно заключить, что активная конструкция — это модель предложения активной типологии, передающая активное действие, а инактивная — модель, передающая состояние. По-видимому, начиная еще с пионерских исследований К. Уленбека в области реконструкции структурного облика древнейшего протоиндоевропейского состояния, не возникало сомнений в отчетливой типологической специфике активной конструкции по сравнению с номинативной (об этом уже говорит обычное для прошлого ее смешение с эргативной). В то же время структурная коррелированность с ней инактивной конструкции должна составлять надежную предпосылку глубокого типологического отличия от номинативной и последней, обнаруживающей с ней только некоторое внешнее сходство.

Однако инвентарь моделей предложения активной типологии не исчерпывается противопоставлением активной и инактивной конструкций. Характерной импликацией языков активного строя следует считать также «аффективную» конструкцию предложения, которая должна быть здесь определена как модель предложения активной типологии, передающая произвольное действие или состояние. Семантическая специфика задающих ее глаголов обуславливается объемом мыслимых действий, которые не могут быть переданы активной и инактивной конструкциями: в их состав входят не только *verba affectuum* и *verba sentiendi*, как это обычно имеет место в эргативных языках, но и значительно более широкая группа других глагольных лексем, передающих произвольное действие или состояние. Три возможных морфологических разновидности этой модели предложения,

¹¹ В последнее время такая точка зрения высказывалась отдельными советскими и зарубежными авторами.

обе серии личных окончаний глагола уже начали смешиваться.

Аналогичным образом не приносит какого-либо эффекта в этом плане и обращение к некоторым поверхностно-синтаксическим признакам, характеризующим эти модели. В частности, наличествующая во всех конструкциях предложения активных языков синтаксическая доминация сказуемого над связанными с ним именными компонентами оказывается свойственной и различным моделям предложения эргативной типологии. В соответствии с общей прозрачностью семантической детерминанты, которая обуславливает функционирование всей совокупности структурных импликаций активности, адекватную дефиницию этих моделей следует искать на глубинно-синтаксическом уровне.

В плане принятой в настоящей работе контенсивно-типологической систематизации языковых структур на глубинно-синтаксическом уровне в качестве активной типологии предложения следует рассматривать его такую типологию, в рамках которой субъект активного действия трактуется иначе, чем субъект инактивного, т. е. — состояния. Поскольку при этом имеется в виду глубинное (к тому же, по-видимому, универсальное) понятие субъекта, естественно, что последнее безотносительно к тому, в каком члене предложения оно находит свое выражение. Максимально глубинный характер этого понятия должен быть здесь очевидным хотя бы в силу того обстоятельства, что структурные компоненты активного строя ориентированы, как будет показано в следующей главе, на передачу не субъектно-объектных отношений, а тех отношений, которые существуют между активным и инактивным актантами. Данная дефиниция должна быть действительной для всех представителей активной типологии и, в частности, для той их группы, в которой понятия активности и инактивности в значительной степени близки к понятиям одушевленности и неодушевленности соответственно (североамериканская макросемья на-дене).

Как можно заметить, в этом определении отсутствует ссылка на характер выражения объекта. Недавние исследования показывают, что для определения контенсивно-типологической специфики структуры предложения достаточно охарактеризовать существующие в ее рамках

которая, таким образом, лишь совершенно условно может быть квалифицирована в качестве «аффективной» (некоторая условность этого термина налицо, конечно, и по отношению к языкам эргативного строя), — глагольная, смешанная и именная — схематически могут быть отражены следующим образом:

1. N — V_{aff}
2. N_{aff} — V_{aff}
3. N_{aff} — V

Естественно, что ввиду обычной неразвитости парадигмы склонения в засвидетельствованных представителях активного строя в них фактически всегда налицо ее глагольная разновидность. Ср. ее иллюстрацию из языка ассинибойн (группа сиу): *he miš George Oldwatch wa-mn-aka* 'я видел Джорджа Олдуотча' (где *mn-* префикс 1-го лица аффективного ряда)¹².

На настоящем этапе исследования не исключается возможность отсутствия «аффективной» конструкции предложения в некоторых языках раннеактивного состояния, в которых противопоставление активного и инактивного начал особенно приближается к оппозиции «одушевленного» и «неодушевленного» (ср. обычное невыделение соответствующего класса глагольных лексем в языках на-дене). Структурной предпосылкой такой возможности может служить невыделенность здесь глаголов непроизвольного действия из общего числа активных («одушевленных»). Впрочем, описательное образование «аффективной» конструкции, вероятно, встречается и во всех последних языках.

Напротив, не приходится говорить о функционировании в языках активного строя посессивной конструкции предложения, поскольку здесь не сформирован класс специальных *verba habendi*. Соответствующее содержание передается в них при посредстве стативных глаголов семантики 'наличествовать', 'находиться', нередко дублирующих друг друга в зависимости от их соотносительности с референтами определенного характера (о конкретных способах его выражения см. стр. 101—102 настоящей

¹² *N. B. Levin. The Assiniboin Language. — IJAL, v. 30, 1964, № 3, pt II, стр. 21.*

работы), и, реже, — при помощи глаголов непроизвольного действия и состояния.

Если принять сформулированные выше дефиниции, то возникает необходимость пересмотреть состав языков, в прошлом, как правило, относившихся к числу эргативных. В ряде из них скорее приходится постулировать механизм, характерный для структуры активной типологии.

Среди таких языков прежде всего следует назвать представителей североамериканских семей на-дене, сиу и мускоги, отступления строя которых от норм эргативности так или иначе уже отмечались в специальной литературе.

Впервые, впрочем не очень четко, отклонения этого рода были зафиксированы еще К. Уленбеком, обратившим внимание на особое построение «глаголов действия» в языках хайда, тлингит, атапаскских, мускоги и дакота¹³. Более определенные соответствующие факты языков тлингит и дакота позднее были интерпретированы С. Л. Быховской¹⁴.

«Языки сиу, — пишет Г. Мэтьюз, — часто приводились в качестве языков, выявляющих отношения эргативности. Эргативные отношения констатируются в языке, если показатель объекта транзитивных глаголов тождествен показателю субъекта интранзитивных, а последний отличен от показателя субъекта транзитивных глаголов. Показателем может являться падежный аффикс, согласовательная морфема или просто позиция в предложении. В исследованиях по языкам сиу соответствующее отношение обычно описывалось как различие деятелей (actors) и целей (goals), в котором цели функционируют в роли объекта транзитивных глаголов и субъекта большинства интранзитивных, в то время как деятели функционируют в роли субъекта транзитивных глаголов и относительно немногих интранзитивных... Рассматривая предложения языка хидатса в целостном контексте его грамматики, а не в изоляции, мы видим, что эргативное отношение не составляет фундамен-

¹³ А. К. Уленбек. Пассивный характер переходного глагола или глагола действия в языках Северной Америки. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 82—89.

¹⁴ С. Л. Быховская. «Пассивная» конструкция в яфетических языках. «Язык и мышление», II, 1934, стр. 67.

ной черты языка хидатса, если даже признать, что оно здесь вообще существует»¹⁵. Рассмотрев действующий в хидатса принцип передачи субъектно-объектных отношений, по существу аналогичный соответствующему механизму дакота и других представителей семьи сиу, Г. Мэтьюз приходит к справедливому выводу, что «эргативность не составляет фундаментальной черты грамматики языка хидатса, будучи скорее автоматическим результатом фундаментального различия между двумя типами глагольных предложений — активным и стативным. . . Если бы мы анализировали предложения хидатса в терминах отношений эргативности, то возникла бы необходимость признать наличие здесь исключений по нескольким пунктам. . .»¹⁶

Помимо импликаций активного строя в представляющих его языках можно увидеть еще один комплекс довольно широко распространенных разноуровневых явлений. Эти явления, не находящие мотивации в глубинной структуре активного строя, квалифицируются в настоящей работе в качестве фреквенталий активности. К ним можно отнести такие факты, как глагольные дублиеты одушевленного и неодушевленного действия (встречающиеся и в части эргативных языков), частные системы согласования членов синтагмы (при формах 3-го лица), этимологическое тождество названий частей организма и растения (типа 'ухо' ~ 'лист', 'рог' ~ 'сук, ветвь', 'шкура, кожа' ~ 'кора' и т. д.) и нек. др. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что все эти явления обнаруживают подчиненность единому принципу противопоставления одушевленного и неодушевленного начал, что представляет особый интерес с точки зрения выяснения генезиса активного строя.

Необходимо специально остановиться на вопросе о реальном объеме понятия активного строя, поскольку под его общее определение подводимы несколько различающиеся по своим частным параметрам совокупности языков. Если в одной из них, приближающейся к эталону рассматриваемого типа, ориентация компонентов языковой структуры на противопоставление собственно

¹⁵ G. H. Matthews. Hidatsa Syntax. «Papers on Formal Linguistics». The Hague, 1965, № 3, стр. 142—143.

¹⁶ G. H. Matthews. Указ. соч., стр. 146.

активного и инактивного начала проводится весьма строгим образом (к ней, вероятно, относится меньшинство языков, идентифицированных в настоящее время в качестве активных), то другая (представленная большой сепировской семьей на-дене) интерпретирует оппозицию активного и инактивного в значительной степени как противопоставление одушевленного и неодушевленного.

В этих условиях возникает вопрос, не следовало ли бы типологически обособить обе названные совокупности языков. Во всяком случае, как будет показано в следующей главе, не приходится сомневаться в том, что сам набор структурных импликаций обеих соответствующих им систем не вполне совпадает. В частности, такие черты, как различие инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа, наличие класса аффективных глаголов и, соответственно, функционирование аффективной конструкции предложения, корреляция активного и инактивного падежей и некоторые другие логически соотносимы лишь с собственно активным состоянием и, напротив, отсутствуют в его «анимативизирующей» разновидности. Однако, вероятно, нетрудно заметить, что перечисленные здесь признаки в общем не настолько фундаментальны, чтобы давать основания говорить о сколько-нибудь различном типологическом принципе структурной организации обеих выделяемых систем. Достаточно сказать, что такие несомненно профилирующие для активного строя признаки-координаты языка, как лексическая дифференциация глаголов на активные и стативные (со всей совокупностью соответствующих этому разбиению коррелятов синтаксического и морфологического уровней), а также содержательно определяемое распределение субстантивов по классам активных и инактивных, являются общими для обеих разновидностей. Думается, что существующие в этом отношении их взаимные различия носят в принципе только количественный характер и не затрагивают качества передаваемых отношений. Так, например, в представителях «анимативизирующей» разновидности активного строя оба лексических противопоставления лишь в большей степени приближаются к оппозиции одушевленного и неодушевленного, но никогда с ней не совпадают (в противном случае их типологию пришлось бы уже определить как классную). Подобное несовпадение может быть легко проиллюстри-

ровано, в частности, на семантике многих стативных глаголов в атапаскских языках (в целом с несколько большими основаниями активные глаголы отождествимы здесь с одушевленными, хотя, по-видимому, и в этом случае трудно говорить о полной идентичности). Ср., например, такие стативные глагольные лексемы в языке навахо, как: -nèèz 'быть длинным, высоким', -téeéh 'быть приятным', -dò 'быть теплым, горячим', -d-í 'быть видимым' и т. п.¹⁷, сочетающиеся с именами как активного, так и инактивного классов.

С другой стороны, следует иметь в виду, что даже в активных языках эталонного типа встречаются отдельные семантически стативные глаголы, фактически трактующиеся в качестве активных, что обязано характерной для них семантике одушевленного состояния. Ср. словоформы o-ín 'он сидит' и o-ʔam 'он стоит' языка камаюра, обнаруживающие личные префиксы активного (а не инактивного, как то ожидалось бы) ряда¹⁸. Необходимо к тому же учитывать, что существует вместе с тем ряд активных языков, обнаруживающих в своей структуре точки соприкосновения с эргативными или номинативными и в силу последнего обстоятельства также лишенных некоторых менее существенных признаков активности (ср. факты отсутствия в ряде языков группы мускоги той же дифференциации инклюзивной и эксклюзивной лексем местоимение 1-го лица множественного числа). Естественно, однако, что и в этом случае нет достаточных оснований для их типологического обособления.

В настоящее время контенсивная типология располагает многочисленными структурными критериями, позволяющими довольно определенно охарактеризовать фазу активного состояния, переживаемую тем или иным языком. Должно быть очевидным, что полное соответствие разноуровневых параметров конкретного языка принятому эталону активности дает основания рассматривать его в качестве выдержанного представителя последней. Таковыми могут быть в целом признаны языки

¹⁷ E. Sapir and H. Hoyer. The Phonology and Morphology of the Navaho Language. «University of California Publications in Linguistics», v. 50. Berkeley and Los Angeles, 1967, стр. 94—95.

¹⁸ Ср.: Д. С. Феррейра. Язык камаюра (фонетика и фонология, краткие сведения о грамматике). Автореф. канд. дис. М., 1973, стр. 103 и 104.

тупи-гуарани (некоторое незначительное, впрочем, отклонение составляют так называемый *Guarani hispanizado*, т. е. испанизованная норма языка гуарани, общепринятая в Парагвае, а также так называемая *lingua geral* — широко распространенное на атлантическом побережье Бразилии койнэ, основанное на базе тупи). Исходя из обычного с точки зрения содержательной типологии соотношения разноуровневых структурных признаков-координат, наблюдающегося в ходе внутренней эволюции того или иного языкового типа, существует возможность дать адекватную квалификацию и различным представителям не вполне выдержанного активного строя (необходимо учитывать то обстоятельство, что целостность определенного структурного типа в языке достигается за счет того, что при всех своих возможных расхождениях с принципами организации лексического уровня синтаксис и морфология всегда так или иначе с ним координированы: это означает, что в каждом языке определим профилирующий тип ¹⁹).

При этом прежде всего имеется в виду общий принцип развития контенсивного языкового типа, согласно которому наиболее подвижным и прогрессивным оказывается лексический уровень языка, как известно, особенно тесно связанный с передаваемым содержанием, и, наоборот, наиболее консервативным — и в силу этого нередко отстающим формально — является морфологический уровень (естественно, что совершенно иным образом могут выглядеть закономерности внутреннего изменения языковых типов, выделяемых в рамках формально-типологических классификаций). Этот принцип согласуется с известным тезисом В. Скалички, согласно которому «значение морфологических единиц — это так называемая транспозиция частью лексических, частью синтаксических единиц, что означает повторение этих значений в единицах лексики и синтаксиса (например, именительный падеж повторяет часть значения подлежащего, винительный падеж повторяет часть значения дополнения, залогом повторяют значения модальных слов, времена

¹⁹ Ср.: М. М. Гухман. Лингвистические универсалии и типологические исследования. «Универсалии и типологические исследования». М., 1974, стр. 41—42.

повторяют значения слов, выражающих время, и т. д.)»²⁰, откуда автором делается вывод о том, что морфологические единицы вообще не являются для языка неизбежностью. Вследствие этого элементы нового типологического состояния ранее всего заявляют о себе в принципах структурной организации лексики и, наоборот, элементы предшествовавшего типологического состояния особенно устойчивыми оказываются в морфологической системе. В то же время синтаксис в силу естественной иерархии языковых уровней занимает, вероятно, некоторое промежуточное положение. Нетрудно заметить, что данный принцип согласуется с по существу уже достаточно распространенным в теоретическом языкознании тезисом о первичности лексического и вторичности грамматического.

В соответствии с этими соображениями языки с более или менее последовательной реализацией принципов активного строя на лексическом уровне (и координирующимся с ним в первую очередь синтаксическом) при морфологии, обнаруживающей многочисленные характеристики иного типологического состояния, должны быть отнесены к представителям раннего активного строя. Напротив, языки, обнаруживающие нарушения принципов активности уже на уровне лексики и синтаксиса (при этом не приходится ожидать их сколько-нибудь строгого проведения в морфологии), должны быть охарактеризованы как иллюстрирующие его позднюю фазу, обозначающую начало преобразования в иное типологическое состояние. Предвосхищая последующее изложение, можно заметить, что если архаические элементы языка активной типологии указывают на структуру классного строя (точнее, на его разновидность, основанную на противопоставлении одушевленного и неодушевленного начал), то встречающиеся в нем элементы инновационной

²⁰ В. Скаличка. Типология и тождественность языков. — «Исследования по структурной типологии». М., 1963, стр. 34; ср.: *On же. über die Transposition*. «Acta Universitatis Carolinae», Slavica Pragensia, I, стр. 45. — Ср. также положение В. В. Виноградова о том, что нет ничего в грамматике, чего не было бы прежде в лексике и семантике (В. В. Виноградов. А. А. Потебня. — В кн.: В. В. Виноградов. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975, стр. 318).

природы соответствуют структурам эргативного или номинативного.

Следует к тому же добавить, что если признать, что преобразование контенсивных языковых типов, образно говоря, отражает историю развития глагола (каждому из них свойственны специфические принципы лексикализации глагольных слов), то возникает возможность последовательно соотнести три взаимно разграниченные морфологические разновидности этих моделей предложения — глагольную, смешанную и именную — с различными историческими фазами функционирования активного строя в языке (ср. стр. 252—253 настоящей работы). Последнее обстоятельство в совокупности с названными критериями более общего порядка способно создать более прочную основу для периодизации функционирования активности в конкретном языке.

Применение названных критериев позволяет, в частности, точнее определить состояние языков большой семьи на-дене, в которых противопоставление активного и инактивного начал во многом близко к оппозиции одушевленного и неодушевленного, как в своей основе раннеактивное. Действительно, в них отсутствует ряд второстепенных по своей значимости импликаций активности даже на лексическом уровне (таких, как класс «аффертивных» глаголов, взаимное обособление инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа). В то же время в их морфологической системе довольно отчетливо выступают структурные признаки классной типологии (например, морфемные маркеры более дробной именной классификации внутри инактивного «класса» субстантивов, передкая материальная идентичность личных глагольных аффиксов активной и инактивной серий и др.). Напротив, языки сиу и, в большей мере, мускоги в свете этих критериев, выявляют черты сравнительно позднего активного состояния. Впрочем, недостаточная изученность всех этих языков сказывается на решении подобных вопросов очень чувствительно. Достаточно заметить, например, что если Г. Мэтьюз, как отмечалось несколько выше, усматривает в языке хатса по существу механизм активного строя, то, согласно утверждению К. Хэйла, его глагольная система здесь уже фактически преобразована в два различающихся практически лишь некоторыми формальными при-

знаками спряжения²¹, за которыми следует видеть номинативную типологию языка.

Другой и, вероятно, более сложный случай представляет адекватная квалификация в этом плане североамериканских языков семьи ирокуа-каддо. Например, передача субъектно-объектных отношений в языке вичита (группа каддо), как ее характеризует Д. Руд, дает основания думать, что типологически активная схема функционирования здесь личных аффиксов глагола начинает затемняться. Ср., например следующие словоформы:

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| taka'acs | (*ta-ki-pac-s) | 'я холоден' |
| takihiya:s | (*ta ki-hiya-s) | 'я голоден' |
| taki?i:ys | (*ta-ki-?i:y-s) | 'он меня видел' |
| tachish | (*ta-t-hisha) | 'я пошел' |

(где t- — аффикс 1-го лица активного ряда, а ki- — инактивного). Отражением эволюции структуры этого языка к номинативности может быть формулировка Д. Руда, согласно которой в отличие от языков, описывающихся всецело либо в терминах субъекта и объекта, либо в терминах агенса и пациенса, «не третьи лица в вичита обнаруживают на уровне поверхностной структуры различие субъектного и объектного падежей (в виду имеется функционально аналогичное последнему разграничение личных показателей глагола. — Г. К.), в то время как третье лицо образует систему, состоящую из агенса и пациенса»²².

Неудовлетворительная изученность целого ряда ныне уже практически вымерших представителей североамериканских языков галф (натчез, туника, читимача, атакапа) позволяет высказать лишь общие соображения о том, что в них были налицо некоторые существенные черты активности (ср., в частности, указания на дифференцированность здесь глагольных лексем на активные и стативные). В этом плане интересны, например, некоторые формулировки из принадлежащего Дж. Суонтону краткого грамматического очерка языка атакапа, распространенного в прошлом на одном из участков север-

²¹ K. L. Hale. [Рец. на кн.:] G. H. Matthews. Hidatsa Syntax. — IJAL, v. 33, 1967, № 3, стр. 336—338.

²² D. S. Rood. Agent and Object in Wichita. «Lingua», v. 28, 1971, № 1—2, стр. 104—105.

ного побережья Мексиканского залива. В нем, между прочим, упоминаются *active verbs*, с одной стороны, и так называемые *passive verbs*, с другой, указывается, что большинство прилагательных трактуются как «пассивные глаголы» (хотя налицо и некоторые признаки начала их взаимной дифференциации), отмечаются два ряда личных глагольных показателей — префиксальный «объектный» и суффиксальный «субъектный» — со значительной нерегулярностью употребления, подчеркивается в связи с «субъектным» показателем 3-го лица множественного числа при обозначении непереходного действия, что последний «встречается в некоторых глаголах, которые транзитивны в английском языке, но в атакапа, вероятно, трактуются как интранзитивные» и т. п.²³

В американистической литературе отмечается, что разбиение глаголов на активные и стативные представлено и в североамериканском языке ючи (засвидетельствованы в нем и некоторые другие черты активного строя, например, противопоставление форм органической и неорганической принадлежности в посессивной флексии имен существительных)²⁴. Однако отсутствие достаточно исчерпывающего представления о всех структурных характеристиках этого языка не позволяет уверенно говорить о его активной типологии.

Типология эскимосско-алеутских языков не может квалифицироваться в качестве активной. Несмотря на то, что в них представлены довольно широкие классы так называемых «переходно-непереходных» и «страдательных» глаголов, образующие интересную аналогию активным и стативным, и некоторые другие черты активности (особенно заметные в алеутском), в целом их структурный механизм и, в частности, закреплённая словообразовательными средствами оппозиция транзитивных и интран-

²³ Ср.: *J. R. Swanton. A Sketch of the Atakapa Language.* — *IJAL*, v. 5, 1929, № 2—4, стр. 121—149; *M. R. Haas. Tunica. «Handbook of American Indian Languages»*, 4. Washington, 1941, стр. 1—143; Она же. *Grammatical Sketch of Tunika. «Linguistics Structures of Native America»*. 1946, стр. 337—366; *M. Swadesh. Chitimacha.* — Там же, стр. 312—336.

²⁴ *I. Sherzer. Areal Linguistics in North America. «Current Trends in Linguistics. 10. Linguistics in North America»*. The Hague — Paris, 1973, стр. 776—777. — Нам осталась недоступной работа: *G. Wagner. Yuchi. «Handbook of American Indian Languages»*, v. III, 1934.

зitivных глагольных лексем, отвечает принципам эргативного строя ²⁵.

Структурное состояние хурритско-урартских языков также не может быть определено как активное, поскольку в нем профилируют черты эргативной типологии. Вместе с тем некоторые точки его соприкосновения с активным строем представляются довольно очевидными. Так, в хурритском при определяющем различии транзитивного и интранзитивного спряжений, выражающимся в несовпадении морфологической структуры глагольных словоформ и оппозиции двух падежей подлежащего -š и Ө-, класс *verba movendi* (за отдельными исключениями), а также, по-видимому, и некоторые другие интранзитивные глаголы, спрягаются по типу транзитивных. К чертам активного строя здесь должна быть отнесена и группа диффузных с точки зрения признака переходности ~ непереходности глаголов, способных оформляться по нормам обоих спряжений. Однако такие распространенные в исследованиях по хурритско-урартским языкам термины, как, например, *Tatverbum* или *Agentive case*, могут привнести в их дескриптивную грамматику недоразумения, поскольку они скорее отвечают модели описания представителей активной типологии ²⁶.

Наконец, наибольшее распространение имеет в языках мира активная конструкция предложения, функционирующая уже на правах лишь остаточного явления в целом ряде представителей по существу эргативной и номинативной типологии.

Как известно, факты ее пережиточного употребления особенно часто фиксировались в таких эргативных языках, как чинук-цимшиан, чукотско-камчатские, папуасские, нахско-дагестанские, абхазско-адыгские. Ср., например, в лучшем случае лишь эргативообразные построения как *Godina-n oğes* 'когда Година поднялся',

²⁵ Ср., например: Г. А. Меновицков. Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. I. М.—Л., 1962; ч. II. М.—Л., 1967.

²⁶ Ср.: E. A. Speiser. Introduction to Hurrian. New Haven, 1941, стр. 108, 126, 160 и др. A. Goetze. The Hurrian Verbal System. «Language», v. 16, 1940, N 2; И. И. Мещанинов. Грамматический строй урартского языка, ч. II. Структура глагола. М.—Л., 1962; Г. М. Diakonoff. Hurrisch und Urartäisch. München, 1971, стр. 113 и след.; Н. Г. Нозадзе. Транзитивные и интранзитивные глаголы в хурритском. «Мацне», Тбилиси, 1973, № 1.

temur-en aroujesen 'ветер веет' и т. п. папуасского языка бонгу, падеж подлежащего которых А. Ханке недостаточно корректно определял в качестве «nominativus activus»²⁷. Установлено, что подобные конструкции задаются здесь более или менее ограниченным и непродуктивным кругом интранзитивных глаголов, передающих активное действие.

Несколько более отдаленную аналогию активной модели предложения представляет собой засвидетельствованное в одном из нахско-дагестанских языков — бацбийском — построение с подлежащим в форме эргатива при интранзитивном глаголе-сказуемом (типа *ас коттлас* 'я беспокоюсь', *атхо наздрах кхитра* 'мы оземь ударились', *аишуиш цо буицIар* 'вы сами не наелись' и т. п.), подчеркивающее активность совершения действия в отличие от построения с подлежащим в форме абсолютного падежа и таким же глаголом-сказуемым (типа *со коттол* 'я беспокоюсь', *тхо каздрах кхитра* 'мы оземь ударились', *шу цо буицIар* 'вы не наелись' и т. п.), передающего произвольный характер действия или состояния²⁸.

Естественно, что ни в одном из эргативных языков подобные конструкции не занимают настолько заметного места, чтобы в нем можно было усмотреть функционирование активной типологии предложения в целом. Типологически отличные профилирующие компоненты обнаруживает и общая структура этих языков.

Из совокупности номинативных или преимущественно номинативных языков, знающих факты пережиточного функционирования элементов активности или уже — активной конструкции предложения, могут быть названы картвельские, енисейские и некоторые индоиранские языки.

В первых из них встречаемся с интересным приближением к активной типологии предложения в целом. При этом имеются в виду построения с глаголом-сказуемым в формах аористной и результативной серий времен в грузинском и сванском языках и в формах всех временных серий в лазском (в мегрельском принципы номинативности

²⁷ А. Hanke. Grammatik und Vokabularium der Bongu—Sprache. «Archiv für das Studium deutschen Kolonialsprachen», Bd VIII. Berlin, 1909, стр. 25.

²⁸ Ср.: Ю. Д. Дешериев. Некоторые особенности эргативного строя предложения в бацбийском языке (эргативный строй непереходного глагола). «Язык и мышление». XI, 1948, стр. 156—158.

реализуются наиболее последовательным образом). В частности, материал этих языков дает определенное представление о функционировании именного морфологического типа соответствующих моделей предложения, почти не встречающегося в современных представителях активного строя. Так, например, если сопоставить такие фразы, как груз.: а) *bawšw-ma gamoiγwiza* 'ребенок проснулся', б) *deda-m gamoiγwiza bawšw-i* 'мать разбудила ребенка' и в) *bawšw-i ičwa* 'ребенок лежал', то легко заметить, что глагольная лексема активного действия 'просыпаться, будить' независимо от транзитивного или интранзитивного содержания обуславливает построение предложения с подлежащим в форме так называемого повествовательного падежа (груз. *motxrobiti*), функционально отождествляющегося скорее с активным, чем с эргативным, как это нередко представляется, а глагольная лексема состояния *soła* 'лежать', напротив, задает построение с подлежащим в форме номинатива, сближающегося в рассматриваемой подсистеме с инактивным падежом (ср. оформление этим же падежом дополнения *bawšw-i* во втором предложении). В построениях с глаголом-сказуемым в формах презенсной серии весьма отчетливо в картвельских языках представлены и пережитки аффективной конструкции предложения, обуславливаемые и здесь не только группами *verba affectuum* и *verba sentiendi*, но и некоторыми другими глаголами непроизвольного действия (в частности, 'походить (на кого-либо)', 'подобать, подходить', 'бодрствовать', 'доставаться (по воле жребия)' и др.).

В целом несколько более отдаленное, хотя и функционирующее при всех временных формах глагола приближение к активной конструкции глагольного морфологического типа наблюдается в енисейских языках. Так, хотя в кетском налицо смешение обоих рядов личных показателей глагола — активного (так называемая «группа Б») и инактивного (так называемая «группа Д») — у некоторых семантически активных глаголов, передающих движения или действия, представлены личные аффиксы именно «группы Б». Ср. формы сымского диалекта:

| | | | |
|--------------|------------|-----------------|-------------------|
| <i>baǰǰe</i> | 'я иду' | <i>baǰǰbǰer</i> | 'я ношу (одежду)' |
| <i>kuǰǰe</i> | 'ты идешь' | <i>kuǰǰbǰer</i> | 'ты носишь' |
| <i>ǰǰǰe</i> | 'он идет' | <i>aǰǰbǰer</i> | 'он носит' |

| | | | |
|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| <i>yāde</i> | ‘она идет’ | <i>ixyǝbder</i> | ‘она посит’ |
| <i>daṇāde</i> | ‘мы идем’ | <i>daṇṇxyǝbder</i> | ‘мы носим’ |
| <i>kaṇāde</i> | ‘вы идете’ | <i>kaṇṇxyǝbder</i> | ‘вы носите’ |
| <i>əṇāde</i> | ‘они идут’ | <i>aṇxyǝbder</i> | ‘они носят’ ²⁹ . |

В целом ряде иранских, дардских и индийских языков смешанной номинативно-эргативной типологии можно встретить построения, напоминающие по своей структуре не эргативную, а именно активную конструкцию предложения. Как известно, они организуются здесь весьма определенным кругом глаголов, обозначающих типичные активные действия одушевленных референтов (их семантика — ‘смеяться’, ‘плакать’, ‘кашлять’, ‘чихать’, ‘тошнить’, ‘бежать’, ‘прыгать’, ‘плясать’, ‘играть’, ‘купаться’, ‘кричать’, ‘лаять’, ‘выть’, ‘блеять’, ‘мочиться’, ‘испражняться’ и др.). Ср. белуджск. *bādsāh-ā kandita* ‘Царь засмеялся’ (аналогичное построение обуславливают здесь, в частности, глаголы *rādeay* ‘бежать’, *čišay* ‘чихать’, *b’aunkay* ‘лаять’ и нек. др.)³⁰, язгулямск. *im wūyǝd yō dīm?* ‘Она плакала или она?’, *mūn-aṇəna-xant?* ‘Я не смеялась, правда?’ (подлежащее выступает в форме косвенного падежа)³¹. Однако такие конструкции ввиду общей малочисленности задающих их глагольных лексем составляют здесь своего рода исключения и не позволяют говорить о каком-либо приближении к активной типологии предложения даже в рамках подсистемы с глагольными словоформами претерита, где они только и встречаются (общий контекст функционирования этой конструкции приводит к заключению, что она обусловлена в конечном счете стимулами контактной природы³²).

²⁹ Г. К. Вернер. Реликтовые признаки активного строя в кетском языке. — ВЯ, 1974, № 1, стр. 38.

³⁰ В. А. Фролова. Белуджский язык. М., 1960, стр. 48.

³¹ Д. И. Эдельман. Язгулямский язык. М., 1966, стр. 40, 155.

³² Ср.: Д. И. Эдельман. Структурные «аномалии» восточноиранских языков и типология субстрата «Studien zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft». Karl Ammer zum Gedenken. Jena, 1976, стр. 81—82.

АКТИВНЫЙ СТРОЙ В СИНХРОНИИ

Активный строй, подобно эргативному и номинативному, образует целостную и последовательно проведенную совокупность разноуровневых признаков-координат языка, придающую его представителям неповторимый типологический облик. Обращает на себя внимание и прозрачность основного принципа активного строя — той глубинной структуры, которая и составляет семантическую детерминанту его строевых элементов. Поскольку именно последняя обуславливает своеобразие поверхностной структуры активных языков, нетрудно убедиться в том, насколько удачной оказывается ее квалификация в некоторых современных работах в качестве «типологической глубинной структуры»¹.

Конкретные содержательные особенности комплекса признаков-координат активного строя позволяют прийти к выводу, что его семантической детерминантой является не столько противопоставление субъектного и объектного начал, как это в какой-то мере имеет место в представителях эргативного, и в еще большей мере — номинативного, сколько противопоставление активного и инактивного.

Конечно, в свете знаний современной науки о структурном разнообразии языков едва ли приходится сомневаться в том, что оппозиция активность (одушевленность) ~ инактивность (неодушевленность) относится к широко распространенному — если не универсальному — набору семантических категорий, так или иначе заявляющих

¹ Ср.: *H. Birnbaum. Problems of Typological and Genetic Linguistics viewed in a generative Framework. The Hague, 1970, стр. 26.*

о себе в представителях разных языковых типов². К тому же предполагается, что в истории ряда языков она обнаруживает тенденцию к регенерации. Однако лишь в языках активной типологии это противопоставление пронизывает всю их структурную модель, составляя ведущий принцип всей ее внутренней организации, в то время как в иных языках оно реализуется лишь на ее периферии.

Прежде чем непосредственно перейти к характеристике разноуровневых импликаций языков активного строя, целесообразно сделать два предварительных замечания общего характера.

Во-первых, в соответствии со сказанным в предшествующей главе, необходимо взаимно отграничить три подтипа активных языков по специфике реализации в них противопоставления активного и инактивного начал. Один из них реализует эту оппозицию в приближении к противопоставлению одушевленного и неодушевленного начал. Другой (эталонный) отражает противопоставление активного и инактивного начал в собственном смысле слова. Наконец, в третьем дихотомия активного и инактивного обнаруживает случаи нарушения за счет развития оппозиции субъектного и объектного. В связи с таким расхождением обращают на себя внимание некоторые специфические признаки каждого из этих подтипов. Ср., например, несомненное различие в них состава обоих классов субстантивов: если распределение последних по одушевленности ~ неодушевленности проведено в первом более последовательно, то во втором и особенно в третьем оно выдержано менее строго. Можно отметить в этом аспекте и корреляцию активного и инактивного падежей в парадигме склонения и различие инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа в проминальной системе, предполагаемые по преимуществу их третьим подтипом. Можно, очевидно, назвать и конкретные языки, структура которых иллюстрирует в своей основе тот или иной подтип: к первому относятся языки на-дене, ко

² Ср. например: *О. Есперсен. Философия грамматики*. М., 1958, стр. 273—281; *Л. Ельмслев. О категориях личности ~ неличности и одушевленности ~ неодушевленности. «Принципы типологического анализа языков различного строя»*. М., 1972; *Вяч. Вс. Иванов. Единство предмета науки о языке*. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1973, № 3, стр. 245.

второму — тули-гуарани, к третьему — с вероятными отдельными исключениями остальные из ныне известных представителей активного строя. Однако сказать насколько строго они разграничены в отдельных языках представляется невозможным. Более того, тесная внутренняя связь этих подтипов без труда может быть продемонстрирована и в теоретическом плане. В частности, в дальнейшем изложении будет показано, что оба класса имен существительных и глаголов, функционирующих в представителях всех подтипов, в основном совпадают (см. стр. 83—90 настоящей работы). Их различия отражают, судя по всему, внутреннюю историю структуры активного строя.

Во-вторых, следует учитывать, что как и в рамках других языковых типов в активном строе взаимно обуславливаются две категории языковых явлений — его импликации, с одной стороны, и фреквенталии, с другой. Если функционирование первых с необходимостью вытекает из самой сущности активной типологии, то последние, не являясь в его системе необходимыми, тем не менее очень часто оказываются сопутствующими ей структурными чертами.

ЛЕКСИКА

Рассматриваемые в этом разделе лексические характеристики активного строя играют в структуре реализующих его языков во многом определяющую роль. Этому едва ли приходится удивляться, если учесть, что именно они более или менее непосредственно отражают семантическую детерминанту языка и что именно через их посредство осуществляется воздействие этой детерминанты на остальные уровни языковой структуры — особенно на синтаксис и морфологию. Вообще можно утверждать, что те иерархические зависимости, которые существуют между различными уровнями языка независимо от его типологии, выступают здесь чрезвычайно ярко. Они не только свидетельствуют о необоснованности популярного в прошлом в некоторых направлениях языкознания тезиса Р. Карнапа о нерелевантности значения слов для синтаксиса, но и, напротив, со всей очевидностью поддерживают положение о первичности лексического

и вторичности грамматического ³, без принятия которого невозможно сколько-нибудь адекватным образом раскрыть каузальный аспект рассматриваемой в настоящей работе проблемы.

Принципы системной организации лексики в активных языках показательны и в ряде других отношений. В частности, они подкрепляют точку зрения, согласно которой и в лексике, подобно грамматике, есть жестко коррелирующие категории, которые образуют в своей совокупности определенную систему ⁴ (ср. аналогичные свидетельства представителей эргативного строя). С другой стороны, они говорят о том, что степень функциональной нагрузки лексической системы в языках различной типологии неодинакова: в языках активного строя она в целом значительно выше, чем в эргативных и номинативных языках, и ниже — чем в представителях нейтрального и классного типов.

Еще около десяти лет назад А. Мартине писал: «Немногие лингвисты будут настаивать на установлении типологии в лексике, и это не только потому, что они отдают себе отчет в тесной зависимости словаря того или иного языка от лингвистической реальности, но — и это может означать то же самое — потому, что лексика — это как раз тот остаток, который получается после вычленения из рассмотрения явно структурированных уровней языка, а именно — область непрочно связанных между собой единиц, целостная характеристика которых представляется весьма затруднительной» ⁵. С тех пор понимание языка как некоторой системы подсистем достигло бесспорных успехов. В распоряжении языкознания оказывается все больше теоретических ар-

³ Ср., например: *Ф. П. Филин. Методология лингвистических исследований* А. А. Потебни. «Язык и мышление», III—IV, 1935, стр. 146; *А. И. Смирницкий. Лексическое и грамматическое в слове. «Вопросы грамматического строя»*. М., 1955, стр. 15; *Р. А. Будагов. К теории синтаксических отношений*. — ВЯ, 1973, № 1, стр. 4.

⁴ Ср., например: *Р. А. Будагов. Система языка в связи с разграничением его истории и современного состояния*. — ВЯ, 1958, № 4, стр. 49.

⁵ *A. Martinet. Linguistic Typology*. — «A Functional view of language». Oxford, 1962, стр. 87; ср. также: *V. Skalička. Wortschatz und Typologie. «Asian and African Studies»*. I. Bratislava, 1965, стр. 152—157.

гументов в пользу тезиса о системном построении лексики, обуславливающим специфику функционирующих в ней принципов номинации, а также в пользу мнения, что именно существующие в языке принципы организации лексики определяют типологический облик его остальных уровней. Не последнюю роль сыграло в этом все более широкое вовлечение в орбиту серьезного лингвистического исследования материала разнотипных языков.

Приступая к характеристике принципов структурной организации лексики в активных языках, прежде всего необходимо отметить два следующих обстоятельства общего порядка: во-первых, имя существительное и глагол в них лексикализированы как особые лексико-грамматические классы слов (что, естественно, не является их специфической чертой), во-вторых, имя прилагательное трудно в них признать вполне сформированным. Если к тому же учесть неразвитость здесь некоторых более узких разрядов слов (например, притяжательных и возвратных местоимений), а также структурную специфику имеющихся, то станет очевидным, что типология активного строя составляет яркое свидетельство в пользу точки зрения, согласно которой части речи различных языков качественно и количественно не могут быть отображены скольконибудь тождественной схемой⁶.

Взаимная дифференцированность здесь имени и глагола означает, что они достаточно отчетливо различаются не только семантически, но и в формальном отношении — как по своему синтаксическому функционированию, так и по морфологической структуре. Так, например, если основная синтаксическая позиция именной лексемы в предложении это позиция подлежащего или дополнения, то основная синтаксическая позиция глагольной лексемы — позиция сказуемого. Резко различна здесь и морфологическая структура именных и глагольных словоформ. Лексемное различие имени существительного и глагола дает о себе знать в представителях активного строя и в аспекте словообразования. В частности, глагольные лексемы могут быть здесь снабжены специальными аффиксами, трансформирующими их в именные. Им противопостав-

⁶ Ср.: *И. И. Мещанинов*. Члены предложения и части речи. М.—Л., 1945, стр. 12; *В. В. Виноградов*. Русский язык. М., 1947, стр. 39.

лены по своей функции глаголообразующие аффиксы. (В американистической литературе первые квалифицируются как номиналайзеры — *nominalizers*, вторые — как вербалайзеры — *verbalizers*). Так, например, в языке тупи и ряде ему родственных суффикс -а преобразует глагол в имя: ср. *ub* 'быть отцом' ~ *ub-a* 'отец' при *хе-г-ub* 'у меня есть отец', с одной стороны, и *kupumí* *г-ub-a* 'отец мальчика' (букв. 'мальчик его-отец'), с другой ⁷.

В то же время незавершенность процесса формирования прилагательного хорошо иллюстрируется тем обстоятельством, что, выделяясь семантически и отчасти синтаксически, последние еще не обладают своей морфологией и по существу не имеют своих словообразовательных характеристик (см. специальное обсуждение их статуса на стр. 103—107 настоящей работы).

Одной из важнейших лексических импликаций активного строя следует считать бинарное распределение всех имен существительных на класс активных, с одной стороны, и класс пассивных, с другой, отражающее по своему составу различие реальных денотатов по признаку наличия или отсутствия у них жизненной активности, жизненного цикла ⁸. В соответствии с этим к активному классу имен в языке хайда относятся обозначения людей, животных, деревьев и растений: ср., например, *djáda* 'женщина', *'auga* 'мать', *gaхá* 'ребенок', *ха* 'собака', *kat* 'олень', *tsu* 'красный кедр', и др. Напротив, к пассивному относятся названия всей остальной совокупности предметов и явлений: ср. *gwai* 'остров', *gauu* 'море', *góуa* 'скала', *tágun* 'шкура', *na* 'дом', *kun* 'нос' и т. п. в том же языке. Необходимо поэтому признать, что преобладающее в специальной литературе терминологическое разграничение обоих классов как «одушевленного» (*animate*, *belebe* и др.) и «неодушевленного» (*inanimate*, *unbelebe* и др.) вполне адекватно отражает логические основания данной классификации, нередко квалифицировавшейся в языкознании прошлого в качестве вита-

⁷ Ср.: *A. dall'Igna Rodrigues. Morfologia do verbo tupi. — «Letras», 1953, № 1. Curitiba, стр. 124.*

⁸ О принадлежности классного разбиения субстантивов к профилирующим принципам лексической организации языка см., например.: *И. И. Мещанинов. Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967, стр. 4.*

листической (classification vitaliste, Vitalitätskategorie) ⁹. Следует иметь в виду, однако, что иногда внутри имен активного или пассивного классов встречаются более дробные подразделения, намного менее значимые в структурном плане и основанные на конкретизации предметов по их форме (такая картина налицо, в частности, в языках на-дене) или одушевленных референтов по их принадлежности к людям или животным (ср. положение в некоторых представителях семьи тули-гуарани).

Из приведенных выше примеров должно быть очевидным, что констатируемое лексическое противопоставление в структуре самих имен здесь не получает специального формального выражения, что придает соответствующим группировкам статус скрытых классов. Вместе с тем оно достаточно рельефным образом отражается на особенностях как синтаксической, так и морфологической структуры активных языков (ср., в частности, синтаксическую сочетаемость активного глагола-сказуемого с подлежащим исключительно активного класса, различие притяжательных форм органической и неорганической принадлежности лишь именами активного класса и т. п.).

Другой важнейшей лексической импликацией активного строя является функционирующий в нем принцип лексикализации глагольных слов не по признаку переходности ~ непереходности передаваемого действия, как это имеет место в эргативных и особенно номинативных языках, а по критерию его активности ~ пассивности, в том понимании этого противопоставления, которое нередко приближается к оппозиции одушевленного и неодушевленного действия. В соответствии с этим вместо оппозиции транзитивных и интранзитивных глаголов здесь проводится противопоставление активных и пассивных.

⁹ *R. de la Grasserie*. *Revue Philosophique de la France et de l'étranger*, XLV. Paris, 1898, стр. 614; *Он же*. *De la catégorie du genre*. Paris, 1906, стр. 33—38, 114—120; ср.: *P. W. Schmidt*. *Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde*. Heidelberg, 1926, стр. 224; *G. Royen*. *Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprachen der Erde*. «Linguistische Bibliothek Anthropos», Bd IV. Mödling, 1929, стр. 125, 132 и др.; *М. Я. Немецкий*. Род и класс. К вопросу о генезисе номинальных классификаций. «Изв. Ингушского научно-исследовательского ин-та краеведения», т. IV. Орджоникидзе — Грозный, 1935, стр. 207.

Активные глаголы или так называемые «глаголы действия» передают различные действия, движения, события, производимые денотатами активного класса. К ним относятся глагольные лексемы такой характерной семантики, как 'рождать, -ся', 'расти, -ть', 'умирать', 'идти', 'бежать', 'прыгать', 'падать', 'лежать', 'есть', 'пить (воду)', 'говорить', 'плакать', 'резать', 'ловить', 'ломать', 'держать', 'давать', 'печь', 'греметь (о громе)', 'сверкать (о молнии)', 'идти (о дожде)' и мн. др. Так, например, в языке камаюра (семьи тупи-гуарани) активными являются глаголы: *maraká* 'петь', *ha* 'идти', *mañ* 'умирать', *jan* 'бежать', *juká* 'убивать', *purá* 'бить, ударять', *kutúk* 'протыкать', *atá* 'ходить', *wewúj*, 'плавать (по течению)', *wewé* 'летать', *apé* 'жесть', *k'waháp* 'знать, уметь', *me'ép* 'давать', *momót* 'бросать', *rejú* 'дуть (о ветре)', *potát* 'хотеть', *ra'hék* 'держать', *u* 'есть', *ú* 'пить (воду)', *u'ú* 'кусаться', *patét* 'сосать (грудь)' и др.¹⁰ Поскольку переходность ~ непереходность действия не составляют в рамках системы активного строя структурно релевантного признака, не приходится удивляться тому обстоятельству, что сплошь и рядом в его представителях функционируют единые глагольные лексемы с «диффузной», с точки зрения систем эргативного и номинативного строя, семантикой типа 'умирать ~ убивать', 'гореть ~ жесть', 'сохнуть ~ сушить', 'ложиться ~ класть', 'просыпаться ~ будить', 'падать ~ валить', 'идти ~ нести', 'бежать ~ гнать', 'вставать ~ ставить', 'ползти ~ волочить' и т. п.

По семантике активных глаголов видно, что они представляют собой одноместные, двухместные и трехместные предикаты.

Напротив, противопоставленные им стативные глаголы или так называемые глаголы состояния, в части американских дескриптивных работ, квалифицируемые в качестве «средних» или «нейтральных» (*middle, neuter verbs*), обозначают состояние, свойство или качество, преимущественно соотносящееся с денотатами субстантивов инактивного класса (два последних термина указывают на факты употребления этих глаголов и при под-

¹⁰ Ср.: Л. С. Феррейра. Язык камаюра (фонетика и фонология, краткие сведения о грамматике). Автореф. канд. дис. Уп-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. М., 1973.

лежащем, которое передается именами активного класса). Касаясь языка туника (один из представителей семьи галф, штат Луизиана в США), Э. Бенвенист указывает, например, что если рассматривать эти глаголы «в их семантической дистрибуции, все их можно свести к понятиям состояния: состояния эмоционального («стыдиться, сердиться, быть возбужденным, счастливым» и т. п.); состояния физического («быть голодным, замерзшим, пьяным, усталым, старым» и т. п.); состояния умственного («знать, забывать») и также, если можно так сказать, состояния обладания: «иметь» в целом ряде выражений»¹¹. Необходимо учитывать, однако, что в их составе особенно велик удельный вес глаголов физического состояния, соотносимых с референтами инактивного класса. Сюда, как правило, относятся лексемы такой семантики, как 'висеть', 'валяться', 'валиться', 'торчать', 'катиться', 'веять (о ветре)', 'быть высоким, длинным', 'быть тяжелым', 'быть чистым', 'быть большим, крупным', 'быть острым', 'быть черным', 'быть зеленым', 'быть сырым' и вообще — практически все глаголы качества, семантика которых передается на языках номинативного строя словосочетаниями из предиката 'быть' с именами прилагательными. Ср., в частности, стативные глаголы -nèèz 'быть высоким, длинным', -yéé 'быть опасным (о месте, ситуации)', -tá 'руководить, быть вождем', -tééh 'быть приятным', -kòòh 'быть гладким, ровным', -gàì 'быть белым', -bààl 'висеть в ряд (о тканях, материи)', -t-sá 'идти (о дожде)', -yòl 'веять (о ветре)', -zá 'лежать, находиться (о круглых предметах)', -zi 'видеть', -còòz 'быть острым', -tèèl 'быть широким, пузатым', -yééé 'зудить', -gíš 'лениться, быть ленивым', -dòn 'протягиваться (между двумя точками)', -dò 'быть теплым, жарким' в языке навахо¹².

Такое бинарное распределение глагольных лексем получает и свое деривационное выражение. В активных языках существует специальная словообразовательная аффиксация, иногда квалифицируемая в описательных работах в качестве «каузатива» или «фактитива», которая

¹¹ Э. Бенвенист. Глаголы «быть» и «иметь» в их функции в языке. — В кн.: Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 1974, стр. 214.

¹² Ср.: Ed. Sapir and H. Hoijer. The Phonology and Morphology of the Navaho Language. «University of California Publications in Linguistics», v. 50. Berkeley and Los Angeles, 1967, стр. 94—95.

служит для производства активных глаголов от стативных (и некоторых имен). Ср. éga 'называться' ~ mo-hega 'называть', potí 'быть чистым' ~ mo-potí 'чистить', roǵá 'быть красивым' ~ mo-roǵá 'украшать' и другие в языке гуарани (для образования здесь каузатива ср. форму mo-potí-uká 'заставлять чистить')¹³. Аналогичная закономерность засвидетельствована и в ирокезских языках: ср., например, противопоставляемые У. Чейфом словоформы стативного глагола ʔótki? 'то — грязное' и активного ʔótki?-ih 'то стало грязным, загрязнилось' в языке онондага¹⁴.

В целом состав активных и стативных глаголов по разным представителям активного строя довольно идентичен. Так, например, в языке гуарани, как и в большинстве других, к числу активных относятся следующие глагольные лексемы: purá 'бить', yuká 'убивать', ruká 'смеяться', ʔú 'есть', ʔú 'пить (воду)', meǵé 'давать', manó 'умирать', nemboǵá 'стоять', ñenó 'лежать', ñopóǵé 'связывать', ʔá 'падать', waré 'сидеть', purahéu 'петь', mogweuǵá 'класть', weǵahá 'нести', mondó 'отправлять, посылать', ñaromí 'погружаться', hahogá 'тонуть', kwaá 'знать', ñeré 'говорить', sarukáu 'кричать', ké 'спать', ñaní 'бежать', ʔtá 'плыть', wewéu 'плыть (по волнам)', tahá 'брать', sunú 'греметь (о громе)', weǵá 'сверкать (о молнии)', kí 'идти (о дожде)' и др.

Напротив, к числу стативных здесь принадлежат: agəǵá 'дрожать, трястись', asé 'болеть', éga 'называться', aɲwínó 'дурно пахнуть', karé 'хромать', kɪpuzú 'сжиматься, сокращаться', iǵái 'потеть', opewé 'дремать', rú 'звучать', saramí 'рассыпаться, рассеиваться', wotəuǵá 'цвести', hāsé 'плакать', manduǵá 'помнить', tesaráu 'забывать', uhéu 'жаждать', ware'á 'быть голодным', aɲuǵá 'быть круглым', gwasú 'быть большим', mareté 'быть сильным', rukú 'быть высоким, длинным', tuuá 'быть старым' и т. п.

Основные расхождения между рассматриваемыми языками по составу активных и стативных глаголов образу-

¹³ Ср.: E. Gregores, J. A. Suárez. A Description of Colloquial Guaraní. The Hague — Paris, 1967, стр. 126; также: Л. С. Феррейра. Указ. соч., стр. 86.

¹⁴ W. L. Chafe. A Semantically Based Sketch of Onondaga. «Supplement to IJAL», v. 36, 1970, № 2, pt II, стр. 10—11; см., также: F. G. Lounsbury. Oneida Verb Morphology. «Yale University Publications in Anthropology», 1953, № 48, стр. 78.

ются за счет выделения в них варьирующего по своему объему класса глаголов непроизвольного действия и состояния. Имеют место и подобные различия, связанные, вероятно, с разными этапами активности, переживаемыми конкретными языками. Так, глаголы 'лежать' и 'падать' — активные в гуарани, но стативные в дакота. В отличие от гуарани, где лексемы 'убивать' и 'умирать' относятся к активным, в дакота первая из них относится к активным, а вторая — к стативным. Заметна определенная закономерность, согласно которой несколько большее число семантически стативных глаголов структурно оказывается среди активных в представителях раннего активного строя.

Однако в целом принцип противопоставления активных и стативных, а не транзитивных и интранзитивных глаголов выдерживается достаточно отчетливо даже в языках, реализующих активную типологию не вполне последовательно. Ср. в этом отношении следующее высказывание Э. Сепира по поводу положения в ирокезских языках: «... различие активных (active) и стативных (neuter) глаголов проводится постоянно независимо от того, инкорпорируют они имена или нет. Термины «транзитивный» и «интранзитивный» имеют минимальное значение в ирокезском; если бы мы предпочли называть «транзитивными» те из них, которые сочетают субъектные и объектные местоименные префиксы, то все остальные глагольные формы, даже такие, которые инкорпорируют именной объект, оказались бы тогда «интранзитивными»¹⁵.

Если соотносительность активных глаголов с подлежащим активного класса бесспорна, то более или менее ощутима по рассматриваемым языкам и преимущественная соотносительность стативных глаголов с подлежащим инактивного. Представляется весьма показательным в этом отношении, что анализируя фразу *ʔak-yaʔta-nóweh* 'мое тело мокрое' на языке ошондага (иллюстрирующем позднее-активное состояние), У. Чейф отмечает следующее: «Корень 'мокрый' может иметь место только в составе глагола, который содержит избирательную (selectional) единицу 'неодушевленный пациент': иначе говоря, качество мокроты может быть приписано в ошондага лишь неодушевленному

¹⁵ E. Sapir. The Problem of Noun Incorporation in American Languages. «American Anthropologist», v. 13, 1911, № 2, стр. 279.

именному корню. 'Тело' является именно подобным именным корнем и, таким образом, семантическая структура данной фразы оказывается допустимой. Однако в онондага невозможно построение семантической структуры, прямой перевод которой на английский был бы 'I am wet', 'Harry is dirty' или аналогичным, поскольку такие предложения имели бы одушевленный пациенс, ассоциируемый с глагольными корнями, которые допускают исключительно неодушевленных пациенсов. В то время как в английском личность может быть охарактеризована как мокрая или грязная, в онондага подобные качества могут быть приписаны только телу человека»¹⁶. Небезынтересно заметить, что именно в этом плане обнаруживает свое глубинное обоснование словообразовательная структура таких известных калькирующих композитов, как 'бледнолицый', 'краснокожий' и т. п. Последовательная реализация дихотомии активного и стативного глаголов в рассматриваемых языках означает обычную невозможность метафоризации, каким-либо образом нарушающей описанное противопоставление. Из существующей литературы известны скорее случаи языковой метафоры с использованием так называемых классифицирующих глаголов, когда нейтрализуется их оппозиция по признаку одушевленность ~ неодушевленность¹⁷.

В аспекте общих принципов организации активного строя бросается в глаза, что охарактеризованный способ лексикализации глагольных слов по существу не отражает ни точки зрения субъекта действия, ни точки зрения его объекта. Иначе говоря, глагольная лексема не обнаруживает здесь субъектно-объектной интенции, а является названием действия или состояния, соотносящегося с активными (обычно — одушевленными) или инактивными (чаще всего — неодушевленными) актантами. В этом отношении вполне очевидно характерное отличие от принципов лексикализации глагольных слов, действующих в представителях эргативного и номинативного строя, в которых такие лексемы, как, например, 'идти' и 'нести', 'падать' и 'валить', 'умирать' и 'убивать',

¹⁶ W. L. Chafe. Указ. соч., стр. 90.

¹⁷ Ср.: E. Sapir. Two Navaho Puns. «Language», v. 8, 1932, № 2, стр. 217—219; H. Landar. Class Co-occurrence in Navaho Gender. — IJAL, v. 31, 1965, № 4, стр. 319.

‘бежать’ и ‘гнать’, ‘гореть’ и ‘жечь’ и т. п. строго обособляются друг от друга (исключения из этого правила в большинстве случаев трактуются в качестве наследия активной типологии). Интересно, что даже материал эргативных в своей основе языков, однако обнаруживающих значительный процент активных («диффузных» с точки зрения переходности ~ непереходности передаваемого действия) глаголов, дает иногда повод считать, что и в них глагольная лексема не отражает точки зрения субъекта ¹⁸.

Определенная вариация состава активных и стативных глаголов по конкретным языкам является лишь эмпирическим свидетельством недостаточности чисто семантических критериев их выделения. Вместе с тем должно быть очевидным, что любые группировки лексем вообще по неязыковому признаку не способны раскрыть принципов структурной организации языка (в этом заключается неэффективность практикующегося в некоторых работах построения тематических групп слов). Лишь объединения лексем как по семантическим, так и грамматическим (морфологическим, синтаксическим) признакам имеют структурный характер и представляют для лингвистики непосредственный интерес. В следующих разделах этой главы автор стремится показать, какие структурные проекции обуславливает названное лексическое разбиение глаголов на синтаксическом и морфологическом уровнях языка.

Факт реального функционирования такого противопоставления глагольных лексем имеет определенное теоретическое значение. Он служит, в частности, эмпирическим подкреплением известной точки зрения, согласно которой глагольная «переходность и непереходность в их взаимоотноительности являются категориями историческими и что роль и значение их как в лексико-семантической, так и грамматической системе того или иного языка не могут рассматриваться как изначально данные и стабильные» ¹⁹. Вместе с тем становится очевидным, что лексическая неразграниченность транзитивности и интранзитивности в глаголе еще не дает оснований предполагать

¹⁸ Ср.: J. Bechert. Zu den Teilen des einfachen Satzes im Awarischen. «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», Bd 85, H. 1, 1971, стр. 167—169.

¹⁹ А. В. Десницкая. Из истории развития категории глагольной переходности. «Памяти акад. Л. В. Щербы». Л., 1951, стр. 143.

неглагольный и, в частности, так называемый доглагольный характер соответствующего предикатива, к чему склонялись отдельные исследователи проблемы эргативности еще в недавнем прошлом ²⁰. Из специфики глагольной семантики в языках активной типологии — ее соотнесенности с характером вовлеченных в действие референтов — следует и тот вывод, что было бы ошибочным усматривать в такой неразграниченности наследие древнейшего полисемантизма лексем, предполагавшегося некоторыми авторами.

Необходимо подчеркнуть, что лексические классы активных и пассивных имен, равно как и активных и пассивных глаголов, в языках активного строя должны быть отнесены к так называемым скрытым, а не открытым категориям (в этом заключается их принципиальное отличие от именных классов языков классной типологии, например, бантоидных или банту, где они образуют открытые категории; в эргативных языках, где номинальные классы носят также «скрытый» характер, они нередко вообще отсутствуют). Это вытекает из того факта, что сами имена существительные и глаголы здесь лишены соответствующих показателей и их принадлежность к определенной лексической группировке выявляется лишь в окружающем контексте.

Впервые введший в лингвистику разграничение обеих категорий Б. Уорф писал в этой связи следующее: «Скрытая категория выражается специальной морфемой или особой моделью предложения только в некоторых случаях и отнюдь не во всех предложениях, в которых представлен член этой категории. Вхождение слова в определенный класс не устанавливается до тех пор, пока оно не будет употреблено или соотнесено с одним из специальных типов предложения, и тогда обнаруживается, что данное слово принадлежит к классу, который выявляется через специальную различительную процедуру, причем таковой может являться даже отрицательная процедура исключения определенного типа предложений» ²¹. Действительно, названные лексические группировки и ста-

²⁰ Ср., например: *H. H. Holz. Sprache und Welt. Probleme der Sprachphilosophie. Frankfurt/Main, 1953, стр. 116.*

²¹ *Б. Л. Уорф. Грамматические категории. «Принципы типологического анализа языков различного строя». М., 1972, стр. 47.* — Ср. в этой связи языковые критерии выявления понятийных кате-

новится возможным обнаружить по тем специфическим проекциям, которые они оставляют на уровнях синтаксиса и морфологии.

Именно скрытый характер лексических классов активного строя не позволял в течение длительного времени обнаружить их в рассматриваемых языках (особенно это относится к распределению субстантивов на активные и инактивные). Весьма показательно, что еще Ф. Боас рассматривал атапаскские языки как немногие из североамериканских, не обнаруживающие каких-либо следов номинальной классификации²². Более того, сам Б. Уорф прошел мимо существующего в языке навахо общего деления имен на активный («одушевленный») и инактивный («неодушевленный») классы, обратив свое внимание на их более частные группировки, различающиеся здесь уже в рамках инактивного («неодушевленного») [догадку о существовании в языке хайда классификации субстантивов, отражающей различия предметов по форме и материалу, высказал ранее на основе различия соответствующих счетных слов Р. де ля Грассери²³]. Целесообразно также привести еще одно его высказывание, из которого между прочим явствуют использованные им при этом критерии разграничения: «Классы, которые фактически или фиктивно основываются на форме объекта, могут быть в различных языках американских индейцев открытыми или скрытыми. В навахо это скрытые классы. Некоторые слова принадлежат к разряду круглых (или похожих на круглые) предметов, другие — к классу длинных, третьи попадают в классы, не зависящие от формы. Нет формального показателя, который обозначал бы класс слова в каждом предложении. Показатель класса (так же как показатель рода в английском языке) имеет скрытую форму проявления; правда, в данном случае класс определяется не местоимением, а выбором определенного корня глагола, который употребляется с одним классом (имен существительных. — Г. К.) и не употреб-

горий, предложенные И. И. Мещаниновым: И. И. Мещанинов. Члены предложения и части речи. М.—Л., 1945, стр. 197—198.

²² Fr. Boas. Introduction. «Handbook of American Indian Languages», pt I. Washington, 1911, стр. 36.

²³ R. de la Grasserie. Cinq langues de la Colombie Britannique. Haida, Tshimshian, Kwagiutl, Nootka et Tlinkit. «Bibliothèque Linguistique Americaine», t. XXIV. Paris, 1902, стр. 10.

ляется с другими, хотя есть много глагольных корней, не подвергающихся этому различению. Я не думаю, — заключает Б. Уорф, — чтобы такие различия, по крайней мере в навахо, были в большей степени простым лингвистическим обозначением нелингвистических объективных различий, представляющихся одинаково всем исследователям, чем род в английском языке; скорее это скрытые грамматические категории»²⁴.

С точки зрения истории вопроса небезынтересно отметить, что уже Ф. Боас называл среди черт, хотя и не присущих всем американским языкам, но по крайней мере часто в них встречающихся, прежде всего тенденцию «резко подразделять глагол на активный и нейтральный классы, один из которых тесно связан с посессивными формами имени, а другой трактуется как подлинный глагол»²⁵. Оппозиция обоих классов глагольных лексем по различиям в их морфологической структуре ощущалась в этих языках и Э. Сепиром. Так, в работе 1911 г. он писал, в частности, что в «ирокезском различие активных и нейтральных глаголов проводится во всех глаголах, независимо от того, содержат ли они инкорпорированное имя или нет. Понятия «транзитивный» и «интранзитивный» значат для ирокезского очень мало, хотя мы и предпочитаем называть «транзитивными» глаголы, комбинирующие субъектные и объектные местоименные префиксы; все остальные глагольные формы, в том числе даже включающие инкорпорированный объект, окажутся тогда «интранзитивными»»²⁶. Несколько позднее эту дихотомию он уже рассматривал в качестве одной из фундаментальных структурных характеристик языков на-дене и сиу (при этом он использовал термины *active and static verbs*)²⁷.

Широкое распространение такой дублетности глагольных лексем оказалось одной из предпосылок уже давно сделанного наблюдения о большой конкретности принципов номинации, действующих в лексике рассматриваемых языков. Свою другую предпосылку это наблю-

²⁴ Б. Уорф. Указ. соч., стр. 48.

²⁵ Fr. Boas. Указ. соч., стр. 76.

²⁶ E. Sapir. The Problem of Noun Incorporation. . . , стр. 279.

²⁷ Он же. Central and North American Languages. «Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality». Berkeley and Los Angeles, 1958, стр. 175.

дение находит во встречающемся в значительной части представителей активного строя факте обусловленности номинации действия конкретным характером (формой, определенными свойствами) вовлекаемых в него референтов. Так, в языке навахо различается до двенадцати так называемых классификационных глаголов (*classificatory verbs*) бытия или наличия в стабильном состоянии, строго соотносимых с качественно различными референтами: ср. *si-ʔá* 'быть, наличествовать (о круглых предметах)' — *tsé si-ʔá* 'скала есть, стоит', *si-thá* 'быть, наличествовать (о длинных предметах)' — *tsin si-thá* 'палка есть, лежит, стоит', *si-thí* 'быть, наличествовать (об одушевленных)' — *ʔawééʔ si-thí* 'ребенок есть', *ši-žóót* 'быть, наличествовать (об объемистых предметах)' — *tsʔaaʔ ši-žóót* 'корзина есть, лежит' и т. п. (близкая картина налицо и в других атапаскских языках)²⁸. Сходное положение засвидетельствовано также в языках мускоги²⁹. На аналогичных конкретизирующих признаках основана и существующая в ингредиентах семьи на-дене дифференциация ряда активных глаголов движения. Например, в языке гэлис (один из атапаскских на юго-западе штата Орегон) налицо целая совокупность глагольных слов семантики 'приносить (что-либо)', ориентированных на различную форму затрагиваемых денотатов: ср. прерывистую основу *da-* . . . *-ʔaʃ*, *-ʔaa*, *-ʔaʔ* 'приносить круглый предмет обратно', где *da-* — деривационный префикс 'обратно', а основа, представленная тремя алломорфами, несет семантику абстрактного действия 'to handle a round object'³⁰. О том же говорят случаи развитости здесь некоторых других глагольных подклассов, например, наличие семи различных глаголов еды в языке навахо³¹. Уже в свете приведенного материала становится понят-

²⁸ *H. Hoijer*. *Classificatory Verb Stems in the Apachean Languages*. — *IJAL*, v. 11, 1945, № 1, стр. 13—23; *W. Davidson*, *L. W. Ebford* and *H. Hoijer*. *Athapaskan Classificatory Verbs*. «*Studies in the Athapaskan Languages*». University of California Publications in Linguistics, v. XXIX. Berkeley and Los Angeles, 1963, стр. 30—41.

²⁹ *M. R. Haas*. *Classificatory Verbs in Muskogee*. — *IJAL*, v. 14, 1948, № 3, стр. 242—245.

³⁰ *H. Hoijer*. *Galice Athapaskan: a grammatical sketch*. — *IJAL*, v. 32, 1966, № 4, стр. 321.

³¹ *H. Landar*. *Seven Navaho Verbs of Eating*. — *IJAL*, v. 30, 1964, № 1.

ным тезис Р. де ля Грассери о лексической конкретности (*concretisme lexical*) американских языков³². Вместе с аналогичными чертами морфологической системы этих языков, рассматриваемыми на стр. 131 и след. настоящей работы (ср. термин *concretisme grammatical* того же автора), она внушала в прошлом некоторым исследователям мысль о том, что их носители будто бы не способны к абстрактному мышлению.

Прежде чем перейти к характеристике других лексических черт активности, необходимо обратить внимание на факт определенной лексической координации («согласования»), с довольно высокой степенью вероятности осуществляющийся между обоими названными классами именных и глагольных лексем в плане синтагматики. Он заключается в том, что имеющийся в предложении активный глагол-сказуемое в явном большинстве случаев предполагает в качестве своего подлежащего имя активного класса (любопытно, что даже такие семантически стативные глаголы, как 'стоять', 'сидеть', 'лежать', 'спать' и некоторые другие, в части активных языков трактуются как члены класса активных), в то время как стативный глагол-сказуемое сочетается преимущественно с подлежащим, выраженным именем существительным инактивного класса.

Ср., в частности, следующие примеры на подобную лексическую координацию из некоторых активных языков.

Язык камаюра (тупи-гуарани): *kupɨ'uma o-ʔapɨw o-ʔám* 'мальчик слушает стоя', букв. 'мальчик слушает, стоит', *wagawɨjawa mɔja o-u'u* 'собака змею укусила', *wəga-aag i-ʔakaŋ ʔətsinawɨ* 'лодка (из дерева) полна песка', *i-kaŋa i-rowaj* 'его кость — тяжелая'³³.

Язык ассинибойн (сиу): *sə nɨr ɨsága* 'три дерева растут', *ne rúza ne sáśaxɨ aká ɨštɨma* 'кюшка на стуле спала', *ne tasɨá táka ne śɨcapi* 'эти яблоки — гнилые', *ne sáśaxɨ wəzɨ wegáha* 'один из стульев был сломан'³⁴.

На первый взгляд можно усомниться в выдержанности координации подобного рода в случае, когда подлежащее

³² Ср.: *R. de la Grasserie. Du caractère concret de plusieurs familles linguistiques Américaines. Études de grammaire comparée. Paris, 1914.*

³³ *Л. С. Феррейра. Указ. соч., стр. 102, 104, 106, 112.*

³⁴ *N. B. Levin. The Assiniboine Language. — IJAL, v. 30, 1964, № 3, pt II, стр. 16, 22, 62.*

представлено подклассом активных имен, обозначающих деревья и растения, которым, казалось бы, трудно приписать многие типично «одушевленные» действия. Однако конкретный материал активных языков свидетельствует о том, что отмеченное обстоятельство не способно скольконибудь существенным образом ограничить общее правило. Этот подкласс имен обнаруживает достаточно широкую сочетаемость с основным набором активных глаголов (семантики 'рождаться', 'умирать', 'убивать', 'расти', 'болеть', 'царапать', 'хватать', 'держать', 'тянуть', 'стоять', 'лежать', 'сидеть', 'пить', 'плакать', 'пищать', 'стонать', 'шуметь', 'трястись' и др.), включая, в частности, даже подгруппу *verba movendi* — 'подниматься', 'наклоняться', 'гнуться', 'падать', 'нести (о листьях)', 'приносить (о плодах)', 'ползти'. Ср., кроме того, глагол объектной направленности: 'сажать'.

Третьей характерной для активных языков группой глагольных лексем следует считать в целом значительно более узкую группу глаголов непроизвольного действия и состояния. Эта категория лексем вычленяется естественным образом, если учесть, что противопоставление активного действия и состояния, лежащее здесь в основе лексикализации глаголов на активные и стативные, не охватывает всей совокупности мыслимых действий.

Как известно, остаточный класс глаголов непроизвольного действия и состояния, квалифицируемых обычно в качестве аффективных, прослеживается и в некоторых эргативных языках³⁵ (то же самое допустимо сказать и в отношении отдельных представителей номинативного строя, сохраняющих пережитки активности). Однако уже различие самих противопоставлений, к системе которых так или иначе оказываются подключенными аффективные глаголы в эргативных языках и глаголы непроизвольного действия и состояния в активных, обуславливает определенные расхождения и в самом их лексемном составе. В целом рассматриваемый класс глаголов в активных языках оказывается значительно шире, поскольку, помимо характерных для состава аффективных глаголов лексем семантики 'видеть', 'слышать', 'знать', 'хотеть', 'любить' и т. п., сюда относятся и такие, которые, хотя

³⁵ Ср.: Г. А. Климов. Очерк общей теории эргативности. М., 1973, стр. 71—72.

и не маркируют адресата действия, являются пейтральными относительно оппозиции активного действия и состояния. Так, например, довольно широким оказывается класс глаголов непроизвольного действия и состояния в языках сиу. В частности, в ассинибойн в него входят такие лексемы, как *waúáka* 'видеть', *iúúksa* 'думаться', 'догадываться', *awáúaka* 'бодрствовать', *uuhá* 'иметься, находиться' (переводное соответствие — 'иметь'), *yuksá* 'обрываться', *yusóta* 'изнашиваться, уставать', *uwéga* 'ломаться' и целый ряд других³⁶. В ирокезском языке сенека в круг этих глаголов попадают лексемы 'спать', 'смеяться' и др.³⁷ (представляется естественным, что в эргативных и номинативных языках, сохраняющих отчетливый контакт со структурой активного строя, класс аффективных глаголов оказывается еще довольно широким за счет сохранения в нем отдельных лексем, обозначающих другие разновидности непроизвольного действия и состояния). В то же время отдельные типично аффективные по своей семантике глаголы в некоторых случаях могут включаться в число активных, о чем свидетельствует образуемая ими конструкция предложения. Ср. активную модель предложения *a-heša ne-goga* 'я вижу твой-дом' в языке гуарани, где в словоформе глагольного сказуемого *a-heša* налицо характерный префикс 1-го лица активного ряда³⁸. В языке ассинибойн аналогичное построение задается другим типично аффективным глаголом 'слышать': ср. словоформы *na-wá-xú* 'я слышу', *na-uá-xú* 'ты слышишь', в которых выступают инфиксы 1-го и 2-го лица активной серии³⁹. Такие факты лишней раз свидетельствуют о том, что логическое основание рассматриваемого класса глаголов составляет не признак «аффективности» действия, а скорее значительно более общий признак его непроизвольности. К решению последнего вопроса довольно близко подходил в свое время Б. В. Карпович, соотносивший *verba sentiendi* со структурой эргативной типологии (тогда еще не обособлявшейся от активной), когда он указывал, что соот-

³⁶ N. B. Levin. Указ. соч., стр. 42—43.

³⁷ W. L. Chafe. Seneca Morphology. III. Expanded Pronominal Prefixes. — IJAL, v. 26, 1967, № 3, стр. 226—227.

³⁸ Ср.: E. Gregores, J. Suarez. Указ. соч., стр. 136.

³⁹ N. B. Levin. Указ. соч., стр. 35, 42.

ветствующие глаголы выражают «состояние, в котором человек находится не по своей воле»⁴⁰.

Лексическая специфика этой глагольной группы обуславливает как особую конструкцию предложения, так и определенные особенности морфологической структуры ее ингредиентов.

В связи с распределением глаголов в языках активного строя на активные, стативные и непроизвольного действия и состояния нельзя не вспомнить той в принципе трехчленной классификации глагольных лексем — в составе глаголов действия, глаголов состояния и *verba sentiendi* (или *verba affectuum*), — к которой пришли в ходе своих историко-типологических работ некоторые отечественные исследователи проблемы эргативности еще в 30-е годы этого столетия⁴¹.

В рассматриваемом отношении, впрочем, обращает на себя внимание существенная особенность той части активных языков, в которых оппозиция активных и стативных глаголов по своему содержанию приближается к противопоставлению «одушевленных» и «неодушевленных» глаголов (т. е. языков макросемьи на-дене). Выше уже приходилось отмечать, что в соответствии с особенностями структуры последних в них не наблюдается некоторых явлений, имплицитруемых более абстрактной оппозицией активного и инактивного начал. По-видимому, не обнаруживают здесь сколько-нибудь отчетливой структурной специфики и семантические *verba sentiendi*, оказывающиеся в этих условиях составной подгруппой активных («одушевленных») глаголов. Поэтому аналогично другим представителям последних они обуславливают здесь построение активной конструкции предложения, о чем, в частности, красноречиво свидетельствует и тождество морфологической структуры глагольных лексем 'видеть' и 'знать', с одной стороны, и 'брать' и 'убивать', с другой: ср. a-wu-s-tin 'его он увидел' (wu-ts-

⁴⁰ Б. В. Карпович. К генезису *verba sentiendi*. «Лингвист», № 4, (бюллетень студенческих научных кружков лингвистического фак-та Ленинградского ин-та истории, философии и лингвистики), 1937, стр. 18.

⁴¹ Ср.: С. Л. Быловская. Объективный строй *verba sentiendi*. «Язык и мышление», VI—VII. М.—Л., 1936, стр. 21; И. И. Мещанинов. Общее языкознание. К проблеме стадийности в развитии слова и предложения. Л., 1940, стр. 188.

tin 'он увидел') и a-wu-s-ku 'то он знал' при a-wu-ts-nùk⁴² 'то он взял' и a-wa-djaq 'его он убил' в языке тлингит⁴².

Максимальную структурную специфику эти глаголы обнаруживают в том случае, когда они образуют активную конструкцию предложения описательного типа, сходную с аналогичными построениями с *verba sentiendi*, изредка встречающимися и в отдельных эргативных языках (например, в нахско-дагестанских).

Еще одной интересной чертой глагольной лексики рассматриваемых языков, уже давно привлекавшей к себе внимание исследователей, является противопоставление семантически тождественных так называемых «сингулярных» и «плюральных» глагольных лексем. При своей по существу идентичной семантике члены каждой такой супплетивной пары передают соотношенность действия с единичностью или множеством вовлеченных в него референтов (как известно, это явление послужило одной из серьезных трудностей — в выборе лексем, с которой столкнулись при попытке перевода диагностического списка М. Сводеша на язык навахо в целях лексико-статистического анализа⁴³). Бросается в глаза, что данное противопоставление встречается почти исключительно в классе активных глаголов: ср. их характерную семантику — 'идти', 'бежать', 'лететь', 'умирать', 'сидеть', 'стоять', 'лежать', 'плыть', 'брести', 'вести', 'оставаться', 'прыгать', 'падать', 'брать', и нек. др. (весьма любопытно, что уже Г. Остгоф, обнаруживший аналогичный супплетивизм индоевропейского глагола, приписал это обстоятельство психологически понятному стремлению оттенить и выделить вещи, ближе стоящие к человеку⁴⁴).

Характеризуя их числовую соотношенность, Э. Сепир отмечал: «Иногда скорее глагол, чем имя, является органически (*inherently*) сингулярным или плюральным. Грубое представление о такой на первый взгляд нелогичной, однако совершенно естественной классификации, можно составить себе, принимая за таковые английские глаголы *to massacre* и *to troop* как органически плюральные фор-

⁴² Ср.: H. V. Velten. Three Tlingit Stories. — IJAL, v. 10, 1944, № 4, стр. 168—180.

⁴³ Г. Хойер. Лексикостатистика (критический разбор). «Новое в лингвистике», вып. 1. М., 1960, стр. 99—100.

⁴⁴ Ср.: H. Osthoff. Vom Suppletivwesen der indogermanischen Sprachen. Akademische Rede. Heidelberg, 1899, стр. 42.

мы, соответственно значащие 'убивать (нескольких)' и 'бежать (о группе)»⁴⁵.

Характеризуя это явление в близкородственных языках мускоги, Ф. Спэк отмечал следующее: «В некоторых случаях изменения, вызванные ориентацией на число, распространяются только до факта включения дополнительных суффиксов в глагольную основу. Однако имеется обширная категория глаголов, основы которых, соотносящиеся с единственным и множественным числом субъекта или объекта, столь глубоко различны, что представляются этимологически несвязанными. . . Некоторые глаголы, сочетающиеся с субъектом единственного, двойственного и множественного чисел в языке крик (т. е. собственно мускоги. — Г. К.), совершенно различны. С другой стороны, воздействие объекта во множественном числе на предикат, вероятно, большее, чем в предшествующем случае. В значительном числе примеров при множественном числе объекта требуется совершенно иной по сравнению с употребляющимся при его единственном числе глагол. . .

| | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|---------------------------|
| ísis | 'он берет' | (ед. ч.) | toáwis | (мн. ч.) |
| ilídjis | 'он убивает' | (ед. ч.) | pā'cadis | (мн. ч.) |
| lítkis | 'он бежит' | (ед. ч.) | bifátkis | (мн. ч.)» ⁴⁶ . |

Ср., например, варьирующие в отношении числа глагольные дублиеты qa ~ is, isdal 'идти', q'iao ~ L'lū 'сидеть', x'it ~ na(lgal) 'летать', tia ~ L'ida 'убивать' в языке хайда. Ср. аналогичные глагольные пары в языке тлингит: gu ~ at 'идти', ti ~ ne 'орудовать рукой, давать', cāt ~ ni 'нести, брать' и др.⁴⁷ Такие же факты широко распространены в различных атапаскских языках. Так, в частности, в языке навахо зафиксированы такие супплетивные лексемы, как -gā́ ~ -kah 'идти', dā́ ~ tá 'сидеть', -l'yó ~ d'zah 'бежать', -tsá ~ -nḗ 'умирать' и т. п.⁴⁸

⁴⁵ E. Sapir and M. Swadesh. American Indian Grammatical Categories. «Word», 1946, № 2, стр. 104.

⁴⁶ F. G. Speck. Some Comparative Traits of the Maskogean Languages. «American Anthropologist» (NS), v. 9, 1907, № 3, стр. 478—479.

⁴⁷ J. R. Swanton. Haida. «Handbook of American Indian Languages», pt I, стр. 276; Он же. Tlingit. — Там же, стр. 197.

⁴⁸ Ср.: X. К. Уленбек. Пассивный характер переходного глагола или глагола действия в языках Северной Америки. Эргативная конструкция предложения. М., 1950, стр. 77—80; G. Reichardt. Character of Navaho Verb Stem. «Publications of the American

Функционирование такой оппозиции связано с отсутствием или крайне слабым развитием в активных языках морфологической категории числа. Ее ограниченность небольшой группой активных глаголов, лексически координирующихся в предложении с субстантивами активного класса, рельефно показывает наряду с отдельными фактами числового морфологического оформления последних, что сама идея числа здесь связывается лишь с «одушевленными» референтами. Наличие данного противопоставления лишний раз свидетельствует о том, насколько высокую по сравнению с эргативными и номинативными языками функциональную нагрузку в представителях активной типологии несет на себе лексика.

Приведенный материал (как и ранее засвидетельствованные факты некоторых представителей эргативного строя) говорит об ошибочности довольно распространенного в прошлом впечатления, будто подобный супплетивизм составляет явление, характерное преимущественно для индоевропейских языков.

«Диффузная» с точки зрения выражения субъектно-объектных отношений интенция активного глагола находится в логическом соответствии с полным отсутствием в рассматриваемых языках специальных глагольных лексем, выражающих типичные отношения такого рода. Прежде всего заслуживает упоминания несформированность здесь класса посессивных глаголов (*verba habendi*), предполагающих, как известно, в предложении позиции субъекта и объекта обладания. Поэтому обычно содержание «посессивной конструкции» передается в представителях активной типологии описательными построениями стативного глагола 'быть, находиться' в сочетании с именем объекта обладания в притяжательной личной форме.

Так, в атапаскском языке навахо значение 'ты имеешь дрова, у тебя есть дрова' выражается фразой *n-tciį xólb*, что почленно переводимо как 'твои-дрова есть'⁴⁹. Ср., вместе с тем, словоформу *ši-sí-ń-k-tį* 'you have me lying' того же языка, в котором *ši-* — префикс 1-го лица,

Ethnological society». N. Y., 1951, v. XXI, стр. 66—68; H. Hoijer. *Semantic Patterns of the Navaho Language*. «Sprache—Schlüssel zur Welt». Festschrift für Leo Weisgerber. Düsseldorf, 1959, стр. 369—370.

⁴⁹ G. A. Reichardt. Указ. соч., стр. 362—363.

ñ- — 2-го лица, sí- — аффикс стативного глагола, k- — деривационный элемент и -tí — так называемая классифицирующая глагольная основа семантики 'находиться (лежа)', 'лежать (об одушевленных)' ⁵⁰. Сходным образом, посредством использования стативных глаголов из ряда «классифицирующих», оформляется посессивное содержание и в других представителях макросемьи на-дене. Несколько отличный способ передачи отношения обладания имеет место в языках тупи-гуарани. Здесь эту роль выполняют формы глагола 'быть, находиться', снабженные префиксальным элементом r-, обозначающим совместность действия или состояния: hù-ikú 'быть, находиться' и hù-rikú 'быть с. . .', 'иметь' в тупи ⁵¹, еко 'быть, находиться' и егеко 'быть с. . .', 'иметь' в камаюра (ср. goratá 'носить' при 'atá 'ходить', egaħa 'брать с собой' при ħa 'идти' в последнем). Ср. также словоформу ħe-r-ub 'у меня есть отец' старого тупи при ub(a) 'отец', допускающую буквальное толкование 'я есмь с отцом'. Наконец, в языках сиу встречается особая глагольная лексема произвольного состояния с переводным соответствием 'иметь', образующая «аффективную» конструкцию предложения: ср., например, ассинибойн ne wówarí. . . mn-uhá 'у меня есть. . . газета' (при wa-mn-áka 'я видел'), где mn- — показатель 1-го лица «аффективного» ряда ⁵².

В рассматриваемых языках отсутствуют и такие лексемы, как 'лишать', 'отнимать'. В то же время даже глаголы, переводимые как 'давать', иногда трактуются в них в качестве глаголов движения. Именно так, по-видимому, обстоит дело в языке навахо ⁵³.

Характерную черту языков активной типологии представляет отсутствие связочного глагола. Это, по-видимому, и неудивительно, если учесть, что «связка есть глагол, не имеющий вещественного значения и соответствующий одной формальной стороне глагольного сказуемого» и что «это самый отвлеченный глагол и самое отвлеченное полное слово в языке вообще. . . Ведь «бытие» — это самый

⁵⁰ H. Hoijer. *Cultural Implications of Some Navaho Linguistic Categories*. «Language», v. 27, 1951, № 2, стр. 118.

⁵¹ Ср.: A. Fernandes. *Gramática Tupi (histórica, comparada e expositiva)*. 2ª edição. Rio de Janeiro, 1960, стр. 157—159.

⁵² N. B. Levin. Указ. соч., стр. 13.

⁵³ H. Landar. *Class Co-occurrence in Navaho Gender*. — IJAL, v. 31, 1965, № 4, стр. 330.

общий признак вещей»⁵⁴. Поэтому эквативные предложения состоят здесь из двух членов, а еще чаще — из единственного стативного глагола: ср., например, (miye) da-ma-kota 'я — дакота', (niye) da-ni-kota 'ты — дакота' на языке дакота⁵⁵.

В связи с характеристикой стативного глагола в рассматриваемых языках необходимо остановиться еще на одной важнейшей черте организации в них лексики, которая заключается в несформированности в них имен прилагательных, вследствие чего соответствующие атрибутивные функции в предложении здесь выполняют основы стативных глаголов.

Несформированность прилагательных в представителях активного строя в течение длительного времени оставалась незамеченной в их дескриптивных грамматиках. Так, например, в отражающей традиционный способ презентации материала грамматике языка туни (*lingua geral*) А. Фернандеса имеется даже специальный раздел, посвященный прилагательному⁵⁶. В высшей степени показательно при этом, что автор приводит соответствующие формы «прилагательных» постоянно с определяемыми ими существительными (ср. *sunhã-roanga* 'красивая женщина', *ubaia-catu* 'хороший плод', *sunhã-kirã* 'толстая женщина', *aba-kirã* 'толстый мужчина'), однако ни в одном случае не приводит его в качестве самостоятельной величины. Тем более неожиданным оказывается рассмотрение в этом же разделе указательных местоимений (ср. *osa-quã* 'этот дом'), а также терминологическая квалификация количественных числительных в качестве *adjetivos cardinais*⁵⁷. Аналогичным образом выглядит специальный раздел о прилагательных в грамматике языка гуарани Антонио Гуаш. Здесь они также неизменно приводятся в связанном состоянии с определяемым: ср. *uvoty moroti* 'белый цветок', *ôga karare* 'низкий дом', *tare ruiku* 'длинная дорога', *inimbo ro'i* 'слабая нить' и др.⁵⁸ Обращает на себя внимание и тот факт, что при перечислении наи-

⁵⁴ А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 6. М., 1938, стр. 217.

⁵⁵ Ср.: Х. К. Уленбек. Указ. соч., стр. 89.

⁵⁶ А. Fernandes. Указ. соч., стр. 137—144 и 245—248.

⁵⁷ Там же, стр. 137, 140.

⁵⁸ P. Antonio Guash. El idioma Guaraní. Gramática y antología de prosa y verso. Asuncion, 1956, стр. 72—75.

более употребительных в языке «прилагательных», автор постоянно приводит параллельную финитную форму (с префиксом 3-го лица инактивного ряда) соответствующего стативного глагола:

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| mbarete, imbarete | ‘сильный’ ‘силен’ |
| piru, ipiru | ‘слабый’ ‘слаб’ |
| porã, iporã | ‘красивый’ ‘красив’ |
| vai, ivai | ‘некрасивый’ ‘некрасив’ |
| yvate, ijvate | ‘высокий’ ‘высок’ |
| yvõi, iïyvõi | ‘низкий’ ‘низок’ |
| puku, ipuku | ‘длинный’ ‘длинен’ |
| mbyku, imbyku | ‘короткий’ ‘короток’ ⁵⁹ . |

Сходным образом (с неизменной ссылкой на формы стативного глагола) строится раздел о прилагательных в описании атапаскского языка хупа у П. Годдарда⁶⁰.

Любопытно также, что еще в словаре языка чоктав, принадлежащем С. Байнгтону, формы «прилагательных» не выделяются в качестве самостоятельных лексем, а неизменно приводятся в сочетании со своими определяемыми: ср. *mati ċito* ‘торнадо’ (букв. ‘ветер+большой’), *mati lašpa* ‘ветер горячий’, *mati kałlo* ‘ветер сильный’ (стр. 606), *oka kařassa* ‘вода холодная’, *oka lašpa* ‘вода горячая’, *oka takba* ‘вода горькая’ (стр. 602), второй компонент которых представлен основами соответствующих стативных глаголов⁶¹. Лишь в единичных работах встречается безоговорочная констатация класса прилагательных⁶².

Вместе с тем в огромном большинстве современных исследований по активным языкам этот класс слов либо вообще не фиксируется, либо отмечается с серьезными оговорками. Так, он, как правило, не отмечается в новых работах по языкам на-дене. Например, в атапаскских языках постулируется всего три класса слов — имена

⁵⁹ P. Antonio Guash. *El idioma Guaraní. Gramática y antología de prosa y verso*, стр. 44.

⁶⁰ P. E. Goddard. *Athapaskan (Hupa)*. «Handbook of American Indian Languages», I, стр. 146—147.

⁶¹ C. Byington. *A Dictionary of the Choctaw Language*. «Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology». Bulletin 46. Washington, 1915.

⁶² Ср.: M. F. Gutiérrez. *Una Forma Pre-Sirionó en Bolivia*. «Instituto de Investigaciones Lingüísticas». Catamarca (Argentina), 1967, № 1, стр. 7.

существительные, глаголы и частицы⁶³. Не засвидетельствованы имена прилагательные в последних исследованиях по представителям семьи тупи-гуарани⁶⁴. В связи с картиной, имеющейся в этом отношении в языках сиу, интересна формулировка Н. Левина, согласно которой в языке ассинибойн «члены класса имен прилагательных принимают суффикс множественности -pi и встречаются исключительно в качестве второй части сложений. . .»⁶⁵ (ср. pte sára 'черный бизон' при pte sapá-pi 'черные бизоны').

Сходные высказывания налицо и в отношении ирокезских языков, иллюстрирующих, судя по всему, очень позднее активное состояние. Например, У. Чейф не выделяет класса прилагательных среди имен языка онондага (в одном контексте он отмечает, в частности, что этот «язык имеет два различных глагольных корня, оба которых переводятся как 'старый' . . .»⁶⁶). Относительно другого ирокезского языка — сенека — Н. Хольмер пишет, что здесь «прилагательное» часто не отличимо от имени или глагола; ср., например, kanguu' 'дикий зверь' и 'дикий' (u'sun kanguu' 'дикий индеек'), thaiwai 'добрый, честный' или 'он добр, честен', thyeiwei '(она) добра, честна', thatiiwai '(они) добры, честны»⁶⁷ (впрочем, в сенека «атрибутивный определитель», как Н. Хольмер называет эту категорию определений, может уже занимать как постпозитивное, так и препозитивное положение).

Столь противоречивые мнения, встречающиеся в литературе относительно статуса имени прилагательного в языках активной типологии, говорят сами за себя. Они в той или иной степени отражают существующее положение вещей. Будучи по существу еще не вполне сформирован-

⁶³ Ср., например: *H. Hoijer. Galice Athapaskan: a grammatical sketch*, стр. 321; *E. Sapir and H. Hoijer. The Phonology and Morphology of the Navaho Language*, стр. 68.

⁶⁴ Ср.: *E. Gregores, J. A. Suárez. Указ. соч.*, стр. 135—136; *H. L. Fierstone. Description and Classification of Sirionó. London—The Hague—Paris, 1965*, стр. 23—27.

⁶⁵ *N. B. Levin. Указ. соч.*, стр. 22.

⁶⁶ *W. L. Chafe. A Semantically Based Sketch of Onondaga*, стр. 25.

⁶⁷ *N. M. Holmer. The Seneca Language (A Study in Iroquoian). «Upsala Canadian Studies». Upsala—Copenhagen (Lund), 1952*, стр. 28.

ным, прилагательное, несомненно, переживает здесь этап своего интенсивного становления. К тому же и в этом отношении важно различать языки ранней и поздней активной формации.

Высказанное Дж. Гринбергом замечание о том, что во многих языках слова со значением прилагательного ведут себя как интранзитивные глаголы⁶⁸, действительно, прежде всего относится к представителям активной типологии. При этом атрибутивная семантика чистой основы стативного глагола, употребляющейся здесь в роли адъектива, уже отчетливо свидетельствует о ее непредикативной синтаксической функции в предложении. В то же время типичная для всех активных языков постпозиция этой основы по отношению к определяемому имени, судя по всему, еще обязана ее предикативному прошлому. Важно подчеркнуть, что морфологизация рассматриваемого элемента по существу вообще не наступила, так как каких-либо морфологических характеристик (если за такую не считать, конечно, негативной черты его морфологической неоформленности) она не несет. Естественно, что если в соответствии с довольно широкой отечественной традицией определять части речи как морфологизованные члены предложения, то говорить о сформированности здесь класса имен прилагательных было бы преждевременным.

В пользу подобной точки зрения может свидетельствовать и обычное для рассматриваемых языков отсутствие каких-либо словообразовательных аффиксов прилагательного. Редкие исключения из этого правила были отмечены в некоторых из языков макросемьи на-дене, в которых констатировался префикс производства имени прилагательного от основы стативного глагола *li-*. Ср., например, формы тлингит *li-tsin* 'сильный' при *la-tsin* 'сила', маттоле *li-gai*, навахо *li-gai*, *l'ugai* 'белый' при основе стативного глагола *-gai* 'быть белым'⁶⁹ (впрочем, остается неясным, регулярны ли здесь такие образования и насколько

⁶⁸ Дж. Гринберг. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов. «Новое в лингвистике», вып. V. М., 1970, стр. 146—147.

⁶⁹ Ср.: H. J. Rinnow. On the Historical Position of Tlingit. — IJAL, v. 34, 1964, № 2, pt I, стр. 159.

адекватен в этом случае анализ: ср. *kín ìgàì* 'дом — белый' ⁷⁰, где *ì-* — элемент стативного глагола).

Об этом же говорит и то обстоятельство, что заимствованные в гуарани испанские прилагательные ведут себя как стативные глаголы (ср. *i-derečo* 'он — прямой').

С несформированностью в активных языках имени прилагательного связаны две их следующие черты. Во-первых, это фактически повсеместное атрибутивное употребление субстантивов с соответствующей ассоциативной семантикой. Ср., например, в языке тлингит: *dlèt* 'снег' ~ 'белый', *lìx̣* 'лед' ~ 'твердый', *ta* 'камень' ~ 'каменный' и др.⁷¹; в языке тупи: *abá* 'индеец' ~ 'индейский' (*aba-nheenga* 'индейский язык' 'язык тупи'), *itá* 'камень' ~ 'каменный' (*ita-osa* 'каменный дом'), *nhauúma* 'глина' ~ 'глиняный' (*nhauumb-osa* 'глиняный дом') и др. (такая же картина засвидетельствована в других языках семьи тупи-гуарани ⁷²). Во-вторых, это большая продуктивность здесь различных именных аффиксов оценки, передающих величину реального референта — т. е. семантики 'маленький', 'большой' (ср. обилие аналогичных аффиксов в представителях классного строя). Так, в языке ассинибойн имена обоих классов принимают деминутивный суффикс *-na*, присоединяемый непосредственно к основе слова: *hokšína* 'маленький мальчик' *hokší+na*, *waخرérena* 'чайные листья' *waخرé+re* (с неполной редупликацией основы в функции передачи идеи множества) *+na* ⁷³. Наличие уменьшительных именных аффиксов в языке дакота было отмечено еще в грамматике С. Риггса: *mde* 'озеро' > *mde-dan*, *wakra* 'река' > *wakra-dan* и т. п.⁷⁴ Специальный суффикс малости отмечается также в языке тлингит ⁷⁵. Засвидетельствованы его аналогии в представителях семьи тупи-гуарани.

⁷⁰ Пример заимствован из работы: *H. Hoijer. Semantic Patterns of the Navaho Language*, стр. 367.

⁷¹ Ср.: *H. V. Velten. Указ. соч.*, стр. 179.

⁷² Ср.: *Pe A. Lemos Barbosa. Perfil da lingua tupi. — В кн.: Pe A. Lemos Barbosa. Pequeno vocabulario tupi-portugues. Rio de Janeiro, 1955*, стр. 179.

⁷³ *N. B. Levin. Указ. соч.*, стр. 18.

⁷⁴ *Grammar and Dictionary of the Dakota Language* (ed. by S. R. Riggs). «Smithsonian Contribution to Knowledge». N. Y., 1852, стр. 31.

⁷⁵ *I. R. Swanton. Tlingit. «Handbook of American Indian Languages», pt I*, стр. 168—169.

Между тем общее место исследований по генезису прилагательного составляет признание связи последнего исключительно с эволюцией имени существительного. Типичное в этом плане рассуждение встречаем у Л. П. Якубинского. «Так как свойства предметов раскрываются через другие предметы, — писал он, — то первоначально названия тех или иных свойств — это не что иное, как название предметов, которые с точки зрения говорящих являются преимущественными носителями этого свойства или признака. Так, первоначально свойство твердого выражается тем же словом, что и «камень», которое с точки зрения говорящих становится преимущественным носителем признака «твердости»; то же нужно сказать об обозначении «красного» через кровь или «голубого» через небо или же через другие предметы. Отсюда ясно, что на первоначальном этапе развития определения нет и не может быть речи об особой категории слов, выражающих признаки предметов, — выразителем свойств является та же грамматическая категория имен, названий предметов. Отсюда ясно также, что в своем генезисе все прилагательные являются относительными, семантически производными от какого-то названия предмета, через отношение к которому характеризуется другой или другие предметы. . . . Лишь постепенно, с развитием отвлеченного мышления, признак обособляется как таковой и мыслится отдельно. Тогда образуется качественное прилагательное, в котором образ предмета уже отсутствует. . . . Из того, что сказано выше, ясна глубокая генетическая связь между существительным как названием предмета и прилагательным как названием признака предмета, которое первоначально дается также через название предмета. Поэтому справедливо указывают на то, что между существительным и прилагательным первоначально нет никакого грамматического различия; обе грамматические категории выделяются из общей категории имени, которое используется то как название предмета, то как название признака»⁷⁶.

Должно быть очевидным, что языки активной типологии вносят в понимание вопроса генезиса прилагатель-

⁷⁶ Л. П. Якубинский. История древнерусского языка (С предисл. и под ред. акад. В. В. Виноградова, прим. проф. П. С. Кузнецова). М., 1953, стр. 210—211.

ного немало нового. Они, судя по всему, иллюстрируют основную линию в становлении качественного прилагательного, довольно определенно указывая на стативный глагол как его источник.

Семантической детерминантой активного строя обусловлен, по-видимому, и ряд более частных особенностей лексической системы представителей рассматриваемой типологии.

На статус лексической импликации активности претендует, например, существующее в прономинальной системе языков мускоги, сиу и тупи-гуарани лексемное противопоставление инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа, которое в течение длительного времени признавалось большинством лингвистов специфической чертой американских языков⁷⁷ (аналогичная оппозиция встречается также в ряде эргативных, а также в некоторых номинативных). Ср., например, *ñande* 'мы с тобой // с вами' и *ore* 'мы без тебя // без вас' в языке гуарани, или *harišni* 'мы с тобой // с вами' и *rišni* 'мы без тебя // без вас' в языке чоктав (из группы мускоги). В некоторых из активных языков иногда встречается дальнейшая конкретизация референтов по признаку соотносительности соответствующих лексем с лицами мужского или женского пола. Так, в частности, в языке кокама (Эквадор, группа тупи-гуарани), при единой в последнем отношении инклюзивной лексеме *ini* 'мы' взаимно дифференцированы две эксклюзивных: *tanu* 'мы (по отношению к мужчинам)' и *rüñü* 'мы (по отношению к женщинам)'⁷⁸. В отдельных случаях в этих языках может встретиться и проекция такого различия на морфологический уровень — противопоставление инклюзивного и эксклюзивного вариантов личного показателя глагола или префиксов категорий притяжательности имени. Последнее налицо, например, в том же языке кокама, где наряду с *ini-rua* 'наши (инклюз.) руки' имеются формы

⁷⁷ Об истории его изучения см.: *M. R. Haas*. Exclusive and Inclusive: a look at early usage. — *IJAL*, v. 35, 1969, № 1, стр. 1—6; также: *M. I. Hardman-de-Bautista*. Early usage of Inclusive/Exclusive. — *IJAL*, v. 38, 1972, № 2, стр. 145—146; ср. также: *R. de la Grasserie*. De l'inclusif et de l'exclusif. Paris, 1890.

⁷⁸ *N. Faust and E. G. Pike*. The Cocama Sound System. Publicações do Museu Nacional. Série Linguística Especial. Rio de Janeiro, 1959, № 1, стр. 66.

lanu-ria 'наши (эксклюз., мужск.) руки' и rīnī-ria 'наши (эксклюз., женск.) руки' ⁷⁹.

Содержательные предпосылки функционирования оппозиции инклюзива ~ эксклюзива именно в местоимениях 1-го лица множественного числа должны быть очевидны, поскольку, как еще подчеркивал О. Есперсен, лишь лексема 'мы' может оказываться двусмысленной с точки зрения включения или невключения адресата речи. В последнем отношении особенно показательна словообразовательная структура инклюзивного местоимения, обнаруживающая в ряде представителей активного строя местоименный компонент 'ты': ср. тупи ja-nde при nde 'ты', камаюра je-né при né 'ты' (следует заметить, что лексемы инклюзивного местоимения 'мы', встречающиеся в некоторых эргативных и номинативных языках, как правило, не обнаруживают такого строения, что само по себе может служить косвенным указанием на их немотивированность в структуре эргативного и номинативного строя; в представителях нейтральной и классной типологии оппозиция инклюзивного и эксклюзивного местоимений, по-видимому, неизвестна). Заслуживает упоминания, что Фр. Боас находил дифференцированность обеих местоименных лексем логически более строгой по сравнению с нерасчлененным местоимением 'мы' большинства других языков ⁸⁰.

Впрочем, показать принадлежность этого противопоставления к числу импликаций активного строя (особенно, если учесть видимое отсутствие его в языках на-дене) также нелегко. Нельзя, тем не менее, не заметить, что ее связь с господством в языковой структуре бинарной классификации имен в немногочисленных высказываниях по этому вопросу обычно признавалась. Так, например, В. Шмидт полагал, что такое противопоставление могло возникнуть в эпоху материнского права, когда общество было разделено на два «брачных» класса, один из которых будто бы считал себя выше и знатнее другого. Еще раньше аргентинский этнолог Л. Кеведо пытался связать его с различием двух социальных слоев внутри одного племени — господствующих и подчиненных, победителей и побежденных ⁸¹. По мнению наиболее близко подходящего

⁷⁹ Там же.

⁸⁰ Fr. Boas. Указ. соч., стр. 39—40.

⁸¹ W. Schmidt. Указ. соч., стр. 333, 505—506.

к решению проблемы Т. В. Гамкрелидзе, «эта прономинальная категория была структурно мотивирована бинарной (двоичной) системой грамматических классов. Морфологическая система грамматических классов бинарной структуры человек — вещь (т. е. личный — неличный); одушевленный — неодушевленный предполагает наличие категории инклюзива — эксклюзива в прономинальной системе»⁸².

Определенный свет на мотивированность рассматриваемой лексемной оппозиции структурой развитого активного строя проливает факт ее отсутствия в раннеактивных языках на-дене, где противопоставление активного и инактивного начал оказывается еще особенно близким к оппозиции одушевленного и неодушевленного. Скорее всего следует полагать, что данная корреляция основана на активном в одном случае (инклюзивное местоимение) и инактивном — в другом (эксклюзивное местоимение) представлении адресата речи по отношению к описываемой ситуации. В пользу такого решения, возможно, свидетельствует и обычное неразличение активной и инактивной формы инклюзивного глагольного показателя 1-го лица множественного числа (ср., например, единый префикс *u-* в языках *сиу*) при дифференциации обеих у параллельного эксклюзивного. Если это так, то рассматриваемое противопоставление увязывается со структурой последовательно выдержанной активной типологии, что подтверждается эмпирически — его отсутствием лишь в языках, представляющих раннее активное состояние (а также возможным отсутствием в некоторых представителях наиболее позднего активного строя). В то же время и здесь вполне оправдана его терминологическая квалификация как инклюзива и эксклюзива.

В активных языках неизвестен глагольный инфинитив (как, по-видимому, и разряд *nomina actionis*). Поэтому соответствующее содержание всегда оказывается конкретизованным в отношении категории лица: ср. камаюра *n-a-ʔatá-potar-ité* 'я не могу ходить', где циркумфикс отрицания *n-...-ité* охватывает личную глагольную форму *a-ʔatá* 'я хожу' с суффиксом потенциалиса (дизи-

⁸² Т. В. Гамкрелидзе. Сибилитные соответствия и некоторые вопросы древнейшей структуры картвельских языков. Тбилиси, 1959 стр. 11.

дератива) -potát, или po-mokawa ere-mojerepi-potát mo?-itsowia-puré? 'ты хочешь поменять ружье на бусы?', где ere-mojerepi-potát—форма 2-го лица глагола 'менять' с суффиксом потенциалиса, мокар — 'ружье', mo?itsowí 'бусы' 'четки', -puré—последлог. Однако nomina agentis, по-видимому, встречаются: ср. камаюра juka-tat 'убийца', 'iwō-tat 'стрелок', 'u-tat 'тот, который ест' (в языке гуарани они, как будто, не выделены из более широкой группы имен места).

В силу вполне определенного содержания семантической детерминанты активного строя в прономинальной системе его представителей не приходится ожидать наличия возвратных местоимений 'сам' и 'свой'. Принадлежность обоих к специальным средствам выражения субъектно-объектных отношений, по-видимому, никогда не вызвала сомнений в лингвистике. Еще А. М. Пешковский подчеркивал, например, что возвратное притяжательное местоимение «может относиться только к тому лицу, которое сознается субъектом действия или состояния, выраженных в слове, подчиняющем (прямо или косвенно) данное местоимение»⁸³. Рассматривая содержание индоевропейской местоименной основы *swe- 'свой', Э. Бенвенист пишет: «Очевидно, что такое понятие представляет большой интерес как для общей лингвистики, так и для философии. Здесь выделяется и понятие «себя» как категория возвратности. Это то выражение, которым пользуется человек, чтобы определить себя как индивида и «замкнуть происходящее на себя». И в то же время эта субъективность (курсив наш. — Г. К.) выражается как принадлежность»⁸⁴.

В качестве структурной фреквенталии активного строя следует назвать широко распространенные в его представителях факты этимологического тождества целой серии именных и отчасти глагольных лексем, основанного в конечном счете на тех или иных аналогиях, существующих между животным и растительным организмом и их функциями. При этом имеется в виду материальное тождество обозначений таких семантем, как: 'кровь' ~

⁸³ А. М. Пешковский. Указ. соч., стр. 147.

⁸⁴ Э. Бенвенист. Словарь индоевропейских социальных терминов (извлечения). — В кп.: Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 1974, стр. 362—363.

‘сок’⁸⁵, ‘рог’ ~ ‘ветвь, сук’, ‘ухо’ ~ ‘лист’, ‘шкура’ ~ ‘кора’, ‘тело’ ~ ‘ствол’, ‘мясо’ ~ ‘мякоть’, ‘голова’ ~ ‘крона, вершина’, ‘убивать’ ~ ‘срубить’, ‘плакать (// кровоточить)’ ~ ‘сочиться’ и т. п. Еще М. М. Покровский отмечал, что «у всех народов очень распространено сопоставление явлений мира растительного с явлениями мира животного. . .»⁸⁶. Однако в рассматриваемых языках оно выступает значительно рельефнее, чем в номинативных и эргативных. Такие тождества особенно широко распространены в языках тупи-гуарани и на-дене. Так, в целом ряде первых налицо тождество семантем ‘шкура’ ~ ‘кора’ (ср. *piɣe* в языке кайнга, *iɣiɣeɣ* в гуарайо, *piɣe* в парана и т. п.)⁸⁷. В большинстве других языков тупи-гуарани налицо основанная на этом тождестве модель ‘кора’—‘дерево’+‘шкура’: ср. гуарани *iwiɣá-piɣe*, тупи *iwiɣá-piɣá*, кайпиинде *ɲwɲga-piɣi*, чарагуа *ɲwɲga-piɣa*, ибопоренда *ɲwɲga-piɣi* и мн. др.⁸⁸ Такое же сложение засвидетельствовано в языках сиу: ср. *śa’-ha* ‘кора’ (‘дерево’+‘шкура’) в дакота⁸⁹. Из языков на-дене аналогичные факты представлены, в частности, в многочисленных атапаскских. Ср., например, следующие лексемы языка хупа: *-nisté?* ‘туловище’ ‘ствол’, *-sic’* ‘кожа’, ‘шкура’ ‘кора’, *-cin?* ‘мясо’ ‘мякоть (плода)’ и другие, повторяющиеся и в некоторых других родственных языках. Как известно, на совмещенность семантем ‘шкура’ и ‘кора’ в единой лексеме обращал внимание Г. Хойер в связи с трудностями, которые возникают при заполнении диагностического списка М. Сводеша в целях лексико-статистического анализа атапаскских языков⁹⁰.

Одной из наиболее характерных лексических фреквенталий активных языков являются очень широко распро-

⁸⁵ Ср. замечания о связи древних индоевропейских лексем семантики ‘кровь’ ~ ‘сок’: Вач. Вс. Иванов. [Рец. на кн.:] *E. Benveniste. Hittite et indo-européen. Études comparatives.* — ВЯ, 1963, № 4, стр. 132—133.

⁸⁶ М. М. Покровский. Семасиологические исследования в области древних языков. М., 1895, стр. 10.

⁸⁷ H. L. Firestone. Указ. соч., стр. 55—69, № 3, 67 и 82.

⁸⁸ Там же, стр. 55 и след.

⁸⁹ I. R. Boas and J. R. Swanton. Siuon (Dakota). — «Handbook of American Indian Languages», pt. I, стр. 894.

⁹⁰ V. K. Golla. An Etymological Study of Hupa Nouns Stems. — IJAL, v. 30, 1964, № 2, стр. 112—113; см.: H. Hoyer. Lexicostatistics: a Critique. «Language», v. 32, 1956, № 1, стр. 57.

страненные здесь дублетные пары глаголов, члены которых передают однородные действия, соотносящиеся с одушевленными и неодушевленными референтами. Ср., например, 'падать' ~ 'валиться', 'лежать' ~ 'валяться', 'дуть' ~ 'веять', 'плыть' ~ 'нести по течению' (ср. англ. to swim ~ to float), 'тонуть' ~ 'погружаться', 'идти' ~ 'идти (о времени)', 'обступать' ~ 'окружать', 'умолкать' ~ 'утихать', 'быть молодым' ~ 'быть новым', 'быть старым' ~ 'быть ветхим' и т. п. (автор осознает, что названные русские лексемы в силу принадлежности типологически отличной системе далеко не всегда способны достаточно адекватно отразить нюанс, различающий члены подобных пар). Так, в частности, в языке навахо засвидетельствованы такие дублеты, как tí 'быть (о людях, животных)' ~ tēl 'быть (о предметах)', tíⁿ 'лежать (о людях, животных)' ~ 'á 'лежать (о предметах)', 'валяться', -hááh, -ya 'двигаться (о людях, животных)' ~ kééé 'двигаться (о предметах)', uóóí 'дуть (о людях, животных)' ~ t'sííh 'дуть (о ветре)', 'веять' и Г. Рейхардт в своей грамматике этого языка с полным основанием выделяет подкласс «глаголов одушевленного движения» (verbs of animated motion), противопоставляющийся подклассу глагольных лексем, обозначающих движения различного рода предметов⁹¹. Именно к числу последних должны быть отнесены здесь специальные глаголы прохождения времени. Ср., например, в языке навахо лексемы -nááh, -náʔ, -náàt 'проходить (о времени)' и -žííʃ, -žííž, -žíʃ 'проходить (о сезоне)'⁹². Важно подчеркнуть, что в языках эргативного и особенно номинативного строя подобные дублеты встречаются значительно реже. Однако лежащее в основе их разграничения логическое основание не позволяет все же отнести их и к числу импликаций активности.

СИНТАКСИС

Совокупность синтаксических импликаций активного строя обнаруживает самую непосредственную зависимость от принципов системной организации, реализованных в его лексической структуре. Эта обусловленность дает

⁹¹ G. Reichardt. Navaho Grammar. «Publications of the American Ethnological Society», XXI. N. Y., 1951, стр. 352—357.

⁹² H. Hoijer. Semantic Patterns of the Navaho Language, стр. 370.

о себе знать как в специфическом наборе конструкций предложения, сообщающем его типологии неповторимый облик (оппозиция активной, пассивной, а также «аффективной» конструкции), так и отчасти в составе членов предложения (дифференцированность ближайшего и дальнейшего дополнений в составе его второстепенных членов). Специфично и синтагматическое строение имеющихся здесь моделей предложения, обуславливаемое особенностями синтаксического взаимоотношения компонентов последнего и прежде всего структурной доминацией глагольного сказуемого над остальными словами. Этими особенностями продиктован характерный для представителей активного строя словопорядок, который обобщенно можно отобразить схемами SOV и OVS. Их такие существенные черты, как особенно тесная связь подлежащего со стативным глаголом-сказуемым и ближайшего дополнения с активным глаголом-сказуемым, часто приводят, в условиях обычной приглагольной позиции обоих именных членов, к явлению инкорпорации. В целом синтаксическая доминация глагольного сказуемого над остальными компонентами предложения здесь выражена еще более отчетливо, чем в языках эргативной типологии.

Нельзя, конечно, и пройти мимо целого ряда очевидных черт общности в синтаксическом строе активных языков, разделяемых ими с представителями иных типологий. Так, не приходится сомневаться в характерной и для них двусоставности структуры предложения, предполагающей наличие двух его грамматически конструирующих центров (главных членов) — подлежащего и сказуемого. В то же время встречающиеся бесподлежащие предложения типа '(гром) гремит', '(дождь) идет', 'светает' и т. п. и здесь оказываются на периферии типологии предложения. Вместе с тем функционирующие в активных языках разновидности дополнения также нельзя отнести к составу главных членов — их вхождение на правах всецело подчиненного компонента в состав группы сказуемого не вызывает никаких сомнений. Иногда используемые в описаниях синтаксического строя активных языков понятия агенса («активного актанта») и пациенса («пассивного актанта») фактически соотносятся уже с уровнем универсальной глубинной структуры языка и не могут составить конкуренции синтаксическим по своей сущности понятиям подлежащего и сказуемого.

Что же касается разграничения «двух субъектов высказывания» Э. Сепиром или «субъекта действия» и «субъекта состояния» И. М. Дьяконовым⁹³, выведенного с учетом материала активных языков, то они лежат уже на уровне типологической глубинной структуры последних (к тому же эти термины свидетельствуют о естественном стремлении исследователей отразить ее понятиями субъектно-объектной системы).

Профиль структуры предложения и здесь образует предикативная синтагма, включающая подлежащее и сказуемое, которые образуют два центра, конструирующих предложение. Если сказуемое оказывается грамматически полностью независимым, то подлежащее обнаруживает зависимость от сказуемого (возможно, в частности, управление его падежной формой). Дополнения, определения и обстоятельства не составляют его принципиально необходимых компонентов.

Хотя синтаксический строй активных языков изучен крайне слабо, складывается впечатление, что подлежащее в них в целом отграничено от дополнения несколько менее отчетливым образом (ср. особенности словопорядка в предложении, а также обычную неразвитость падежной парадигмы в имени), чем это имеет место в представителях эргативного строя.

При определении подлежащего различных моделей предложения активной типологии целесообразно учитывать следующие соображения С. Д. Кацнельсона: «Обычно определяют подлежащее как имя в именительном падеже. Такое определение основывается на наивном представлении о взаимоднозначном соотношении формы с содержанием в языке. Отказываясь от морфологического определения подлежащего, мы должны найти для него чисто функциональное определение. Трактовка, исходящая из противоположения темы и ремы, как справедливо заметил М. Докулил, также не достигает цели. Определение подлежащего как «темы» («то, о чем говорится в предложении») ставит подлежащее в прямую связь с актуальным членением предложения, что не вполне соответствует реаль-

⁹³ Э. Сепир. Язык. Введение в изучение речи. М., 1934, стр. 64, 73; И. М. Дьяконов. Эргативная конструкция и субъектно-объектные отношения (на материале языков Древнего Востока). — ЭКПЯРТ. Л., 1967, стр. 99 и след.

ности. Более адекватным представляется вам подход со стороны валентных свойств глагола. Подлежащее — это прежде всего один из именных членов предложения, обусловленных содержательной валентностью глагола. В случае одноместного предиката определение подлежащего трудности не представляет: единственное позиционное «добавление» к глаголу и есть в этом случае подлежащее. . . Но если в безличном предложении с одноместным предикатом выделение падежа с вторичной функцией субъекта не представляет труда, то в предложении с многоместным предикатом это дело нелегкое». Ср. также его высказывание, согласно которому подлежащее определяется «как единственный аргумент одноместного предиката или один из аргументов относительного предиката, стоящий впереди других и притягивающий к себе интенцию словесного предиката»⁹⁴.

Сказанное позволяет легко определить подлежащее одноместного предиката инактивной и активной конструкций предложения: это и есть единственно возможное к нему позиционное добавление. Более сложно решить поставленную задачу в построениях с многоместным предикатом, встречающимся в составе активной конструкции предложения, что заставляет в условиях отсутствия скольконибудь четкой субъектной или объектной интенции глагола обращаться к критериям словопорядка и морфологии.

В языках активной типологии, в которых существует противопоставление активной и инактивной серий личных показателей глагола, всегда имеется возможность «морфологического» определения подлежащего активной конструкции. Таковым является имя, соотносящееся с активным личным аффиксом глагола-сказуемого: ср. камаюра *waḡaɬwija* *wa* *mōja* *o-ɬɛ* 'собака змею укусила' (напротив, инактивный личный аффикс в словоформе активного глагола соотносится с дополнением: ср. камаюра *iwiɬua* *jeɛ-rejɛ* 'ветер на нас дует'). Ближайшим дополнением обычно оказывается имя, которое соотнесено с инактивным личным показателем глагола, либо вовсе не обозначено в последнем (особенно часто глагольная словоформа не

⁹⁴ С. Д. Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, стр. 61—63; Он же. О категории субъекта предложения. «Универсалии и типологические исследования (Мещаниновские чтения)». М., 1974, стр. 111 (также стр. 119).

отражает дальнейшего дополнения). Решение рассматриваемой задачи облегчается общим преобладанием в активных языках одноместных предикатов. В предложении со стативным глаголом сказуемым, содержащим в своей словоформе личный аффикс инактивного ряда, «морфологическое» определение подлежащего не представляет трудностей.

В типологии предложения активных языков профилирующей является корреляция его активной и инактивной конструкций. Первая из них задается активным глаголом-сказуемым, вторая — стативным. Кроме того, здесь выделяема «аффективная» конструкция предложения, обуславливаемая глаголами непроизвольного действия и состояния (в представителях раннеактивного состояния она, по-видимому, может и отсутствовать). Вместе с тем сомнения вызывает наличие здесь его особой посессивной модели, поскольку специального класса *verba habendi* в рассматриваемых языках не существует.

Такое положение может составить хорошую иллюстрацию к тезису об историческом наличии тесной связи глагола определенной семантики со специфической моделью всего предложения, неоднократно подчеркивавшемуся И. И. Мещаниновым. «По семантике глагол, — отмечал он в 1940 г., — в известном периоде развития речи, относится к определенной группе, используемой лишь в определенном строе предложения, закрепляется за определенным значением фразы. Благодаря этому получается ряд сосуществующих различных конструкций предложений, не заменяющих друг друга и каждая со своим точно установленным строем. Все они равноправны и могут использоваться в одном и том же языке. В итоге получается разнообразие в структуре предложений данного языка, причем это разнообразие оказывается точно регламентированным. . . Каждое из них имеет свою структуру и каждое использует глаголы к нему относящейся группы»⁹⁵.

Хотя различие активной и инактивной конструкций прежде всего синтаксическое, оно имеет в определенной мере и лексический характер. Дело в том, что помимо различных лексических классов, к которым относятся организующие их глагольные слова, в качестве подлежа-

⁹⁵ И. И. Мещанинов. Общее языкознание. К проблеме. . . стр. 188; ср.: *Он же*. Структура предложения. М.—Л., 1963, стр. 74—80.

щего первого из них, как правило, выступает имя существительное активного («одушевленного») класса, в то время как в качестве подлежащего второго (особенно в представителях раннего активного строя) — чаще имеем имя инактивного («неодушевленного»).

Лексическое противопоставление в структуре активного строя активных и стативных глаголов обуславливает и специфику функционирующих в них разновидностей дополнений. Вместо дихотомии прямого и косвенного дополнений, характерной для языков эргативной и номинативной типологии, здесь скорее следует говорить о различии двух других их разновидностей. Одно из них целесообразно определить в качестве «ближайшего» (термин впервые, по-видимому, встречается у Фр. Мюллера), другое — в качестве «дальнейшего» (ср. термин *entferntes Objekt* у В. Вундта ⁹⁶). Нелишнее заметить, что в работах А. В. Десницкой первый уже нашел соответствующее использование по отношению именно к тому состоянию протоиндоевропейского, когда в нем дифференцировались «глаголы действия» и «глаголы состояния» ⁹⁷ (встречается его использование и в некоторых работах по синтаксису эргативных языков).

Необходимо подчеркнуть, что понятие ближайшего дополнения языков активной типологии является значительно более широким по своему объему сравнительно с понятием прямого дополнения в представителях эргативного или номинативного. Оно охватывает не только имя объекта переходного действия, но и вообще имя объекта направленности любого активного действия, в частности — движения. Так, в построениях содержания 'идет по дороге', 'идет к реке', 'идет через лес' на активном языке субстантив с предлогом оказывается переводным соответствием ближайшего дополнения (об остаточных морфологических проекциях этого члена предложения в языках ранненоминативной формации см. на стр. 201 настоящей работы). В то же время понятие дальнейшего дополнения активных языков представляется неясным. Поскольку оно встречается и при стативном глаголе-ска-

⁹⁶ И. Wundt. *Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache. Mythos und Sitte*, Bd I, Die Sprache, T. 2, Aufl 2. Leipzig, 1904, стр. 79, 84, 95—96; ср. также: А. М. Пешковский. Указ. соч. стр. 280—282.

⁹⁷ Ср.: А. В. Десницкая. Указ. соч., стр. 143.

зуемом, функционально оно должно приближаться к обстоятельству. В его роли должны выступать имена, обозначающие место и время действия и состояния, а также орудие действия. В целом же сфера его употребления, вероятно, довольно ограничена ввиду того, что в ряде рассматриваемых здесь языков словоформа активного глагола включает проклятики различной обстоятельственной семантики.

Различаются обе основные модели предложения активных языков и по качеству возможных в них дополнений. Если в его активной конструкции могут присутствовать как ближайшее, так и дальнейшее дополнение, то в его пассивной конструкции встречается лишь дальнейшее.

Выделение в активных языках особого класса глаголов непроизвольного действия и состояния обуславливает функционирование в них еще одной специфической конструкции предложения — «аффективной». Реальный состав этого глагольного класса, очерченный выше, делает вполне очевидной большую условность применения данного традиционного термина по отношению к структуре активного строя. Ввиду обычной неразвитости здесь парадигмы именного склонения эта модель всегда представлена исключительно «глагольной» разновидностью, в которой специфика выражаемого содержания всецело передается в словоформе соответствующего глагола. При этом в одних случаях в ней выявляется особый «аффективный» ряд личных глагольных аффиксов (таково положение в языках сиу, мускоги и, по всей вероятности, — в ирокезских), в других по существу имеем дело со своего рода описательным образованием. Примером первого рода могут послужить построения ассинибойн *ne wówarí yasíka mñ-uha* 'газеты, которые ты хочешь, у меня' (где глагольная словоформа содержит префикс 1-го лица «аффективного» ряда *mñ-*) или ирокезского языка сенека *aka-thuⁿ-te* 'я слышу' (где налицо функционально аналогичный личный префикс *aka-*). Встречающееся в подобных конструкциях дополнение с той же долей условности можно квалифицировать в качестве «аффективного». Примерами описательного образования рассматриваемой модели предложения могут явиться фразы языка камаюра (семья тупи-гуарани) *tiağa ne-juká?* 'ты голоден?' букв. 'голод тебя-убивает?' или *tiağa a-je-juká* 'я голоден' букв. 'голо-

дом я убиваюсь' ⁹⁸. Эти построения, несмотря на наличие в них активного глагола *juká* 'убивать', трудно трактовать как активные ввиду наличия в них метафоры, связывающей активный глагол с подлежащим, выраженным субстантивом инактивного класса (о правиле лексического согласования активного имени подлежащего с активным глаголом-сказуемым см. выше стр. 95—96). К таким образованиям, вероятно, можно отнести и метафорические построения типа *h-ekowé-ruré o-je'eŋ* 'он думает' букв. 'в своем сердце он-говорит' на языке камаюра ⁹⁹, аналогии которому особенно характерны для многих представителей раннего номинативного строя (ср. др.-груз. *gulis sitqaj* 'мысль, дума', букв. 'говорение сердца') ¹⁰⁰.

По-видимому, описательные построения «аффективной» конструкции предложения выступают только в тех языках активного строя, в которых оппозиция активного и инактивного начал в той или иной степени близка к оппозиции одушевленного и неодушевленного (представители макросемьи на-дене). Ср., например, построение *ta-tc uwa-djáq* 'он заснул' букв. 'через (-tc) сон (ta) он (uwa) убит (djáq)' на языке тлингит. Содержание 'я голоден' передается на языке навахо точно таким же образом, как в приведенном выше примере из камаюра ¹⁰¹.

Следует заметить, что о логической принадлежности класса «аффективных» глаголов, равно как и обусловливаемой ими специфической конструкции предложения, системе активного строя уже давно в какой-то мере догадывались некоторые отечественные лингвисты. Так, И. И. Мещанинов еще в 1940 г. писал, что «глаголы отмечаемой группы, выделяемые особо от других по своему содержа-

⁹⁸ Л. С. Феррейра. Указ. соч., стр. 107.

⁹⁹ Там же.

¹⁰⁰ Отмечается, что мышление и древним индоевропейцам представлялось как говорение в сердце, что подтверждается исследованиями в области детской психологии (ср.: R. B. Onians. *The Origin of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate. New Interpretations of Greek, Roman and Kindred Evidence also of Some Basic Jewish and Christian Belief.* Cambridge, 1951, 2-nd ed., 1954); также: В. Н. Топоров. Из индоевропейской этимологии. «Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков». М., 1973, стр. 140—148.

¹⁰¹ H. J. Pinnow. *Die Nordamerikanischen Indianersprachen. Ein Überblick über ihren Bau und ihre Besonderheiten.* Wiesbaden, 1964, стр. 85.

нию, теснейшим образом связаны с противопоставлением глаголов действия глаголам состояния»¹⁰². Можно в этой связи упомянуть и высказывание М. М. Гухман, которая проецирует истоки безличных конструкций (последние рассматриваются ею в качестве пережитков аффективных построений. — Г. К.) в индоевропейских языках «в ту эпоху, когда... существовало два разных строя предложения — предложение действия и предложение состояния, с разными синтаксическими нормами»¹⁰³.

Двоякий способ построения предложения с глаголами произвольного действия и состояния в языках активной типологии позволяет высказать соображения по вопросу о генезисе аффективной модели предложения эргативных языков. В свете приведенных фактов возникает возможность связать последний в конечном счете со становлением специфического класса глаголов произвольного действия и состояния, обособляющегося от активных и стативных. Одним из опосредствующих звеньев при этом должны были служить различные описательные построения метафорического характера. В частности, по предположению Л. С. Феррейра, в «аффективном» глаголе *eak^{wa}r* 'вспоминать' языка камаюра еще проступает именной компонент *ea* 'глаз', в то время как его последующий элемент связан либо с *k^{wa}har* 'знать', либо с *k^{wa}a* 'идти, проходить'.

Неизученность вопроса не позволяет остановиться на квалификации дополнения, встречающегося в некоторых построениях с глаголом произвольного действия и состояния.

Отсутствие в представителях активной типологии посессивной конструкции предложения логически вытекает из несформированности в них специального класса *verba habendi*.

Специфично и синтагматическое строение активной конструкции предложения. Под влиянием ложной аналогии с эргативной конструкцией нетрудно прийти к представлению этой модели также в составе двух синтагм с факультативным членом в виде ближайшего дополнения (этому, в частности, способствует и схема передачи

¹⁰² И. И. Мещанинов. Общее языкознание. К проблеме. . ., стр. 177.

¹⁰³ М. М. Гухман. Конструкции с дательным-винительным падежом лица в индоевропейских языках. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1945, № 3—4, стр. 156.

субъектно-объектных отношений в активном построении, данная Ч. Филлмором ¹⁰⁴) — предикативной и комплетивной. Однако фактическое положение вещей показывает, что, в отличие от эргативной конструкции в активной минимально необходимой является лишь одна — предикативная: $N_{act} - V_{act}$ (ср. камаюра *kuni'uma o-magaka* 'мальчик пост' и т. п.). В то же время ближайшее дополнение, объект действия или его направленности, оказывается совершенно факультативным членом активной конструкции.

Доминирующее положение сказуемого во всех моделях предложения, выступающих в языках активной типологии, ощущается еще более отчетливым образом, чем в представителях эргативной. Одним из свидетельств его является характерный для них словопорядок в предложении, а также распространенность здесь инкорпоративной связи сказуемого с определенными именными членами предложения. Об этом же может говорить и обычная морфологическая неформленность синтаксически связанных с глаголом-сказуемым субстантивов, представляющихся в большинстве случаев своего рода лексическими конкретизаторами глагольной словоформы.

Линейные отношения слов в представителях активного строя изучены очень слабо. Можно утверждать, по-видимому, что в целом они оправдывают тезис, согласно которому в подавляющем большинстве языков возможны несколько типов порядка слов, из которых один является доминирующим ¹⁰⁵. В качестве последнего, подобно представителям эргативного строя, обычно выступает словопорядок $S(O)V$ (где *S* обозначает подлежащее, *O* — ближайшее или дальнейшее дополнение, и *V* — сказуемое), хотя в некоторых случаях с ним может конкурировать и порядок $(O)VS$.

Следует думать, что такая схема «линеаризации», общая как для активной конструкции предложения, так и для пассивной (а также, вероятно, и для построений с глаголами непроизвольного действия и состояния), отражает здесь характерные синтаксические взаимосвязи

¹⁰⁴ Ср.: *Ch. Fillmore. The Case for Case. «Universals in Linguistic Theory», N. Y. (Winston), 1968, стр. 53; ср.: Г. А. Климов. Указ. соч., стр. 218—219.*

¹⁰⁵ Ср.: *Дж. Гринберг. Указ. соч., стр. 118.*

членов предложения. Так, можно предположить, что обобщающая схема S(O)V, с одной стороны, подчеркивает тесное синтаксическое единство подлежащего и сказуемого, выраженного стативным глаголом (ср. столь частое отсутствие дальнейшего дополнения в составе инактивной конструкции предложения), а с другой — такое же единство ближайшего дополнения и сказуемого, выраженного активным глаголом (ср. в этой связи подобный порядок расположения членов инкорпорирующего комплекса). По существу аналогичную интерпретацию синтаксических отношений допускает и схема типа (O)VS.

В большинстве рассматриваемых языков реализована первая схема. Она представлена, в частности, в ингредиентах макросемьи на-дене. Ср. фразы навахо *diné dèèya* 'человек начал идти', *diné ʔaškiì yìyìltsá* 'человек видел мальчика', *ši biìh yìltsá* 'я оленя видел'. Ср. также предложение *dušì qok!lìt! akʷcitAn* 'его дочь любила собирать ягоды' языка тлингит, где *du-sì* — 'его-дочь', *qok!lìt!* — 'ягоды', и *a-kʷ-ci-tAn* — сказуемое (в котором *a-* — префикс объекта 3-го лица, *kʷ-* — модальный префикс, *ci-* — префикс оптативной семантики, *-tAn* — 'собирать', *θ* — субъект 3-го лица) ¹⁰⁶. Аналогичные иллюстрации можно привести и по языкам сиу. Так, в частности, в ассинибойн имеем: *wamni táka ne šúka kttépi* 'большой орел собаку убивает', *sá nup ícága* 'два дерева растут', *he miš George Oldwatch wamnaka* 'я видел Джорджа Олдуотч' ¹⁰⁷. По-видимому, подобное же словорасположение налицо в языках мускоги ¹⁰⁸. Наконец, такая же картина засвидетельствована в представителях семьи тупи-гуарани. Ср. предложения инактивной конструкции *írapa amoeté* 'озеро далеко', *i-kaɽa i-rowij* 'его кость тяжелая', а также активной *waɽaɽuwijawa mōja o-u'ú* 'собака змею укусила', *a'ewapa iwira w-ari* 'они дерево сожгли', *kupu'uma o-ma-raká* 'мальчик поет' на языке камаюра (впрочем в последнем языке засвидетельствован и порядок VS: *íwaté iwa-*

¹⁰⁶ H. Hoijer. Navaho. «Lingua», v. 17, 1966, № 1—2, стр. 96—98; T. Milewski. La structure de la phrase dans les langues indigènes de l'Amérique du Nord, стр. 82—83. — Для наблюдений за словопорядком в языке тлингит можно рекомендовать: H. V. Velten. Указ. соч., стр. 168—180.

¹⁰⁷ N. B. Levin. The Assiniboin Language, стр. 21, 23, 43.

¹⁰⁸ F. G. Speck. Some Comparative Traits of the Maskogean Languages, стр. 475.

kúpa 'высоко туча')¹⁰⁹. Легко объяснимую аномалию из общего правила составляет распространенный в испанизованной вариации языка гуарани словопорядок SVO.

Интересно, что в языке вичита (из группы ирокуа-каддо), обнаруживающем некоторые черты номинативного строя, словопорядок (O)VS конкурирует со схемой S(O)V—ka : hi : k'a ti?i : ys wi : с 'женщину увидел мужчина'//wi : с ka : hi : k'a ti?i : ys 'мужчина женщину увидел' (ср. здесь также альтернацию схем VS и SV при одноместном предикате: tihish wi : с 'ушел мужчина'//wi : с tihish 'мужчина ушел')¹¹⁰. Нельзя не добавить в этой связи, что вообще словопорядок OVS, по-видимому, наиболее распространен в языках Америки.

В соответствии со сказанным следует выразить сомнение в адекватности одной из универсальных импликаций, сформулированных Дж. Гинбергом, гласящей, что «если в языке глагол следует за именным субъектом и именным объектом и такой порядок является доминирующим, то язык почти всегда имеет падежную флексию»¹¹¹. Поскольку в представителях активной типологии при доминации словопорядка SOV, как правило, не развита падежная парадигма имени, они, естественно, составляют серьезное исключение из намечаемой закономерности (известны и другие исключения подобного рода).

Что же касается словопорядка компонентов атрибутивной синтагмы, то он имеет в рассматриваемых языках двойкий характер. В словосочетании определяемого имени и определения, выраженного основой стативного глагола, последнее постоянно занимает постпозицию. Напротив, определение, представленное субстантивом, всегда предшествует своему определяемому (примеры см. выше на стр. 107).

Практически общей чертой языков активного строя является инкорпоративная связь сказуемого с подлежащим или ближайшим дополнением. Явление инкорпорации слабее представлено в языках менее строго выдержанной активной типологии — мусоги, ирокезских, некоторых

¹⁰⁹ J. C. Феррейра. Указ. соч., стр. 102—103, 106.

¹¹⁰ D. S. Rood. Agent and Object in Wichita. «Lingua», v. 28, 1971, № 1—2, стр. 101.

¹¹¹ Дж. Гринберг. Указ. соч., стр. 141.

из группы *сиу* (например, *хидатса*) ¹¹². Однако в целом этот способ синтаксической связи членов предложения распространен здесь несравнимо шире, чем в представителях других типологий, в том числе — эргативной (необходимо учитывать, что высказывание И. И. Мещанинова, согласно которому «слитные формы синтаксического назначения имеют преобладающее, а может быть, и исключительное использование только в языках эргативного строя предложения» ¹¹³, относится к тому времени, когда активный строй еще не был типологически обособлен от эргативного).

За этим явлением стоит факт очень тесного синтаксического единства, наблюдающегося в активных языках между активным глаголом-сказуемым и ближайшим дополнением, с одной стороны, и стативным глаголом-сказуемым и подлежащим, с другой. Своей линейной предпосылкой явление инкорпорации имеет обычную приглагольную позицию обоих названных именных членов предложения (как правило, это препозитивное положение по отношению к глаголу).

Обе разновидности инкорпоративной связи широко известны в языках тупи-гуарани (особенно в случае, если дополнение представлено обозначением какой-либо части тела). Так, для инкорпорации ближайшего дополнения ср. такие формы, как *акă-уоһей* 'мыть чью-либо голову', *акă-уекă* 'ломать чью-либо голову', *рò-һей* 'мыть чьи-либо руки', *уе-рò-гарі* 'обжечь чьи-либо руки' языка гуарани. Примерами инкорпорации дальнейшего дополнения могут служить формы *акă-гакú* 'быть горячим головой', *акă-газі* 'быть больным головой' того же языка ¹¹⁴. По-видимому, таково же в принципе положение в ряде представителей макросемьи на-дене. Ср., например, так называемые именные префиксы (*qla* 'рот, губы', *tu* 'ум' и др.) в глаголе языка тлингит и их более многочисленные аналоги в глаголе языка хайда ¹¹⁵. Отмечаются факты инкорпорации

¹¹² Ср.: *E. Sapir. The Problem of Noun Incorporation. . . ; Г. М. Корсаков. Инкорпорирование в палеоазиатских и североамериканских индейских языках. «Советский Север», IV, 1939.*

¹¹³ *И. И. Мещанинов. Эргативная конструкция в языках различных типов, стр. 31.*

¹¹⁴ Ср.: *E. Gregores, J. Suarez. A Description of Colloquial Guarani, стр. 124—125; Pe A. Lemos Barbosa. Perfida lingua tupi, стр. 181.*

¹¹⁵ *J. R. Swanton. Указ. соч., стр. 173—174; Он же. Haida. «Handbook of American Indian Languages», pt. 1, стр. 219—227.*

и в атапаскских языках: в частности, такую связь с ближайшим и дальнейшим дополнением знает активный глагол в языке догриб ¹¹⁶.

По-видимому, выступает это явление и в представителях семьи сиу. Ср. словоформы языка дакота саⁿ-kaśka 'связывать дрова', саⁿ-baśdeśa 'видеть лес' (при саⁿ 'лес, дрова'), маⁿ-kiśa^uyaⁿ 'возделывать поле' (при маⁿ 'поле'), с одной стороны, и таⁿ-iⁿuśkiśa 'лежать на земле' (при таⁿ 'земля'), хаⁿ-maⁿi 'ходить ночью', хаⁿ-waⁿka 'остаться на ночь' (при хаⁿu^etu 'ночь'), с другой. Следует заметить, впрочем, что Фр. Боас и Дж. Суонтон рассматривали такие образования в качестве сложений ¹¹⁷.

Относительно слабее факты инкорпорации представлены в группе мускоги. Здесь инкорпорируются названия некоторых частей тела, в частности, пок- 'шея', fik- 'сердце', сок- 'рот' (в этом отношении более достоверны сведения по языку собственно мускоги). Будучи здесь ныне уже непродуктивным явлением, оно проецируется в праязыковое состояние как активно функционировавшее в прошлом ¹¹⁸.

Инкорпорация имени неоднократно отмечалась, наконец, и в языках ирокуа-каддо. В языке ошондага в такую связь вступают стативный глагол-сказуемое и подлежащее (ср. ʔonqhsaká-yoh 'дом — старый' при ʔokaú 'дом') и активный глагол-сказуемое и ближайшее дополнение (ср. Harry hanqhayéthwas 'Харри сажает хлеб' при onéha 'хлеб'). Хотя в этом языке и возможны раздельные построения типа ʔokaú ne? kanqhsa? 'дом — старый' и Harry hayéthwás ne? onéha? 'Харри сажает хлеб', они скорее встречаются в речи детей или недостаточно хорошо владеющих языком. При этом, как это впервые заметил еще Э. Сепир, как правило, в инкорпоративную связь здесь способны вступать только имена инактивного («неодушевленного») класса: исключение составляют всего несколько

¹¹⁶ Ср.: W. Davidson. A preliminary analysis of active verbs in Dogrib. «Studies in the Athapaskan Languages». University of California Publications in Linguistics, v. XXIX. Berkeley—Los Angeles, 1963, стр. 49, 52.

¹¹⁷ Ср.: Fr. Boas., J. R. Swanton. Siouan Dakota (Teton and Santee Dialects). «Handbook of American Indian Languages», pt. 1, стр. 893.

¹¹⁸ M. R. Haas. Noun Incorporation in the Muskogean Languages. «Language», v. 17, 1941, № 4, стр. 311—315.

лексем, обозначающих людей ¹¹⁹. Это явление было зафиксировано и в ирокезских языках сенека и могавк, в которых в «глагольный комплекс» включаются «прямой и косвенный объекты»: ср. k-ñu'sa-niyũthe 'я поставил котел на огонь' в сенека или ke-wẽna-weiðhõ 'я понимаю язык' в могавк ¹²⁰.

Таким образом, для языков активной типологии особенно очевидна справедливость следующего высказывания С. Д. Кацнельсона: «В содержательном плане глагольный предикат — это нечто большее, чем просто лексическое значение. Выражая определенное значение, он в то же время содержит в себе макет будущего предложения. Предикат имеет «места» или «гнезда», заполняемые в предложении словами, категориальные признаки которых падаются в соответствии с категориальным признаком «гнезда». Сочленение внешних форм в предложении воспроизводит лишь частично внутреннее сочленение лексических значений, предопределенное во многом валентностью предикативного признака и скрытыми категориями «заполнителей» его гнезд. Скрытые категории глагола определяют его валентность. Скрытые категории имен определяют их способность замещать «места» при глаголе» ¹²¹.

Принципы функционирования активного строя заставляют отрицательно отнестись к известной теории пассивности конструкции предложения с активным глаголом в североамериканских языках, сформулированной в свое время К. Уленбеком. Он писал в этой связи следующее: «В языке дакота или сиу в узком смысле слова следует отчетливо различать два ряда местоименных элементов в спряжении (к некоторым неправильностям мы вернемся ниже): один — с активно-переходным, другой — с инактивно-пассивным значением. В качестве логического субъекта глагола действия, будь то переходный или непереходный глагол, для первого лица единственного числа употребляется показатель wa- (-wa-), для второго лица единственного числа ya-(-ya-), для инклюзивного двойственного числа uⁿ-(-uⁿ-), причем эти элементы префигируются при одних глаголах и инфигируются при других.

¹¹⁹ W. L. Chafe. A Semantically Based Sketch of Onondaga. стр. 25.

¹²⁰ N. M. Holmer. The Structure of the Iroquoian Languages. «Upsala Canadian Studies». I. Upsala, 1952, стр. 29.

¹²¹ С. Д. Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление, стр. 88.

Множественное число первого лица образуется с помощью суффикса *-pi* — формы множественного числа от инклюзивного двойственного, которое во втором лице, наоборот, представляет собою форму единственного числа, снабженную суффиксом множественного числа. В третьем лице нет никакого определенного префикса или инфикса: в парадигме единственного числа появляется чистая глагольная основа; во множественном числе, если глагол имеет отношение к существу одушевленного класса, к чистой основе присоединяется суффикс *-pi*. Интранзитивные формы от глагола *kaška* 'связывать': *wakaška* 'я связываю', *yakaška* 'ты связываешь', *kaška* 'он связывает', *uⁿkaška* 'мы (ты и я) связываем', *yakaškarpi* 'вы связываете', *kaškarpi* 'они связывают'. В качестве примера инфигирования может служить *maṇⁿ* 'красть': *maṇapoⁿ* 'я краду', *maṇapoⁿ* 'ты крадешь', *maṇoⁿ* 'он крадет', *mauⁿpoⁿ* 'мы (ты и я) крадем', *mauⁿpoⁿpi* 'мы крадем', *maṇapoⁿopi* 'вы крадете', *maṇoⁿpi* 'они крадут'. Поскольку из сравнения перечисленных форм с переходными и инактивными парадигмами непереходная трактовка форм *wakaška*, *maṇapoⁿ* и т. д. мыслится, собственно, как пассивная, то правильный перевод должен будет звучать: 'мною (собственно тобою, им, нами обоими, нами, вами, ими) связывается или крадется'. Второй инактивно-пассивный ряд аффигуемых местоимений употребляется для того, чтобы выразить логический объект переходного действия и субъект инактивного глагола состояния и положения; аффиксы этого ряда, которые в переходном глаголе, по видимому, будут иметь то же самое значение, что и в инактивном глаголе, следует считать за выразителей грамматического субъекта. В таком случае нам не остается ничего другого, как признать за первым рядом логического субъекта значение, подобное значению творительного падежа, и рассматривать весь глагол действия как пассивный. Это станет яснее, если я путем рассмотрения инактивно-пассивных аффиксов выявлю почти полный параллелизм между логическим объектом переходного и субъектом инактивного спряжения. Второй ряд местоименных аффиксов в глаголе языка дакота предстает в следующем виде. Для первого лица единственного числа употребляется аффикс *ta-* (*-ta-*), для второго лица единственного числа *ni-* (*-ni-*), для инклюзивного двойственного числа *uⁿ-* (*-nⁿ-*), в то время как множественное число всюду

образуется путем присоединения суффикса -*ri* к глагольной форме. . . Для третьего лица глагола состояния и положения не имеют никакого признака субъекта и в соответствии с этим находится отсутствие аффикса для логического объекта третьего лица единственного числа в переходном спряжении, хотя множественное число логического объекта выражается посредством элемента *wíca-* (*-wíca-*) . . .»¹²² Вследствие подобного подхода такие формы языка дакота, как *matayano* 'меня ты крадешь', *matano* 'меня он крадет', *maníno* 'тебя он крадет' К. Уленбек находил более адекватным переводить как 'я тобою украден', 'я им украден' и 'ты им украден'¹²³.

Наиболее общая предпосылка такой точки зрения заключается в фактическом приравнивании оппозиции активного и стативного глаголов рассматриваемых языков к оппозиции транзитивного и интранзитивного, как она реализована в номинативных языках, что находит свое очевидное отражение и в использовавшейся К. Уленбеком терминологии. Должно быть естественным, однако, что возможное функционирование в активном глаголе двух серий личных аффиксов никоим образом не способно сообщить его диатезе залогового характера, только наличие которой и оказывается, как известно, необходимым условием конструктивного своеобразия страдательного оборота. В целом концепция К. Уленбека должна быть расценена как попытка описать соответствующие факты языков активной типологии с помощью аппарата номинативной грамматической традиции. Не приходится здесь говорить и о сколько-нибудь пассивном или «орудийном» восприятии действующего участника ситуации в речевом сознании говорящих на этих языках, которое постулировалось в прошлом, исходя исключительно из анализа языковых форм (впрочем, как справедливо заметила еще С. Л. Быховская, далеко не во всем является корректной и критика «теории пассивности» активного глагола¹²⁴).

¹²² К. Уленбек. Указ. соч., стр. 84—86.

¹²³ Там же, стр. 88—89.

¹²⁴ Ср.: С. Л. Быховская. «Пассивная» конструкция в афетических языках. — «Язык и мышление», II, 1934, стр. 60—62.

МОРФОЛОГИЯ

Отчетливую структурную специфику обнаруживает в представителях активного строя и морфологическая система. В принципе, в отличие от языков классной типологии, в которых морфология, строго говоря, далеко не всегда отделена от словообразования, здесь она уже представлена как таковая. Вместе с тем она развита еще не в такой степени, как это обычно имеет место в эргативных или номинативных языках. Бросается в глаза и неравномерная развитость морфологической системы — глагол характеризуется значительно более богатым набором категорий, чем имя существительное: разветвленной системе спряжения здесь противостоит очень бедная система склонения. Таким образом, есть основания считать, что морфологический аспект языков активного строя как будто подтверждает точку зрения Г. Шухардта, А. Тромбетти, А. Мейе, Г. Ройена, К. Германа и многих других лингвистов о «первичности» глагола по сравнению с именем¹²⁵. Впрочем и глагольное спряжение не имеет здесь сквозного характера ввиду дефектности словоизменительной парадигмы стативного глагола, различающего значительно меньше, по сравнению с активным, конъюгационных единиц. Нередко наблюдаются отличия обоих глагольных классов и по числу алломорф корневой морфемы.

Наконец, необходимо подчеркнуть яркое своеобразие самого набора морфологических категорий, свойственных структуре языков активной типологии. Так, в глаголе это своеобразие обуславливается различием двух серий личных аффиксов (активного и инактивного рядов), а также таких морфологических категорий, как способ действия или аспект и версия (центробежная и нецентробежная). Для имени существительного здесь характерна категория притяжательности, дифференцирующая формы органической (неотчуждаемой) и неорганической (отчуждаемой) принадлежности. В высшей степени интересен

¹²⁵ Ср.: Г. Шухардт. Происхождение языка. — В кн.: Г. Шухардт. Избранные статьи по языкознанию. М., 1950, стр. 85—88; А. Trombetti. Elementi di glottologia. Bologna, 1922—1923, с. п. 223, 270; А. Meillet. Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 1926, стр. 175; G. Royen. Die nominalen Klassifikations-Systeme in den Sprachen der Erde, стр. 895; К. Herman. Die Anfänge der menschlichen Sprache. Prag, 1936, стр. 76.

факт материального тождества личных глагольных аффиксов инактивного ряда с именными личными аффиксами органической принадлежности. При наличии в языке парадигмы склонения типологическую специфику последней определяет противопоставление активного и инактивного падежей.

Нетрудно убедиться в том, что названные морфологические импликации активности строго координированы с фундаментальными принципами структурной организации лексики и синтаксиса рассматриваемых языков.

При характеристике глагольной морфологии представителей активного строя прежде всего обращает на себя внимание «фрагментарный», точнее — несквозной, характер парадигмы глагольного словоизменения. Он обусловлен теми серьезными расхождениями, которые существуют здесь между морфологической структурой активного и стативного глаголов. Среди морфологических категорий глагола важнейшее место принадлежит категориям лица, иногда синкретически слитого с подклассом (животного, человека и т. д.), и способа действия. Однако и по отношению к обоим последним стативный глагол очень часто оказывается ущербным: он различает лишь очень ограниченное число противопоставлений способов действия (с этим оказывается тесно связанной и бедность алломорфического варьирования его основы) и нередко не знает сколько-нибудь последовательного изменения по лицам¹²⁶. Исключительной особенностью активного глагола следует считать функционирование в нем диатезы незалогового характера — версии, противопоставляющей его центробежную и нецентробежную формы.

Важнейшей импликацией активности в сфере глагольной морфологии является противопоставление двух функционально различных рядов или серий личных аффиксов (эта черта присутствует во всех ныне известных представителях активной типологии). В соответствии со своей основной функцией соотнесения глагола с именными членами предложения, обозначающими активного и инактивного участников ситуации, они должны быть квалифицированы в качестве активного и инактивного. Личный

¹²⁶ Ср., например: *Eung-Do Cook. Sarcee Verb Paradigme*. «National Museum of Man. Mercury Series. Ethnology Division». Ottawa, 1972, № 2.

аффикс активной серии обозначает субъект действия, выраженного активным глаголом, а личный аффикс пассивной — объект действия (разумеется, не только так называемый прямой объект), передающегося активным глаголом и субъект «действия», или точнее — состояния, выраженного стативным глаголом. Отсюда должна быть очевидной неадекватность иногда встречающейся в описаниях активных языков классификации этих серий как субъектной и объектной (последняя приводит, в частности, к столь неудачным формулировкам, как, например, констатации того, что «объектный местоименный префикс встречается только в транзитивных и некоторых пассивных»¹²⁷ глаголах). При несомненной субъектно-объектной диффузности показателей второй серии не вполне охватывают субъектное отношение и показатели первой.

В качестве наиболее яркой иллюстрации такого разграничения двух рядов личных аффиксов глагола может служить система показателей, имеющаяся в языке гуарани (в других представителях семьи тупи-гуарани находим аналогичные системы):

| | | Активн. ряд | Пассивн. ряд |
|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| 1 л. } | ед. ч. | a- | xe- |
| 2 л. } | | ge- | nde- |
| 3 л. } | | o- | i- |
| 1 л. (инкл.) } | мн. ч. | ja- | ñande- |
| 1 л. (экскл.) } | | go- | ore- |
| 2 л. } | | pe- | pende- |
| 3 л. } | | o- | i- |

Принципиально таким же образом выглядит схема личной префиксации в языках сиу. Ср., например, два ряда личных глагольных показателей в дакота на стр. 134:

Согласно комментарию Фр. Боаса и Дж. Суонтона, в языках сиу «субъектные и объектные личные местоимения отчетливо различаются. Первые являются субъектами всех глаголов, передающих деятельность (activities), по-

¹²⁷ H. Hoijer. Athapaskan Morphology. «Studies in American Indian Languages». University of California Publications in Linguistics, v. 65. Berkeley—Los Angeles, 1971, стр. 125.

| | | | Активн. ряд | Инактивн. ряд |
|---|--------|--|------------------|------------------|
| 1 л. } 2 л. } 3 л. } | ед. ч. | | wa- | ma-, m(i)- |
| | | | ya- | n(i)- |
| | | | θ | θ |
| 1 л. (инкл.) } 1 л. (экскл.) } 2 л. } 3 л. } | мн. ч. | | u ⁿ - | u ⁿ - |
| | | | wa- | ma- m(i)- |
| | | | ya- | n(i)- |
| | | | θ | θ |

следние являются объектами транзитивных глаголов, а также субъектами глаголов, выражающих состояния»¹²⁸. Если оставить в стороне аффиксальную неоформленность здесь 3-го лица, то обращает на себя внимание лишь недифференцированность инклюзивной формы 1-го лица множественного числа, имеющая, впрочем, свою мотивацию опять-таки с точки зрения принципов активной типологии языка (см. стр. 111 настоящей работы).

Другие иллюстрации подобного распределения личных глагольных аффиксов представлены в языках тлингит и хайда. В первом из них налицо следующая картина:

| | | | Активн. ряд | Инактивн. ряд |
|----------------------------|--------|--|----------------|------------------|
| 1 л. } 2 л. } 3 л. } | ед. ч. | | x(a)- | xAt- |
| | | | i- | i- |
| | | | θ | a- |
| 1 л. } 2 л. } 3 л. } | мн. ч. | | tu- | ha- |
| | | | yī- | yī- |
| | | | θ | a- |

При этом подчеркивается, что «субъектное местоимение выступает в роли субъекта всех активных глаголов, независимо от того, имеют они при себе объект или нет»¹²⁹.

¹²⁸ Fr. Boas and J. R. Swanton. *Siouan Dakota (Teton and Santee Dialects)* with remarks on the Ponca and Winnebago. «Handbook of American Indian Languages», pt I, стр. 890, а также 908—909.

¹²⁹ J. R. Swanton. *Tlingit.*, стр. 170—171.

Сходное положение засвидетельствовано и в языке хайда:

| | | Активн. ряд | Инактивн. ряд |
|--------|--------|-------------|---------------|
| 1 л. } | ед. ч. | t- | di- |
| 2 л. } | | da- | dañ- |
| 3 л. } | | la- (nañ)- | la- (nañ)- |
| 1 л. } | мн. ч. | t!aA'ñ- | iL! |
| 2 л. } | | da!A'ñ- | da!A'ñ- |
| 3 л. } | | L!-(ga-) | L! (ga-) |

Как отмечает Дж. Суонтон, «субъектная серия используется как субъект транзитивного глагола и активного глагола даже тогда, когда объект не выражен. Объектные местоимения применяются для передачи субъекта глаголов, выражающих состояния и качества»¹³⁰ (а также ближайшего объекта активных глаголов, почему они, собственно, и характеризуются автором в качестве объектных. — Г. К.). Наблюдаемые в обоих языках отклонения от принципа материального противопоставления форм либо 2-го лица, либо 2-го лица множественного числа и 3-го лица, связаны с тем, что тлингит и хайда, по всей вероятности, иллюстрируют раннеактивное состояние.

Иногда встречаются более сложные парадигмы личного словоизменения глагола, обусловленные варьированием материала аффиксов, в целом не нарушающие охарактеризованного бинарного принципа¹³¹.

Несколько отличная картина засвидетельствована в атапаскских языках, в которых аналогичное функциональное содержание передается не двумя сериями материально дифференцированных личных показателей, а позиционным противопоставлением в составе глагольной словоформы ингредиентов по существу их единого ряда. При этом в последовательности двух личных аффиксов первый играет роль инактивного, второй — активного.

¹³⁰ J. R. Swanton. Haida. «Handbook of American Indian Languages», pt. I, стр. 256.

¹³¹ Ср.: F. M. Robinett. Hudatsa III: Stems and Themes. — IJAL, v. 21, 1955, № 3, стр. 212—213.

Таково же положение в примыкающем к атапаскским языке эяк¹³².

В некоторых из рассматриваемых языков (из семей сиу, мускоги, ирокуа-каддо) существует еще один ряд личных аффиксов, служащих для обозначения субъекта глаголов непроизвольного действия. Такой префиксальный ряд засвидетельствован, например, в языке ассинибойн:

| Лицо | Ед. число | Мн. число |
|------|-----------|----------------------------------|
| 1 | mn- | u- (инкл.) u-...-pi- (экскл.) |
| 2 | n- | n-...pi- |
| 3 | θ | θ-...pi |

Ср., например, словоформы mn-uhási 'у меня нет', n-uha 'у тебя есть', uha 'у него есть' ассинибойн и словоформу aka-thu³te 'я слышу' ирокезского языка сенека, где aka- — префикс 1-го лица этого же ряда¹³³.

Налицо определенная дистрибуция всех перечисленных показателей в глагольной словоформе. В структуре активного глагола чаще всего представлен только личный аффикс активной серии, хотя в некоторых языках (в частности, в тлингит и хайда) помимо него здесь обычно имеется и аффикс пассивной серии, указывающий на объект действия. В формах 3-го лица субъекта в активном глаголе может отсутствовать соответствующий показатель активного ряда при наличии лишь аффикса пассивного, обозначающего объект действия (ср. формы ʔe-purā '(он) меня бьет', nde-purā '(он) тебя бьет' гуарани и формы ʔ-òòʔi '(он) меня видит' и n-òòʔi '(он) тебя видит' в навахо). В соответствии с глубинной структурой активного строя личные показатели активной серии всегда соотносятся с актив-

¹³² E. Sapir and H. Hoijer. The Phonology and Morphology of the Navaho Language, стр. 86—89; также: Fang-Kuei Li. A Type of Noun Formation in Athabaskan and Eyak. — IJAL, v. 22, 1955, № 1, стр. 47.

¹³³ N. B. Levin. The Assiniboine Language, стр. 32—33; ср.: H.-J. Pinnow. Die Nordamerikanischen Indianersprachen, стр. 84—85.

ным участником ситуации, а показатели инактивной — с инактивным (на уровне синтаксической структуры предложения первые соотносятся с подлежащим, вторые — с ближайшим дополнением). Необходимо учитывать лишь, что в ряде активных языков встречаются так называемые «слитные» формы личных аффиксов активного глагола, в которых активный и инактивный соучастники ситуации передаются синкретически: ср. префикс *ši-* 'я+тебя//вас' 'я+тебе//вам' в дакота или префиксы *ogo-* 'я+тебя//тебе' и *oro-* 'я+вас//вам' в камаюра ¹³⁴.

Напротив, в структуре стативного глагола может быть представлен только личный аффикс инактивного ряда, служащий указанием на подлежащее (инактивный участник). В представителях активного строя встречаются и безличные формы 3-го лица стативного глагола.

Наконец в глаголе непроизвольного действия неописательного образования присутствует лишь личный аффикс «аффективной» серии, соотносящийся с подлежащим.

Для того, чтобы убедиться в принципиальном отличии механизма функционирования этих аффиксов от распределения личных аффиксов эргативной и абсолютной серий в эргативных языках, достаточно привести минимум иллюстраций.

Для языков тупи-гуарани характерен одноличный принцип спряжения (лишь небольшая часть активных глаголов имеет здесь и двухличные формы). Ср., например, следующие словоформы активного глагола в гуарани: *a-me'e* 'я даю (то)', *ge-me'e* 'ты даешь (то)', *o-me'e* 'он дает (то)', *a-wewe* 'я лечу', *ge-wewe* 'ты лежишь', *o-wewe* 'он летит' при *še-pete* 'меня бьет (он)', *nde-pete* 'тебя бьет (он)', *ñande-pete* 'нас (инклюзив) бьет (он)'. Формы стативного глагола в том же языке — *še-mirĩ* 'я скромн', *nde-mirĩ* 'ты скромн', *i-mirĩ* 'он скромн'.

В языках сиу при одноличности стативного глагола (например, *ma-wašte* 'я добрый', *ma-yazú* 'я болен', *ma-kakíza* 'я страдаю' в ассинибойн) активный имеет как одноличные, так и двухличные формы: ср. *wa-kaška* 'я связываю (то)', *ya-kaška* 'ты связываешь (то)', *ma-ya-kaška* 'меня ты связываешь', *ma-kaška* 'меня связывает (он)', *ñi-čaška* 'тебя связывает (он)' в дакота.

¹³⁴ Fr. Boas and J. R. Swanton. Указ. соч., стр. 909; Л. С. Феррейра. Язык камаюра. . . , стр. 18.

Следует подчеркнуть и то обстоятельство, что личные аффиксы инактивной серии в составе словоформы активного глагола демонстрируют характерное неразличение прямого и косвенного объектов, соотносясь с более широким по своему объему понятием ближайшего дополнения: ср. а-та́-ра 'меня бьет (он)' при та́-ккú 'мне дал (он)', а-пí-ра 'тебя бьет (он)' при пí-сú 'тебе дал (он)'. 44

Таким образом, по согласованию личных аффиксов глагола в языках активного строя всегда имеется возможность формального определения подлежащего и ближайшего дополнения (дальнейшее дополнение в глагольной словоформе не находит отражения). Личные аффиксы активного ряда всегда соотносены с подлежащим. Аффиксы инактивного ряда в стативном глаголе соотносятся с подлежащим, в активном — с ближайшим дополнением. Наконец, личные показатели «аффе́ктивного» ряда в словоформе глагола непроизвольного действия и состояния указывают на подлежащее.

Приводившиеся в этой главе примеры выявляют еще одно интересное обстоятельство — факт, что в активных языках 3-е лицо очень часто получает нулевое (а иногда — по существу лишь классное) оформление. Будучи особенно характерным для языков на-дене и сиу, оно в той или иной степени дает о себе знать и в других случаях. Ср., в частности, довольно общее правило отсутствия в глагольной словоформе показателя 3-го лица субъекта, если в роли объекта выступают 1-е или 2-е лицо, распространенность безличных форм стативного глагола и т. п. Более того, Г. Ф. Гизетти приходит к выводу, что «в гуарани отсутствует местоимение третьего лица. Все лица, не принимающие участия в беседе, выражаются очень нечетким образом. Иногда кажется, что мы сталкиваемся с третьим лицом, однако и при этом речь идет не о подлинной личной основе, а об объектной основе, которая передает абстрактное понятие возможного участника беседы. Основа, замещающая в современном гуарани (имеется в виду испанизированный вариант речи. — Г. К.) местоимение третьего лица испанского языка, неизвестна в старом гуарани и должна рассматриваться как вклад из испанской грамматической структуры в туземный фонд»¹³⁵. Сказанное,

¹³⁵ G. F. Guizzetti. *Langue, conception du monde et perception de l'espace chez les Guaraní*. «Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg», 1962, № 7, стр. 42.

равно как и еще более показательные в этом отношении факты представителей классного строя, заставляет вспомнить неоднократно высказывавшуюся в языкознании прошлого и в недавнее время энергично поддержанную Э. Бенвенистом гипотезу об исторически неличном характере 3-го лица¹³⁶. Так, например, М. М. Гухман формулировала ее следующим образом: «... во многих языках, где еще прозрачна генетическая связь глагола с именем, 3-е лицо есть просто имя; с другой стороны, в некоторых из этих языков имеются специальные местоимения первого и второго лица, но 3-е лицо может быть выражено множественством терминов. Таким образом, как лица 1-е и 2-е выделяются сначала, 3-е лицо вообще первоначально не было лицом. . . Первое выражение субъекта-действителя произошло в отношении 1-го и 2-го лица. Так получилось, что генетически только 1-е и 2-е лица получили специальное глагольное оформление, выделяющее их наличием активных местоименных показателей, подчеркивающих субъект как причину действия. В этом смысле первыми показателями субъекта при глаголе в подлинном понимании этого слова были активные местоименные аффиксы 1-го и 2-го лица переходного глагола. Лишь по аналогии с ними и пассивные местоименные элементы интранзитивного глагола, генетически отнюдь не субъективные, на более поздней стадии, когда глагол окончательно выделился и стал самостоятельной категорией, воспринимались как показатели субъекта при непереходном глаголе. Тогда же и 3-е лицо интранзитивного глагола могло получить в некоторых языках по аналогии пассивный аффикс. . .»¹³⁷

Поскольку в представителях активного строя отсутствует какое-либо противопоставление переходности ~ непереходности в глаголе, в них неизвестна и такая специфическая категория транзитивного глагола многих номинативных языков, как залог. Даже в морфологической структуре активного глагола, характеризующейся в некоторых

¹³⁶ Ср.: *W. Wundt*. Указ. соч., стр. 164; *Н. Я. Марр*. О лингвистической поездке в восточное Средиземноморье. «Изв. ГАИМК», вып. 89, 1934, стр. 128; *И. И. Мещанинов*. Новое учение о языке. Стадиальная типология. Л., 1936, стр. 67 и след.; *Э. Бенвенист*. Природа местоимений. — В кн.: *Э. Бенвенист*. Общая лингвистика. М., 1974, стр. 285—291.

¹³⁷ *М. М. Гухман*. Происхождение строя готского глагола. М.—Л., 1940, стр. 141—142.

из них двухличным принципом спряжения, оказывается невозможным отразить точку зрения только какого-нибудь одного из обоих обозначаемых при этом участников ситуации — субъекта или объекта, вследствие чего реальные отношения действительности здесь всегда получают иконическое отображение. Нетрудно заметить, что такое положение отражает самую сущность активного строя, структурные компоненты которого не ориентированы на передачу субъектно-объектных отношений.

В то же время чрезвычайно яркой чертой морфологии активного глагола рассматриваемых языков, резко обособляющей его от транзитивного глагола языков эргативной типологии, является функционирование в нем специфической диатезы незалогового характера. Семантика противопоставляемых ее посредством глагольных словоформ принципиально отлична от содержания оппозиции действительного и страдательного залогов: ср. 'жжет' ~ 'горит', 'ведет' ~ 'идет', 'кусает' ~ 'кусается', 'сушит' ~ 'сохнет', 'будит' ~ 'просыпается', 'волочит' ~ 'ползет' и т. п. Не совпадает она, однако, и с противопоставлением транзитивной и интранзитивной форм, как это может показаться на первый взгляд: по подсчетам Г. Хойера по языку навахо «из примерно 2000 глагольных основ класса θ - (один из формальных признаков диатезы. — Г. К.) в нашем корпусе около 70% интранзитивных и 30% транзитивных; подобным же образом из 1100 глагольных основ класса \dagger - (один из признаков противопоставленной формы диатезы. — Г. К.) около 73% транзитивны и 27% интранзитивны»¹³⁸. Функция этой диатезы сводится к противопоставлению центробежной и нецентробежной версий (*extrovert* — *introvert contrast*), уже приобретенного в историко-типологическом исследовании целого ряда языковых семей статус важнейшей структурной характеристики глагола¹³⁹. Формы первой обозначают

¹³⁸ E. Sapir, H. Hoijer. *The Phonology and Morphology of the Navaho Language*, стр. 92.

¹³⁹ Если оставить в стороне несколько отличное словоупотребление, встречающееся у К. Уленбека (ср. «центростремительная форма») и Н. Ф. Яковлева (ср. «центробежная форма» ~ «центростремительная форма»), то наиболее близкую терминологию находим в работах М. М. Гухман, А. Койперса и Э. Паллейблэнка (ср.: М. М. Гухман. Развитие залоговых противопоставлений в германских языках. Опыт историко-типологического исследования

распространение действия за пределы активного актанта, вторая — его замкнутость в актанте. Для более отчетливого представления о сущности этого противопоставления оно может быть сопоставлено с функцией оппозиции активных и медиальных форм древнеиндоевропейского глагола. По словам Э. Бенвениста, в последней «достаточно ясно вырисовывается основа чисто языкового различия, связанного с отношением между субъектом и процессом. В активном залоге глаголы означают процесс, который исходит из субъекта и развивается вовне. В среднем залоге, который представляет собой диатезу, определяемую через оппозицию с первой, глагол указывает процесс, который развивается в субъекте; субъект является внутренним по отношению к процессу»¹⁴⁰. Из сказанного следует, что в условиях обычной диффузности интенции активного глагола в плане передачи субъектно-объектных отношений версия диатеза служит важнейшим средством, конкретизирующим семантику глагольной словоформы в этом аспекте.

Эта диатеза реализуется функционированием специальных (обычно — префиксальных) показателей центробежной или нецентробежной версии. Маркированность соответствующим признаком одной из противопоставленных форм автоматически подсказывает содержание второй, в большинстве случаев остающейся немаркированной. Особенно часто маркированной оказывается форма нецентробежной версии, характеристика которой в описательных грамматиках активных языков нередко квалифицируется в качестве показателя так называемого рефлексива (в свое время Р. де ля Грассери говорил даже о рефлексивном залоге в тупи¹⁴¹). Ср., например, формы *o-juká* 'он (его) убил' при *o-je-juká* 'он убился', *ere-kətsi* 'ты (его) порезал' при *ere-je-kətsi* 'ты порезался' языка камаюра

родственных языков. М., 1964; А. Н. Kuipers. Phoneme and Morpheme in Kabardian. *Janua Linguarum*. 7. s'Gravenhage, 1960; E. G. Pulleyblank. The Indo-European Vowel System and the Qualitative Ablaut. «Word», v. 21, 1965, № 1; Он же. Close/open ablaut in Sino-Tibetan. «Lingua», v. 14, 1965, № 4.

¹⁴⁰ Э. Бенвенист. Активный и средний залог в глаголе. — В кн.: Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 1974, стр. 188; ср. также: М. М. Гухман. Развитие залоговых противопоставлений в германских языках, стр. 264—267.

¹⁴¹ R. de la Grasserie. De la catégorie des voix. Paris, 1899, стр. 214.

или формы *waʔh-atat-é. yoʔ* 'он убился' и *waʔh-atat-hé.naʔ* 'он порезался' языка онондага с характерным префиксом *atat-*¹⁴².

В некоторых языках признак нецентробежной версии активного глагола совмещает в себе и роль «субъектной» версии. Так, в языке ассинибойн префикс «рефлексива» *ci-* выступает не только в формах типа *wašté-ni-ci-na* 'ты любишь себя', но и в формах типа *waráha wáʔi oré-mi-ci-tu* 'я купил себе шапку' или *uki-ci-saga* 'мы делаем для себя'¹⁴³.

Несколько сложнее уловить принцип функционирования центробежной и нецентробежной версий активного глагола в представителях макросемьи на-дене. Согласно формулировке Г. Хойера, «во всех атапаскских языках глаголы группируются по четырем классам: класс с нулевым показателем (который включает как транзитивные, так и интранзитивные глаголы), класс *ʔ-* (в основном — транзитивные глаголы, производные от интранзитивных с нулевым показателем), класс *D-* (в основном — пассивные и медиопассивные глаголы, произведенные от транзитивных классов с нулевым показателем) и класс *l-* (в основном — пассивные и медиопассивные глаголы, произведенные от транзитивных на *ʔ-*)»¹⁴⁴. При такой картине следует полагать, что префикс *ʔ-* представляет собой показатель центробежной версии, а реализующие класс *D-* префиксы *d-//di-* (здесь оставлены в стороне их морфонологически обусловленные репрезентации), а также *l-* являются показателями нецентробежной версии (предполагается, что последний возникает из контракции **d-* с последующим *ʔ-*)¹⁴⁵. Действительно, приводимый при этом фактический материал, по-видимому, подтверждает адекватность подобной интерпретации: ср., например, соотношение форм *yí-bééʔ* 'то кипит' ~ *yí-ʔ-bééʔ* 'он кипятит то' в языке навахо (*yí-* — префикс несовершенного способа действия), форм *yí-s-í* 'я видел то' ~ *yí-s-t-í* 'я был виден' в языке сарси (*yí-* — префикс способа действия, *s-* — показатель 1-го лица, *t-* — реализация версионного элемента *d-*) и им подобных. Принципиально аналогичные функции

¹⁴² W. L. Chafe. A Semantically Based Sketch of Onondaga, стр. 48.

¹⁴³ N. B. Levin. The Assiniboin Language, стр. 55, 32.

¹⁴⁴ H. Hoijer. Athapaskan Morphology, стр. 134—135.

¹⁴⁵ E. Sapir, H. Hoijer. The Phonology and Morphology of the Navaho Language, стр. 55.

выполняют «классификаторы» θ-, d- (da-, di-) и t- (ta-, ti-) в языке эяк; ср. словоформу x^wo-qé-[?]i-t-ti^q 'ты в меня выстрелишь (стрелой)', где x^wo- — аффикс 1-го лица, qé[?]- — показатель способа действия, [?]i- — аффикс 2-го лица, t- — экспонент центробежной версии (ср. также tiq^t 'стрела')¹⁴⁶. С такой интерпретацией согласуются и соответствующие свидетельства языка тлингит. Так, согласно исследованиям К. Нэш и Г. Стори, здесь «префикс di- имеет «медиальное» значение: ср. X^walisín (wu-Xa-li-sín) 'я спрятал то' при aX^wdisín (awu-Xa-d-li-sín) 'я спрятался', awa[?]ún (a wu-ya-[?]ún) 'он выстрелил в него' при [?]wudi[?]ún (š wu-di-[?]ún) 'он выстрелил в себя', wutusi^tín 'мы видели то' при š wutudsi^tín 'мы видели себя'¹⁴⁷.

В этой связи нельзя не обратить внимания на далеко идущую аналогию этому явлению, которая может быть реконструирована для древнейшего состояния картвельских языков. Простые основы активного глагола (т. е. основы с нулевым префиксом) нередко могли быть здесь семантически транзитивными или интранзитивными. Посредством префикса а- строилась, вероятно, центробежная версия глагола, посредством префикса i- — его нецентробежная версия (ср. стр. 226—227 настоящей работы).

Вследствие незалогового характера версионного противопоставления форм активного глагола в рассматриваемых языках подобно эргативным невозможна так называемая первичная топикализация (primary topicalisation) высказывания или его субъективизация (subjectivalization)¹⁴⁸. Иначе говоря, здесь отсутствует возможность выбора в позицию подлежащего любого из двух основных именных компонентов активной конструкции предложения, передающих субъект и объект действия, в силу чего описываемая ситуация всегда получает в тексте свое иконическое отображение.

Незалоговое содержание глагольной диатезы составляет красноречивый аргумент против известной гипотезы К. Уленбека о пассивном характере активного глагола

¹⁴⁶ Fang-Kuei Li. Указ. соч., стр. 47.

¹⁴⁷ H.-J. Pinnow. Genetic Relationship vs. Borrowing in Na-Dene. — IJAL, v. 34, 1968, № 3, стр. 206; M. E. Krauss. Proto-Athapaskan-Eyak and the Problem of Na-dene. II Morphology. — IJAL, v. 31, 1965, № 1, стр. 19—25.

¹⁴⁸ Ср., Ch. Fillmore. Указ. соч., стр. 57—59.

в североамериканских языках¹⁴⁹. Следует отметить и семантически активный характер всего образуемого им построения. Естественно поэтому, что эта гипотеза по существу никогда не пользовалась популярностью.

Еще труднее признать залоговыми формы морфологической категории взаимности действия, выступающей в активном глаголе рассматриваемых языков, которые в прошлом иногда трактовались в качестве залоговых (ср. о-уо-уукá 'они убивают друг друга' при о-уукá 'они убивают его' или о-уо-пирá 'они бьют друг друга' при о-пирá 'они бьют его' в гуарани).

Место категории времени, столь характерной для представителей номинативной типологии и обычно имеющейся в представителях эргативной, в глагольной структуре активных языков занимает морфологическая категория способа действия (Aktionsart). Характерное различие активного и стативного глаголов состоит в данном отношении в том, что первый из них знает значительно большее число противопоставленных форм этой категории, в то время как второй выступает чаще всего в единственной. Отсюда в специальной литературе иногда говорят о большой парадигме (major paradigm) спряжения активного глагола и малой парадигме (minor paradigm) стативного. Так, в атапаскском языке сарси (Sargsee) активный глагол различает обычно три-четыре способа действия — так называемые imperfective, perfective, continuative, iterative, в то время как стативный знает только imperfective и/или perfective¹⁵⁰. За счет такого различия парадигма глагольного спряжения в представителях активного строя оказывается несквозной.

Ввиду «аспектной», а не временной градации глагола морфологически тождественная словоформа в зависимости от окружающего контекста может здесь, естественно, переводиться формами разных времен: ср. ассинибойн та-ка 'я сижу // я сидел', ыоуáри 'мы поем // мы пели', есáри 'они делают // они делали'. Однако при их переводе

¹⁴⁹ С. С. Uhlenbeck. Het passiewe karakter van het verbum transitivum of van het verbum actionis in talen van Noord-Amerika. «Verslagen en mededeelingen der Akademie Amsterdam». Aft. Letterkunde, V, t. 2, 1917, стр. 187—216 (русс. пер.: Х. К. Уленбек. Пассивный характер переходного глагола или глагола действия в языках Северной Америки, стр. 74—96).

¹⁵⁰ Ср.: Bung-Do Cook. Указ. соч.

всегда должна так или иначе присутствовать характеристика способа протекания обозначаемого действия. Сам же набор соответствующих форм обнаруживает заметную вариацию по языкам. Наиболее распространенными являются следующие способы действия: завершённый (перфектив), незавершённый (имперфектив), начинательный (ингрессив), длительный (прогрессив), повторительный (итератив), усилительный (интенсив), желательный (дезидератив), намерительный (оптатив) и нек. др.¹⁵¹ При этом в одних случаях соответствующие показатели представлены суффиксами, в других — префиксами.

Ср. следующие аспектные градации активного глагола в языке камаюра: *rak-* — перфектив (*jeʔiwe rak-i-ker-í* 'сегодня он спал'), *-rané* — прогрессив (*n-o-karu-ite-rané* 'он (никогда) не ест'), *-katú* — интенсив (*n-a-k^w-aha-katu-ité* 'я совсем не знаю'), *-potát* — дезидератив (*a-porahaj-potát* 'я хочу танцевать'), *-t(a)* — оптатив (*jeʔiwe t-a-poraháj* 'сегодня я намерен танцевать'). Имеется здесь и ряд других аспектуальных показателей, точная семантика которых пока остается неуловимой (например, *-n* во фразе *oʔigan a-ha-n* 'завтра я пойду')¹⁵².

Исторический примат морфологической категории способа действия над категорией времени находит, однако, не только эмпирическое обоснование. В этом плане уже давно обращалось внимание на то обстоятельство, что если способы действия имеют в принципе объективное содержание, то времена обнаруживают скорее субъективную ориентацию (более отчетливо характеризующую элементы эргативного и номинативного строя). В сводке старых работ, посвященных исследованию соотношения обеих категорий в индоевропейском глаголе, М. М. Гухман констатирует, что «объективность Aktionsarten в противоположность субъективности глагольных времен подчеркивалась всеми исследователями»¹⁵³. Интересно, что, в частности, еще В. Вундт отмечал «объективность» категории способа действия в противоположность «субъективности» наклонений и «релятивности» категории времени: «Они (различные способы действия. — Г. К.) дают объективное качество

¹⁵¹ Ср.: *H.-J. Pinnow*. Die Nordamerikanischen Indianersprachen, стр. 71—78; *Он же*. Sprachhistorische Studie zur Verbstammvariation im Tlingit, «Orbis», t. XVII, 1968, № 2, стр. 509—531.

¹⁵² *Л. С. Феррейра*. Указ. соч., стр. 87—89.

¹⁵³ *М. М. Гухман*. Происхождение строя готского глагола, стр. 53.

действия, причем имеют оттенок категории времени лишь постольку, поскольку эта категория является составной частью самого объективного действия»¹⁵⁴.

Имеется и другое обстоятельство, говорящее в пользу большей архаичности категории способа действия сравнительно с категорией времени. Оно заключается в том, что она в целом характеризуется преобладанием элемента лексичности над элементом грамматичности (ее аффиксы конкретизируют значение глагольной основы, а не указывают на отношения между глаголом-сказуемым и другими членами предложения), за которым, по-видимому, стоит особенность архаичной морфологии вообще. И. И. Мещанинов прямо отмечал, что «в глаголе виды (имеются в виду способы действия), передающие оттенок самого действия, являются в большей степени лексической категорией, чем синтаксической»¹⁵⁵. Он писал, в частности, что даже в номинативных самодийских языках они еще «носят настолько сильно выраженное лексическое содержание, что проводимое ими семантическое изменение в значении глагольной основы сближается с теми семантическими дериватами именных основ, которые проводятся равным образом приемами агглютинации. Соответствующие приставки к имени, так же как и приставки к глаголу, дают новую лексически значимую единицу. Кроме того, виды в самоедских языках, уже включаемые в число грамматических категорий глагола, носят следы их не столь отдаленного прошлого, когда они еще не были окончательно закрепленными за глаголом»¹⁵⁶.

Следует также отметить различие основ активных и стативных глаголов по составу их алломорф, характерное для представителей североамериканской макросемьи на-дене. Корневая морфема стативного глагола обычно манифестируется единственной морфой, в то время как корневая морфема активного глагола, как правило, бывает представлена несколькими морфами. Ср., например, алломорфическое варьирование основ активных глаголов

¹⁵⁴ W. Wundt. *Völkerpsychologie. Die Sprache*, Bd II, стр. 196 и след.; ср. также: R. de la Grasserie. *De la catégorie du temps*. Paris, 1888, стр. 3—4; E. Cassirer. *Philosophie der symbolischen Formen*, Tl. I. *Die Sprache*. Berlin, 1923, стр. 224—226.

¹⁵⁵ И. И. Мещанинов. *Глагол*. М.—Л., 1948, стр. 69.

¹⁵⁶ Там же, стр. 64.

‘производить набег’ (-bááh, -bàà?, -bàh), ‘сползать’ (-nééh, -nà?, -nàh), ‘убивать одного (о человеке)’ (t-ye, -yí, -yéét, -yééh), ‘опалить (местами)’ (-zéés, -zèèz, -zís) при единичных алломорфах основ стативных глаголов -tèèl ‘быть широким’, -nèèz ‘быть высоким, длинным’, -gái ‘быть белым’ и т. д. в атапаскском языке навахо. Подсчитано, в частности, что в последнем самую обширную группу активных глаголов образуют те, которые имеют по три альтернанта основы¹⁵⁷. Ср. также случаи репрезентации такой основы пятью или шестью вариациями в атапаскском языке сарси: -dấ, -dâ-j, -dất, -dâtc и -dâhi ‘плясать, танцевать’, -gù́, -gù-j, -gù́t, -gùtc, -gùhi ‘скользнуть, падать (о воде, грязи и т. п.)’, -lấ, -lâ, -lất, -lâtc, -lấti, -lấ ‘орудовать (несколькими предметами)’¹⁵⁸.

Варьирование базы активного глагола находит здесь двойное объяснение. С одной стороны, оно связано с его определенной функциональной нагрузкой — передачей каждой алломорфой значения того или иного способа действия. Ср. более прозрачные в этом отношении формы атапаскского языка галис: -taš (несоверш.), -tiḡ (соверш.), -tet (прогресс.) ‘орудовать (одушевленным объектом)’, -yid (несоверш.), -yaá (соверш.), -yiṭ (прогресс.) ‘расти (о растениях)’, -gaš (несоверш.), -giḡ (соверш.), -geṭ (прогресс.) ‘орудовать (связкой или грузом)’, в которых по существу вычленимы экспоненты способов действия -š, -t и др.¹⁵⁹ Другое объяснение сводится к явлению сокращения основ в силу действия фактора экономии. «Во многих случаях этот процесс сокращения, — пишет Г.-Ю. Пиннов, — несомненно, часто создавал односложные слова, которые невозможно уже распознать, как часть более древнего описательного термина. Относительно глаголов следует заметить, что семантика их корней во всех этих языках часто оказывается очень неясной и абстрактной. Во многих случаях глагольный комплекс приобретает конкретное значение лишь благодаря присоединению одного или более префиксов, и нередко они столь идио-

¹⁵⁷ Ср.: K. L. Pike and A. L. Becker. *Progressive Neutralization in Dimensions of Navaho Stem Matrices*. — IJAL, v. 30, 1954, № 2, стр. 144—154.

¹⁵⁸ Ср.: Fang-Kuei Li. *A Study of Sarcee Verb-stems*. — IJAL, v. 6, 1930, № 1, стр. 18, 21, 26.

¹⁵⁹ H. Hoijer. *Galice Noun and Verb Stems*. «Linguistics», 104, 1973, стр. 62—73.

матичны, что принципы их построения не могут быть вскрыты путем анализа. Крайне широкие расхождения даже внутри отдельных атапаскских языков демонстрируют трудности, с которыми в еще большем масштабе сталкиваются при попытках сравнения с более отдаленно родственным языком тлингит»¹⁶⁰.

В глагольной морфологии активных языков, наконец, обращает на себя внимание особое циркумфиксное образование отрицательных форм, общее для активных и стативных глаголов. Так, в камаюра (тупи-гуарани) при *a-há* 'я иду' имеем *n-a-ha-ité* 'я не иду', при *i-katú* 'он хороший' — *n-i-katu-ité* 'он не хороший'. «Двойная негация» в глаголе уже давно считалась одной из общностей, разделяемых языками сиу и ирокезскими: ср. циркумфикс *ki-. . .-na* в тутело и *ya-. . .-de* в могавк. Совершенно аналогична морфологическая структура отрицательных словоформ глагола и в языках на-дене. В частности, в эяк функционирует циркумфикс *dí-q'-. . .-q*¹⁶¹. Остается неясным, однако, как соотносена эта общая для представителей активного строя черта с его семантической детерминантой.

В представителях активной типологии нет свойственного классным языкам контраста между принципиальной сформированностью глагольной морфологии и невыделенностью морфологии от словообразования в имени. Тем не менее здесь постоянно дает о себе знать различие степени разветвленности глагольного и именного словоизменения: при развитости глагольной морфологии именная представлена весьма бедно.

Характерную черту категориального состава именной морфологии активных языков составляет категория при-тяжательности, противопоставляющая формы органической (неотчуждаемой) и неорганической (отчуждаемой) принадлежности. Значительно более ограниченное распространение имеет именная категория числа. В то время как послелогои находят здесь достаточно широкое употребление, категория падежа свидетельствуется крайне редко. Естественно, что и обе последние категории имеют в рассматриваемых языках свою типологическую специфику.

¹⁶⁰ H.-J. Pinnow. On the Historical Position of Tlingit, стр. 157—158.

¹⁶¹ Л. С. Феррейра. Язык камаюра, стр. 83; L. Allen. Siouan and Iroquoian. — IJAL, v. 6, 1931, № 3—4, стр. 192; Fang-Kuei Li. A Type of Noun Formation in Athabaskan and Eyak, стр. 47.

Всегда представленная здесь морфологическая категория притяжательности строго различает формы органической и неорганической принадлежности и служит для передачи отношений партитивности и посессивности в составе атрибутивной синтагмы. Вместо невозможного для активных языков падежного выражения этих отношений типа «рука человека» (о типологической несовместимости генитива со структурой активного строя см. стр. 159 настоящей работы) в них имеем словосочетание модели «человек его-рука», в котором компонент «его» воплощается притяжательным аффиксом, согласующим определяемое с его определением по лицу и классу.

Притяжательные формы органической принадлежности способны приобретать три группы определяемых субстантивов: а) названия частей тела человека или животного, частей растения (а также органических частей некоторых предметов — сосуда, корзины и т. п.), б) номенклатура родства, в) обозначения таких тесно связанных с человеком и животным реалий и понятий, как 'имя', 'тень', 'изображение', 'следы (ног)', 'сон', 'стрела', 'трубка (курительная)', 'дом (туземный)', 'добыча', 'нора', 'гнездо' и нек. др. Без притяжательной флексии эти имена вообще не встречаются¹⁶². Остальные определяемые субстантивы способны иметь лишь формы неорганической принадлежности. Таким образом, различение форм органической и неорганической принадлежности оказывается свойственным лишь субстантивам, синтагматически связанным с именами активного класса (т. е. с обозначениями людей, животных и растений).

Интересно, что притяжательные аффиксы органической принадлежности представлены по языкам аффиксами, тождественными с глагольными личными показателями инактивной серии: ср., например, *mi-ta'tca*ⁿ 'мое тело', *pi-siha* 'твоя нога' в языке дакота, *bi-tsi*ⁱ 'его (собственная) голова' в атапаскском языке чирикахуа (на материале американских представителей эргативной типологии аналогичное соотношение было установлено еще К. Уленбеком¹⁶³). Такое тождество должно быть естественным, если учесть, что глагольный аффикс инактивного ряда

¹⁶² Ср.: Н. Hoijer. Chiricahua Apache. «Linguistic Structures of Native America». N. Y., 1946, стр. 74—75.

¹⁶³ Х. К. Уленбек. Указ. соч., стр. 95.

определенно сигнализирует нераспространяемость, неотчуждаемость «действия» (точнее, состояния или качества) от его предметного референта. В то же время формы неорганической принадлежности передаются либо сложным образованием, состоящим из экспонента органической и дополнительной аффиксации (ср. *mi-ta-koda* 'мой друг', *pi-ta-su^hke* 'твоя лошадь' в языке дакота, *bi-'i-tsii* 'его (например, предназначенная для еды) голова' в языке чирикахуа), либо — особым рядом аффиксов, совпадающим с глагольными личными показателями аффективного ряда (последний случай представлен в языках мускоги)¹⁶⁴.

Основную часть субстантивов, принимающих форму органической принадлежности, образуют обозначения родства и частей тела и растения. Так, в языке навахо насчитывается всего 25 имен существительных, «встречающихся исключительно во флективной форме (в виду имеется притяжательная флексия. — Г. К.) и не обозначающих ни родство, ни части тела. Почти во всех случаях они выражают принадлежность, которая, можно сказать, неотторжимо относится к индивидууму. Чтобы разъяснить это положение, отметим, что имеются два слова, обозначающих дом: имя *kín* (употребляющееся с флексией и без нее) и имя *-ṣàn*, которое выступает только во флективной форме. Однако *kín* обычно обозначает современный дом, построенный по образцу строений соседствующих американцев, дома индейцев не-навахо, или случайные строения, используемые лишь для укрытия. С другой стороны, вторая форма *-ṣàn* относится к туземному, специфическому для индейцев навахо дому, к загону или подобному его ограждению, специально построенному для животных, либо для жилья, которое является кровом отдельной семьи. Здесь, следовательно, как и в случае частей тела и терминов родства, мы замечаем различие между окказиональным владением без физической привязанности и неотчуждаемым владением. Неотчуждаемое владение приписывается среди прочего: пещерам или норам

¹⁶⁴ C. C. Uhlenbeck. Het identificeerend karakter der possessieve flexie in talen van Noord-America. «Verslagen en mededeelingen der Akademie Amsterdam». Aft. Letterkunde V, 1917, стр. 345—371 (русс. пер.: Х. К. Уленбек. Идентифицирующий характер посессивной флексии в языках Северной Америки. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 186—207).

(поскольку они являются жилищами животных), ободу или краю (сосуда или корзины), еде (характерной для животного или их группы), похлебке, супу или экстракту, гнезду (птицы), характерной походке или способу передвижения, а также врагу или чужеземцу»¹⁶⁵.

Некоторые формальные отклонения от обычного способа выражения разновидностей принадлежности, наблюдаемые в языках сиу (ср. префикс органической принадлежности *ma-* для имен частей тела и *mi-* для номенклатуры родства, а также «компенсаторная» возможность передачи соответствующих отношений в глагольной словоформе), по-видимому, указывают на начало процесса ослабления рассматриваемого противопоставления.

О логической соотнесенности различения обеих форм именной категории притяжательности с составом импликаций активного строя можно догадываться, уже исходя из того факта эмпирии, что в отличие от представителей иных типологий оно проведено во всех рассматриваемых здесь языках. Однако можно предложить и теоретическое обоснование такой соотнесенности. Тем более необходимо это сделать в виду того обстоятельства, что различение отношений органической и неорганической принадлежности, так или иначе передаваемое в поверхностной структуре разнотипных языков, в современных исследованиях со все большим основанием включается в набор элементов универсальной глубинной структуры языка¹⁶⁶.

В литературе уже неоднократно высказывалось предположение о существовании внутренней связи между функционированием в языке дифференцированной по характеру принадлежности именной категории притяжательности и наличия в нем бинарной классификация субстантивов (любопытно, что при этом авторы опирались на показания ряда номинативных и эргативных языков, в которых соответствующие явления представлены ущербно). Так, еще в 1947 г. О. П. Суник пришел к мысли, что эта оппозиция предполагает наличие в языке двух именных классов: класса субстантивов, обозначающих социальные и псевдосоциальные (антропоморфизованные) существа,

¹⁶⁵ H. Hoijer. *Semantic Patterns of the Navaho Language*, стр. 363.

¹⁶⁶ См., например: J. Fillmore. *The Case for Case*, стр. 61 и след.; Б. И. Голосовский. *Общее языкознание. Учение о слове и словарном составе языка*. Минск, 1974, стр. 32—34.

и класса субстантивов, обозначающих все прочие предметы¹⁶⁷. По мнению голландского исследователя Й. Вильса, также подозревавшего существование такой зависимости, напротив, различие обеих форм именной принадлежности обуславливает функционирование оппозиции одушевленных и неодушевленных имен¹⁶⁸. Полемизирующий с последним Г. Кован, считая, что оба явления предполагают друг друга, усматривает при этом логический примат двухклассного разбиения субстантивов¹⁶⁹.

Решающее значение при рассмотрении этого вопроса имеет тот факт, что различать обе разновидности принадлежности способны исключительно одушевленные (и, следовательно, передаваемые лишь активными именами) референты, в то время как «принадлежность» неодушевленных по необходимости носит органический характер. «В тех случаях, когда «субъекты принадлежности» выражены именами, обозначающими не социальные существа (а все прочие предметы), — подчеркивал О. П. Суник, — притяжательные конструкции строятся только по ряду органической принадлежности, и о делении на классы имен, обозначающих «объекты принадлежности» здесь не должно быть речи. Говорить в этих случаях о принадлежности, обладании или собственности в общепринятом значении этих терминов нельзя, следует говорить о партитивности. Деление на два класса имен, обозначающих объекты принадлежности, действительно, таким образом, лишь для тех случаев, когда первый компонент притяжательной конструкции выражен именем, обозначающим социальное (или псевдосоциальное) существо»¹⁷⁰. Тем самым, функционирование морфологической категории имени, реализующей такую оппозицию, мотивируется лишь такой языковой структурой, которая обособляет класс одушевленных (т. е. активных) имен существительных из

¹⁶⁷ О. П. Суник. О категории отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности в тунгусо-манчжурских языках. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1947, № 5, стр. 445.

¹⁶⁸ J. Wils. Het passieve werkwoord in de Indonesische talen. «Verhandelingen Kon. Inst. TLV», XII, 1952, стр. 27, 32.

¹⁶⁹ H. K. J. Cowan. Les oppositions «aliénable: inaliénable» et «animé: inanimé» en mélanésien. «Word», v. 25, 1969, № 1—2—3, стр. 81—85.

¹⁷⁰ О. П. Суник. Указ. соч., стр. 445; ср. также: П. Я. Скорик. Грамматика чукотского языка, ч. I. Фонетика и морфология именных частей речи. М.—Л., 1961, стр. 249, 254, 257,

совокупности остальных, с одной стороны, и которая знает именную морфологию, с другой. Именно этим обоим условиям удовлетворяет типология активного строя, с характерной для нее дихотомией активных (одушевленных) и пассивных (неодушевленных) субстантивов и с принципиально возможной именной морфологией.

Действительно, формы обеих разновидностей принадлежности различают имена, соотносящиеся в пределах атрибутивной синтагмы только с субстантивами активного класса (т. е. обозначения частей тела и растения, термины родства, названия ряда тесно связанных с человеком и животным реальных). Нельзя к тому же не упомянуть того, что в самом факте дифференцированности обеих форм принадлежности можно усмотреть определенный параллелизм функциям активного глагола, различающего формы центробежного («отчуждаемого») и нецентробежного («неотчуждаемого») действия.

Уместно напомнить, что в специальной литературе неоднократно высказывалась мысль, что обе формы притяжательной флексии противопоставляются здесь не по характеру собственно посессивных отношений. Последние оказываются только одной из разновидностей вкладываемого в них содержания. Согласно распространенному мнению, в наименьшей степени они противопоставляются как «идентифицирующая» — «неидентифицирующая», т. е. по существу в соответствии с тем, передаются при этом отношения части и целого или нет. В пользу подобной содержательной ориентации рассматриваемых форм, действительно, как будто говорит уже сам характер референтов, обозначения которых приобретают притяжательные формы органической принадлежности — органические части целостного предмета [а) верх, низ, бока или края предметов утвари, б) части тела (или растения)] или феномены, мыслящиеся в качестве неразрывных компонентов единого целого [а) номенклатура родства, б) обозначения ряда тесно связанных с человеком и животным реальных]. Нетрудно заметить, что скорее партитивные, а не посессивные отношения, передаваемые этими формами, оказываются в соответствии с характером семантической детерминанты, на которую ориентированы структурные компоненты языков активной типологии. Не приходится, конечно, сомневаться в отчетливом представлении посессивных отношений в мышлении носителей языков актив-

ного строя. Однако они передаются языковыми средствами, специально ориентированными на выражение именно партитивных, а не посессивных отношений. Этому не приходится удивляться, если учесть, что вообще субъектно-объектные отношения получают в рассматриваемых языках лишь опосредованное их типологическими особенностями выражение.

Представляется поэтому, что тезис об исключительно партитивном характере отношений, передаваемых такого рода притяжательной флексией, подчеркивавшийся ранними исследователями вопроса, некорректен (тем более, что он, как правило, опирался на показания языков, лишь остаточным образом сохранивших отдельные черты активной типологии). Так, в высшей степени сомнительна адекватность анализа рассматриваемого противопоставления, предпринятого еще в 1914 г. Л. Леви-Брюлем.

«Рассмотрение имен, образующих первый класс (т. е. принимающих формы органической принадлежности. — Г. К.), — писал он, — бросает свет на коллективные представления, свойственные меланезийцам. Этот класс включает члены тела именно потому, что они в целом и составляют индивид. Этот класс включает также части какого-либо предмета в их отношениях к самому предмету, поскольку они образуют с ним единое целое. . . Возьму из словаря Гельзвуда несколько слов языка фиджи, относящихся к предметам и принимающих притяжательные суффиксы: край одежды, дно горшка или коробки, острие раковины, скорлупа кокосового ореха; высота или поверхность предмета, задняя сторона предмета, ручка предмета; колючки растения. . . Перечень существительных этой категории мог бы быть очень велик. Эти примеры показывают части, не существующие отдельно от предметов и представляющие собой неразрывное единство с целым, подобно тому как голова есть часть того существа, которому она принадлежит. К этому классу относятся и наименования родства. Меланезиец говорит: «мой брат», «мой дядя (по матери)» так же как и «мой глаз», «моя рука»; он рассматривает себя как часть семейной группы, подобно тому как в руке он видит часть тела»¹⁷¹. Далее Л. Леви-

¹⁷¹ Л. Леви-Брюль. Выражение принадлежности в меланезийских языках. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 212—213.

Брюль приходит к заключению, что «не умножая числа примеров, мы можем считать установленным наличие представлений или ощущение таких отношений, которые очень далеки от того, что мы называем «обладанием». Это скорее отождествление предмета, который кому-то принадлежит, с тем, кому он принадлежит»¹⁷². Думается, однако, что было бы по меньшей мере неосторожным опираться в попытке проникнуть в представления общества всецело на те или иные формальные характеристики его языка. Вместе с тем недостаточно убедительно выглядят и соображения автора, согласно которым совпадение моделей языковых форм «мой брат» и «мой глаз» указывает на принадлежность говорящего и его брата к единой семейной группе.

Неубедительны в силу неразличения специальной типологической ориентированности структурных элементов языка и совокупности передаваемого ими мыслительного содержания и следующие соображения К. Уленбека: «Там, где налицо идентичность посессивных элементов и инертных (инактивных. — Г. К.) показателей, там никогда не может быть и речи о действительной «собственности», так как при подлинной принадлежности мы вправе были ожидать большего тождества посессивных элементов с энергетическими (активными. — Г. К.), в противоположность отличному от них ряду инертных личных местоимений или личных аффиксов. Если мы вспомним хотя бы относящиеся сюда замечания Леви-Брюля, касающиеся понятия принадлежности в Меланезии, а также примем во внимание тот, например, факт, что в языке дакота имя, изменяемое по неотчуждаемо-посессивной флексии, получает облик или спрягаемого прилагательного, или, исключая местоименный элемент, вербализованного самостоятельного существительного, то мы, не колеблясь, должны определить имя с так называемой посессивной флексией как идентифицирующее выражение. Следовательно, такая форма, как *mi-saⁿte* означает собственно не «мое сердце», как в наших цивилизованных языках, но идентичность меня самого и какого-то сердца, с которым я, а не кто-либо иной, нахожусь в теснейшей связи. Точно так же и инклюзивное *uⁿ-šiⁿsa* означает не столько «ребенок нас

¹⁷² Там же, стр. 216.

обоих», сколько «ребенок, которым мы оба являемся»¹⁷³.

Что же касается третьей группы имен органической принадлежности, объединяющей такие лексемы, как 'имя', 'тень // изображение', 'сон', 'следы (ног)', 'дом и т. п.', то нельзя не упомянуть того обстоятельства, что тесная связь этих понятий с активным (одушевленным) денотатом находит свое прямое отражение в былых верованиях соответствующего общества. Еще этнологией прошлого было твердо установлено, что все это элементы, которые представлялись органическими ингредиентами их субъекта, его реальными компонентами¹⁷⁴.

Морфологическая категория числа в именах языков активного строя развита очень слабо. Так, например, Фр. Зиберт прямо утверждает, что во всех представителях семьи сиу отсутствует формальный способ разграничения единственного и множественного чисел имени существительного¹⁷⁵. То же самое относится в принципе к ряду языков на-дене, тупи-гуарани и др. Идея количества передается здесь главным образом лексическими средствами за пределами имени. Сэт й целью в активных языках используются числительные и наречия типа 'много', 'мало' и т. п. с постановкой определяемых существительных в нейтральной в числовом отношении форме (ср. ассинибойн са пур исáга 'три дерева растут', букв. 'дерево три растет', гуарани imã rigwasú porã o-vale vakwé dié péso 'раньше хорошая курица стояла десять песо'). Эту же идею передает рассматривавшийся выше на стр. 99 супплетивизм «сингулярных» и «плюральных» глагольных лексем, различающихся только по своей соотношенности с количеством вовлеченных в действие участников.

¹⁷³ Х. К. Уленбек. Идентифицирующий характер посессивной флексии в языках Северной Америки, стр. 207; ср. С. Д. Кацнельсон. К генезису номинативного предложения, стр. 74—75; также: А. П. Рифтин. Основные принципы построения теории стадий в языке. «1819—1944. Труды юбилейной научной сессии ЛГУ (секция филол. наук)». Л., 1946, стр. 27.

¹⁷⁴ Ср., например: Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление. М., 1930, стр. 27—37.

¹⁷⁵ Fr. Siebert. [Рец. на кн.:] R. H. Lowie. The Crow Language. Grammatical Sketch and Analyzed Text. «University of California Publications in American Archaeology and Ethnology», v. 30. Berkeley—Los Angeles, 1941, № 1. — IJAL, v. 10, 1944, № 4, стр. 212.

Сравнительно редко в этих языках встречаемся с морфологическим противопоставлением именных форм двух чисел. Оно почти никогда не выходит за рамки ограниченной группы субстантивов внутри имен активного класса — обозначений людей и номенклатуры родства.

Так, уже Р. де ля Грассери заметил явную нерегулярность образования форм «множественного числа» в языке хайда¹⁷⁶. В ныне вымершем атапаскском языке гэлис (на юго-западе штата Орегон) всего лишь «немногие имена, целиком относящиеся к терминам родства, имеют плюралис, маркированный энклитиками -уоо или -кее: š-aasee 'мой брат (двоюродный)', š-aasee-yoo 'мои братья (двоюродные)'; b-iiʔee 'его сын', b-iiʔee-kee 'его сыновья'; š-kʰee-yoo 'мой брат (сводный)', š-kʰee-yoo-yoo 'мои братья (сводные)»¹⁷⁷. Аналогичную роль играет маркер -ké в языке навахо. В третьем атапаскском языке — хупа (Калифорния) изменение по числу знают всего несколько субстантивов, обозначающих человека: ср. keLtsan 'девушка' ~ keLtsun, tsúmmešLōn 'женщина' ~ tsúmmešLōn, xūxai 'ребенок' ~ xūxaiх и нек. др. Сходная картина наблюдается и в языке тлингит¹⁷⁸. Более или менее близкое положение вещей засвидетельствовано и в других представителях активной типологии (некоторое отклонение составляет испанизованная вариация языка гуарани, в которой стало сравнительно широким употребление суффикса плюралиса -kwea). По-видимому, сходная норма существовала и в староэламском языке.

В целом материал рассматриваемых языков подтверждает сформулированную ранее закономерность: «...если и только если в языке существует противопоставление одушевленного (активного) и неодушевленного (пассивного) классов имен, то формы множественного числа могут иметь лишь имена активного класса»¹⁷⁹.

¹⁷⁶ R. de la Grasserie. Cinq langues de la Colombie Britannique, стр. 23—24.

¹⁷⁷ H. Hoijer. Galice Athapaskan: a grammatical sketch, стр. 322—323.

¹⁷⁸ E. Sapir and H. Hoijer. The Phonology and Morphology of the Navaho Language, стр. 116; P. E. Goddard. Athapaskan (Hupa), стр. 109; J. R. Swanton. Tlingit, стр. 169.

¹⁷⁹ Вяч. Вс. Иванов. О методах изучения истории индоевропейского праязыка и его диалектов. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков». М., 1960, стр. 140; ср.: G. Roysen. Die nominalen Klassifikations-Systeme in den Sprachen der Erde, стр. 205 и 513.

Следует оговориться, что поскольку рассматриваемое противопоставление имеет место лишь в ограниченной группе субстантивов, соотносящихся с конкретным классом референтов, можно заметить, что за ним стоит не столько оппозиция единственного и множественного числа, более характерная для представителей эргативного и номинативного строя, сколько оппозиция единственного и собирательно-множественного. Интересно в этом отношении, что И. М. Тронский указывает на внутреннюю связь, существующую между дихотомией активного и инактивного (в его терминологии — инертного) классов имен и отношением раздельной множественности и собирательности¹⁸⁰.

Необходимо здесь же упомянуть точку зрения Е. Куриловича о словообразовательном характере категории собирательности. «Категория множественного числа, — писал он, — является словоизменительной, в то время как категория собирательности, когда она существует как самостоятельная категория, является словообразовательной. Различие между ними состоит в том, что множественное число присуще всем словам такой части речи, как существительное, и является неотъемлемым признаком его парадигмы, а собирательные имена образуются только от определенных существительных. Существительное в единственном числе и то же существительное во множественном числе — это две (словоизменительные) формы одного и того же слова. Существительное и соответствующее имя собирательное — это два разных слова (базисное слово и производное). Следовательно, морфема множественного числа имеет более общее абстрактное значение, чем морфема собирательности, на которую больше влияет значение основы. Ср. собирательные имена, дифференцирующиеся в зависимости от смысла базисного имени неодушевленные, одушевленные, личные и т. д.»¹⁸¹

Уже исходя из наметившейся из предшествовавшего изложения семантической детерминанты активного строя должно логически вытекать отсутствие в его представите-

¹⁸⁰ Ср.: И. М. Тронский. К семантике множественного числа в греческом и латинском языках. «Уч. зап. ЛГУ. Серия филол. наук», вып. 10, 1946, стр. 54—72 (особенно прим. на стр. 61).

¹⁸¹ Е. Курилович. О методе внутренней реконструкции. «Новое в лингвистике», вып. IV. М., 1965, стр. 411—412.

лях позиционных падежей, специально ориентированных на передачу субъектно-объектных отношений (именительного, винительного, родительного¹⁸², дательного). Даже в языках эргативной типологии, где, как известно из теории эргативности, подобная ориентация проводится весьма непоследовательно, падежная парадигма имени обнаруживает свою отчетливую специфику профилирующей оппозиции эргативного и абсолютного падежей.

Естественно, что в рамках активной системы должны функционировать падежные единицы, еще менее однозначно выражающие субъектно-объектные отношения. Ясно, что сюда следовало бы отнести различные локативы, действительно встречающиеся в рассматриваемых языках. Таково же в принципе и положение инструменталиса или орудийного падежа¹⁸³, содержание которого нередко здесь передается особым аффиксом в составе глагольной словоформы. Впрочем если исходить из имеющей под собой серьезные основания точки зрения, согласно которой не приходится говорить о падежной парадигме в языке, где отсутствуют так называемые позиционные (т. е. передающие субъектно-объектные отношения) падежи¹⁸⁴, то эти локативы, равно как и инструменталис, придется исключить из состава склонения, поскольку в большинстве случаев в представителях активной типологии отсутствуют и позиционные падежи.

Тем не менее в некоторых случаях последние налицо и в соответствии с семантической детерминантой активного строя представлены корреляцией активного и инактивного падежей. Функция активного падежа состоит в оформлении подлежащего при активном глаголе-сказуемом, функция инактивного — в оформлении подлежащего при стативном глаголе-сказуемом, а также дополнений

¹⁸² О принадлежности генитива падежной парадигме номинативной системы см.: Э. Бенвенист. К анализу падежных функций: латинский генитив. — В кн.: Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 1974, стр. 163—164; ср.: И. И. Ревзин. Семантика праславянского и индоевропейского родительного в свете гипотезы Бенвениста. «Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков (12—14 декабря). Предварит. материалы». М., 1972, стр. 68—69.

¹⁸³ Опыт функционального обособления инструменталиса от творительного падежа номинативной парадигмы склонения см. в работе: И. И. Мещанинов. Новое учение о языке. Л., 1936, стр. 322.

¹⁸⁴ С. Д. Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление, стр. 46.

(некоторые из последних способны принимать послеложные окончания).

Активный падеж ввиду своей специфической падежной характеристики противопоставляется в плане выражения инактивному как маркированный член оппозиции немаркированному. Ср., например, положение в языках мускоги — и пережиточно — в картвельских. Аналогична их противопоставленность и в плане содержания, поскольку инактивный падеж выступает в максимально широкой функции, включающей в оформление подлежащего активного класса (при стативном глаголе).

Неучет такого иерархического отношения, существующего между падежами типологически единой парадигмы, не позволял ранее увидеть одно из структурных свидетельств активной функции индоевропейского падежа на -s, отмеченное в 1956 г. А. Мартине (в соответствии с терминологической традицией автор говорит при этом об «эргативе»). Таким аргументом является маркированная характеристика падежа, который обладает приметой -s и противопоставлен падежу с нулевым окончанием, т. е. немаркированному. Эти формальные особенности данных падежей в плане выражения противоречат их соотношению в плане содержания в древних и новых индоевропейских языках, где винительный падеж по своей функции является маркированным, а именительный — немаркированным (падежом, не связанным с одной определенной функцией; ср. использование именительного падежа в качестве словарной формы существительного). Это противоречие (которое было устранено во многих индоевропейских языках благодаря утрате приметы -s) находит объяснение в том, что падеж на -s в более древнюю эпоху был активным, т. е. маркированным падежом с функцией обозначения деятеля, тогда как падеж без показателя -s, т. е. инактивный, указывал лишь на отсутствие обозначения деятеля, ибо был немаркированным как в плане выражения, так и в плане содержания¹⁸⁵.

Так, в языках мускоги встречается противопоставление активного падежа с характеристикой -t инактивному

¹⁸⁵ А. Martinet. *Linguistique structurale et grammaire comparée*. «Travaux de l'Institut de linguistique», v. I, 1956, стр. 13—16; ср.: Вач. Вс. Иванов. Типология и сравнительно-историческое языкознание. — ВЯ, 1958, № 5, стр. 39—40.

на $-n > \theta$ ¹⁸⁶. По неподтвержденному мнению К. Уленбека, оно налицо и в личных местоимениях языка дакота, где *mí-s* 'я' (активн. пад.) ~ *mí* 'я' (инактивн. пад.), *i-s* 'он' (активн. пад.) ~ *i* 'он' (инактивн. пад.). Как уже неоднократно отмечалось выше, в индоевропеистике предполагается, что функционировавшая на древнейшем этапе протоиндоевропейского состояния оппозиция именной флексии $-s$ окончанию θ обозначала противопоставление активного падежа инактивному.

Следует заметить, наконец, что несмотря на довольно очевидное функциональное различие между активным и инактивным падежами, с одной стороны, и эргативным и абсолютным, с другой, оно было осознано далеко не сразу. Как известно, К. Уленбек в течение длительного времени рассматривал актив и эргатив в качестве разновидностей единого падежа, квалифицировавшегося как *casus energeticus*¹⁸⁷. Впервые на необходимость взаимного обособления обоих указал Э. Сепир в 1920 г.¹⁸⁸ Хотя по крайней мере с 1930 г. К. Уленбек также стал различать эти величины¹⁸⁹, у других авторов такого разграничения, по-видимому, не проводилось. Более того, в исследованиях проблемы эргативности до сравнительно недавнего времени термины «эргативный падеж» и «активный падеж» пользовались по существу правами синонимов. Аналогичное словоупотребление характеризовало и ряд работ по индоевропеистике (ср., в частности, мнение Е. Куриловича о развитии индоевропейского номинатива из активного падежа субъекта при «транзитивном глаголе»¹⁹⁰).

Функционирование послелогов (чаще всего локативной, нередко — инструментальной семантики) не состав-

¹⁸⁶ *Fr. G. Speck. Some Comparative Traits of the Maskogean Languages*, стр. 481.

¹⁸⁷ *C. C. Uhlenbeck. [Рец. на кн.:] G. Royen. Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprachen der Erde. «Anthropos. Revue Internationale d'Ethnologie et de Linguistique», Bd XXV, fasc. 3—4, 1930, стр. 65.*

¹⁸⁸ *E. Sapir. [Рец. на кн.:] C. C. Uhlenbeck. Het passieve karakter van het verbum transitivum of van het verbum actionis in talen van Noord-America. — IJAL, v. 1, 1917—1920, стр. 82.*

¹⁸⁹ *C. C. Uhlenbeck. [Рец. на кн.:] G. Royen. Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprachen der Erde. «Anthropos. Revue Internationale d'Ethnologie et de Linguistique», Bd XXV, fasc. 3—4, 1930, стр. 654.*

¹⁹⁰ *J. Kuryłowicz. Études indoeuropéennes. I. Kraków, 1935, стр. 161—165.*

ляет специфики языков активной типологии¹⁹¹. Определенный интерес представляют, однако, случаи различного послеложного управления со стороны субстантивов активного и инактивного классов. Так, в языке гуарани противопоставление обоих последних обычно проявляется в характере оформления имени объекта действия: ср. *a-heša ne-góga* 'я вижу твой дом' при *a-heša ne-gú-re* 'я вижу твоего отца', *o-juká i-ši-re* 'он убил свою мать'. Различие объектных и локативных форм обоих классов проводится также в языках сиу¹⁹².

Должно быть очевидным, что рассмотренные в этой главе импликации активности — разбиение субстантивов на классы активных («одушевленных») и инактивных («неодушевленных») и глаголов на активные и стативные на уровне лексики, корреляция активной и инактивной конструкций предложения и ближайшего и дальнейшего дополнений на уровне синтаксиса, активной и инактивной серий личных аффиксов глагола или активного и инактивного падежей имени и другие на уровне морфологии — явно отличны от набора импликаций эргативности. Целесообразно подчеркнуть к тому же, что в ряде существенных отношений эргативный строй оказывается ближе к номинативному: ср., например, отсутствие типологически релевантного классного распределения имен существительных (при возможности их формализованных групп) или деление глаголов на транзитивные и интранзитивные с их проекциями на уровни синтаксиса и морфологии. Конечно, не приходится отрицать типологических отличий эргативного строя от номинативного (так, в частности, если в первом глагольная транзитивность ~ интранзитивность является обычно «явной категорией», то во втором она оказывается «скрытой категорией»). Тем не менее, уже в настоящее время нельзя исключить возможности, что эргативный строй в целом окажется ближе к номинативному, чем к активному. Адекватное решение последнего вопроса станет возможным при наличии систематической характеристики номинативного строя.

¹⁹¹ О послелогах в языке навахо ср.: *H. Hoijer. Semantic Patterns of the Navaho Language*, стр. 366—367.

¹⁹² *E. Gregores, J. A. Suárez. A Description of Colloquial Guarani*, стр. 136, 156; *N. B. Levin. The Assiniboiné Language*, стр. 26.

В предшествовавшем изложении уже неоднократно было использовано понятие семантической детерминанты активного строя, как некоторого содержательного начала — своего рода глубинной структуры, определяющего основные черты рассматриваемых языков на уровне их поверхностной структуры. Однако прежде чем перейти к характеристике этого начала, необходимо оговорить специфику принимаемого здесь понятия глубинной структуры.

В отличие от подавляющего большинства современных исследований, отождествляющих глубинную структуру языка с его универсальным понятийным субстратом, здесь при этом имеется в виду более конкретное и, несомненно, менее глубоко лежащее содержательное начало, детерминирующее структурный облик языков определенной типологической принадлежности. Это начало, по всей вероятности, полностью соответствует тому содержанию, которое вкладывается Х. Бирибаумом в термин «типологическая глубинная структура»¹⁹³. При таком подходе оказывается естественным предположение, что универсальный семантический субстрат языков обуславливает его те или иные поверхностные реализации не непосредственно (в противном случае все языки мира в плане континентальной типологии были бы представлены единственным типом), а опосредованно — преломляясь через специфические для разнотипных языков глубинные структуры.

Весь охарактеризованный в этой главе комплекс структурных импликаций активного строя свидетельствует, судя по семантике его элементов, что в его основе лежит бинарный принцип противопоставления не субъектного и объектного начал (характерного для представителей номинативной и, в меньшей степени, эргативной типологии), а активного и инактивного. Вследствие этого имеются основания утверждать, что структура активного строя не обнаруживает специальной ориентации на передачу субъектно-объектных отношений, которые выражаются здесь средствами иной ориентации.

Самые очевидные свидетельства этого налицо на уровне основных принципов организации лексики в рассматриваемых языках. Так, деление именных денотатов на лабильные по своей сущности «классы» субъектов и объектов

¹⁹³ H. Birnbaum. Problems of Typological and Genetic Linguistic Viewed in a Generative Framework, стр. 26.

здесь еще скрыто за стабильным по своему характеру распределением субстантивов на активный («одушевленный») и инактивный («неодушевленный») классы. С другой стороны, принцип лексикализации глаголов на активные и стативные обнаруживает опору на понятие активности и инактивности передаваемого действия и не отражает его субъектной или объектной ориентированности: ср. характерную диффузность субъектно-объектной интенции активных глаголов типа 'идти' ~ 'вести', 'нести', 'бежать' ~ 'гнать', 'падать' ~ 'бросать', 'гореть' ~ 'жечь' и т. п. Перечисленные выше более частные лексические импликации активности также выявляют свою ориентированность на передачу отношений, существующих между активным и инактивным участниками ситуации, а не между субъектом и объектом.

Аналогичным образом проецируется типологическая глубинная структура активного строя на уровни синтаксиса и морфологии рассматриваемых языков. На это указывает и специфический инвентарь известных здесь моделей предложения (прежде всего корреляция активной и инактивной конструкций последнего) и качество выступающих в них дополнений. В морфологии в этом отношении обращает на себя внимание невозможность квалификации обеих серий глагольных личных аффиксов, а также окончаний позиционных падежей имени в терминах субъектно-объектной системы, ввиду их ориентации на обозначение активного и инактивных участников ситуации (ср. диффузный субъектно-объектный характер личных глагольных показателей инактивного ряда и окончания инактивного падежа и неполный охват субъекта личными глагольными показателями активного ряда и окончанием активного падежа).

Необходимо подчеркнуть ошибочность иногда высказывавшегося в литературе мнения о неразличении самих понятий субъекта и объекта и связанных с ними переходного и непереходного действия в мышлении носителей языков активной типологии. Так, у К. Уленбека встречается высказывание о «мышлении народов, не знающих противопоставления между переходным и непереходным действиями, а знакомых лишь с различием между действием активным и пассивным»¹⁹⁴. Н. Ф. Яковлев в адыгейских фразах

¹⁹⁴ Х. К. Уленбек. Пассивный характер переходного глагола или глагола действия в языках Северной Америки, стр. 95.

пхъэр мэжъутэ 'дрова колются' (без указания на объект) и *лхьэр мэжъутэ* 'мужчина занимается колкой' (без указания на объект) видел отражение доэргативной стадии, когда, по его мнению, «субъект и объект еще не различались ни в речи, ни в мышлении»¹⁹⁵. Из принятия тезиса о дологическом характере мышления определенной эпохи исходили авторы, усматривавшие иррациональные основания «аффективной» конструкции предложения, в которой реальные субъектно-объектные отношения были будто бы инвертированы сознанием¹⁹⁶.

Между тем даже в самой структуре активных языков можно обнаружить свидетельства в пользу отчетливого различения субъекта и объекта действия. Еще Э. Сепир, рассматривая проблему передачи субъектно-объектных отношений в языке, справедливо писал: «Можно умолчать о времени, месте и числе и о множестве других понятий всякого рода, но нельзя увернуться от вопроса, кто кого убивает. Ни один из известных нам языков не может от этого увернуться»¹⁹⁷. Именно это обстоятельство хорошо иллюстрируют не только синтагматические, но и некоторые парадигматические элементы активного строя. Например, уже только один факт тонко приводимого в его представителях разграничения таких разновидностей субъекта, как «субъекта действия», «субъекта состояния», а также «субъекта непроизвольного действия и состояния» (ср. корреляцию здесь активной, инактивной и «аффективной» конструкций предложения) говорит о том, что в сознании тем более не может присутствовать неразличение значительно более обобщенных понятий субъекта и объекта. Ср. в этой связи замечание С. Д. Кацнельсона, согласно которому «в языках эргативного и активного строя принцип обобщенности (выражения субъекта. — Р. К.) нарушается присутствием особых субъектных форм для выражения субъекта воздействия, субъекта предиката движения, иногда еще субъекта эмоционального состоя-

¹⁹⁵ Н. Ф. Яковлев. Древнейшие языковые связи Европы, Азии и Америки. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1946, № 2, стр. 144 (а также стр. 145).

¹ Ср.: С. Л. Выховская. Показатели множественности как классовые показатели в грузинском и баскском языках. — «Академия наук акад. Н. Я. Марру». Л., 1935, стр. 181—182.

¹⁹⁷ Э. Сепир. Язык. Введение в изучение речи. М.—Л., 1934, стр. 73.

ния»¹⁹⁸. С другой стороны, еще Э. Кассирер указывал, что дифференциация именных форм органической и неорганической принадлежности обозначает обособление в сознании различных ступеней объективного в зависимости от его большей близости или удаленности по отношению к субъекту¹⁹⁹. Здесь уже не приходится говорить о продемонстрированной выше четкости передачи субъектно-объектных отношений синтагматическими средствами рассматриваемых языков.

Существуют основания считать, что сама семантическая детерминанта активного строя, противопоставляющая активное и инактивное начала, обозначает грубое приближение к оппозиции субъектного и объектного (более близкое приближение к последней представляет собой семантическая детерминанта эргативного строя, противопоставляющая, согласно А. Е. Кибрику, так называемые агентивное и фактививное начала). В частности, глубинная дихотомия активного и инактивного участников ситуации отражает собой определенный подход к оппозиции субъекта и объекта (ср., например, тот факт, что референты субстантивов инактивного класса практически не способны выступать в роли подлинных субъектов действия, которая по существу всегда принадлежит референтам имен активного класса). Более того, можно предположить, что само формирование активного строя возможно лишь при условии наложения фактора субъектно-объектного порядка на еще менее абстрактную семантическую детерминанту языка, противопоставляющую одушевленное и неодушевленное начала (см. стр. 252—263 настоящей работы). В следующей главе будет предпринята попытка показать, что прецеденты преобразования активной типологии в эргативную или номинативную с такой же необходимостью предполагают дальнейшее усиление воздействия со стороны субъектно-объектного фактора.

В свете сказанного представляется, что дискутируемая во многих современных исследованиях проблема всеобщности глубинных понятий субъекта и объекта (ср., в частности, полемику А. Мартине с Н. Хомским) может полу-

¹⁹⁸ С. Д. Кацнельсон. О категории субъекта предложения. «Универсалии и типологические исследования (Мещаниновские чтения)». М., 1974, стр. 119.

¹⁹⁹ Е. Cassirer. Указ. соч., стр. 224.

чить свое адекватное решение лишь при условии разграничения универсальной и типологической глубинных структур. Если для уровня первой характерен лишь сам факт имплицитного присутствия обоих (в противном случае, очевидно, оказалось бы невозможным построение контенсивно-типологической схемы, основанной на способах передачи субъектно-объектных отношений в языках мира), то на уровне второй они реализуются конкретными понятиями разной степени близости к понятиям субъекта и объекта.

Можно предположить, вместе с тем, что в конечном счете за структурой представителей активного строя и его семантической детерминантой стоит конкретная модель мира, построенная носителями рассматриваемых языков на определенном этапе их общественного развития. Эта же модель, по-видимому, оставила свои следы и в других проявлениях интеллекта, обслуживавшегося этими языками общества. Дихотомия активного и пассивного начал наложила, как полагают, определенный отпечаток и на обычаи, мифологию, искусство и фольклор их носителей. Необходимо, вместе с тем, подчеркнуть, что ее функционирование было обусловлено не столько струей иррационального в мышлении, как это неоднократно представлялось в прошлом, а скорее теми вполне рациональными аналогиями, которые могут быть проведены между ингредиентами живой природы (человеком, животным, растением), с одной стороны, и элементами неживой, с другой. В этой связи полезно вспомнить следующее высказывание С. Д. Кацнельсона: «Смешно отрицать, что фантастические элементы наподобие мифологии, магии и т. п. занимали огромное место в сознании первобытных людей. Но каков бы ни был удельный вес этих иррациональных элементов в первобытном сознании, не им должна принадлежать главенствующая роль при определении важнейших особенностей этой стадии. Мышление всякой эпохи есть, прежде всего, процесс отражения действительности, процесс подхода к жизни и воспроизведение ее с различной степенью точности и приближения. Понять мышление какой-либо эпохи значит, прежде всего, раскрыть отклонения этого мышления к действительности. . .»²⁰⁰

²⁰⁰ С. Д. Кацнельсон. Язык поэзии и первобытно-образная речь. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», т. VI, вып. 4, 1947, стр. 302.

Думается, что принципы активного строя составляют одно из наиболее очевидных проявлений того, как внешний мир детерминирует через сферу сознания характер языковой структуры. Эти принципы не дают никаких оснований думать, что они порождены так называемым дологическим мышлением.

Замеченная еще ранними исследователями значительная степень лексической и грамматической конкретности выражения в активных языках нередко истолковывалась неспособностью якобы их носителей к абстрактному мышлению. В частности, А. Тромбетти полагал, что «неспособность к абстрагированию явствует, например, из обязательного употребления притяжательных элементов при названиях частей тела. Во многих языках не говорят просто «рука», но обязательно «моя, твоя рука» и т. д. Кроме того, в некоторых американских языках при отсутствии определенных показателей принадлежности употребляется показатель неопределенности — «чья-то рука». . .²⁰¹ В таком же духе иногда истолковывалось явление дублетности семантически тождественных глагольных лексем, соотносящихся с именами активного и инактивного классов, различение инклюзивного и эксклюзивного местоимений и некоторые другие факты.

В соответствии с некоторыми особенностями своей структурной организации языки активной типологии могут быть разделены на три разновидности. В одной из них, представленной членами «большой семьи» на-дене, оппозиция активного и инактивного начал в целом близка к противопоставлению одушевленного и неодушевленного начал (в этом состоянии могут отсутствовать отдельные частные признаки активного строя; например, дифференциация инклюзивной и эксклюзивной лексем местоимения 1-го лица множественного числа). Комплекс структурных признаков особенно полным образом выступает в эталонной разновидности рассматриваемых языков (семья тупи-гуарани). Наконец, в третьей, представленной языками прокуа-каддо, мускоги (и, вероятно, группой галф в целом), подобно первой также могут отсутствовать

²⁰¹ А. Тромбетти. О теории пассивного характера глагола. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 163; ср. также: W. Wundt. *Volkerpsychologie*. . . , стр. 111—112; E. Cassier. Указ. соч., стр. 224.

отдельные частные характеристики активности. Языкам сиу принадлежит, по-видимому, промежуточная позиция между эталонной и последней разновидностями.

Обращает на себя внимание и определенная структура, лежащая в фундаменте совокупности фреквенталий активного строя, особенно отчетливо выступающих в ингредиентах макросемьи на-дене. За такими фактами лексики, как противопоставление дублетных («одушевленных» и «неодушевленных») глаголов, материальное тождество лексем, обозначающих соотносительные части тела и растения ('кожа' ~ 'кора' и т. п.), различные способы разграничения одушевленности и неодушевленности на уровне морфологии и т. д., должно стоять противопоставление одушевленного и неодушевленного начал. Относительно меньший процент подобных явлений засвидетельствован в языках мусоги и ирокуа-каддо.

В следующей главе будет предпринята попытка показать, что три разновидности языков активного строя отражают собой последовательно ступени внутренней эволюции последнего.

АКТИВНЫЙ СТРОЙ В ДИАХРОНИИ

Должно быть естественным, что совершенно недостаточная исследованность самих принципов структурной организации языков активной типологии накладывает особенно жесткие ограничения на перспективы диахронического рассмотрения объекта настоящей работы. Необходимо учесть и то обстоятельство, что в силу специфики развития языкознания история современных представителей активного строя оказалась изученной крайне поверхностно, если не сказать — была едва затронута исследователями. Вместе с тем монографическая разработка совокупной проблематики активности осталась бы неполной без попытки, хотя бы в наиболее общих чертах наметить закономерности эволюции, переживаемой активными языками (ср. справедливые замечания ряда лингвистов о том, что историко-типологические исследования прошлого нередко оставляли в тени вопрос о развитии языковой структуры в рамках едипого языкового типа)¹.

Представление об этих закономерностях дают как тенденции, наблюдаемые на материале отдельных активных языков, так и современные гипотезы о путях исторического развития некоторых языковых семей (таких, как индоевропейская, картвельская, енисейская и др.), древнейшее состояние которых явно или неявно отождествляется в ряде современных исследований в качестве активного. Следует принять во внимание и то, что при решении подобной задачи в настоящее время диахроническая типология может опираться и на некоторые более общие закономер-

¹ Р. А. Будагов. Проблемы развития языка. М.—Л., 1965, стр. 59;
L. Hjelmslev. Le langage. Paris, 1966, стр. 128—129.

ности языкового развития, прослеживаемые и на фактическом материале представителей иных типологий².

Несмотря на то что процессы развития активной типологии, с одной стороны, и генезис самой последней, с другой, по-видимому, обусловлены единой по существу направленностью эволюции языковой структуры, наиболее сложный вопрос происхождения активного строя, решение которого предполагает обращение к типологически отличному состоянию языка, служит предметом самостоятельного рассмотрения в заключительной главе. В силу этого основное внимание здесь сосредоточено на процессах преобразования эталонного активного строя в позднеактивное состояние, характеризующееся увеличением в языковой структуре удельного веса черт эргативности или номинативности. Чтобы продемонстрировать большое единообразие тенденций развития активности, значительное место в данной главе отводится обзору гипотез относительно древнего типологического облика целого ряда языковых семей, характеризующихся в настоящее время более или менее выдержанным номинативным строем (взаимосвязь и диахроническое взаимоотношение активной и эргативной типологии представляются в целом более ясными).

Наиболее общая закономерность диахронического развития активного строя, реализующаяся в широкой совокупности частных процессов, должна быть сформулирована как последовательно проводимая на всех уровнях языка тенденция усиления ориентации его строевых элементов на передачу субъектно-объектных отношений. В предыдущей главе были охарактеризованы три бросающиеся в глаза разновидности этого строя — последовательно противопоставляющая активное и инактивное начала (эталонная), в какой-то мере приближающая его к оппозиции одушевленного и неодушевленного (по-видимому, раннеактивная), а также разновидность, в которой замечен несколько более значительный удельный вес элементов субъектно-объектной соотнесенности (вероятно, — позднеактивное состояние). Если за стабильной по своему существу оппозицией одушевленного и неодушевленного

² Ср.: Г. А. Климов, Очерк общей теории эргативности. М., 1973, стр. 204—258; Он же. Вопросы континентно-типологического описания языков. «Принципы описания языков мира». М., 1976.

Начал, профилирующей в ряде языков классной типологии, угадывается лишь весьма грубое приближение к ориентации языковой структуры на передачу субъектно-объектных отношений, а за противопоставлением активного и пассивного оно выступает несколько более отчетливым образом, то позднеактивное состояние обнаруживает уже непосредственные точки соприкосновения с эргативным и номинативным строем. Таким образом, именно в зависимости от степени ориентированности элементов языковой структуры на выражение субъектно-объектных отношений возникает возможность взаимно разграничить раннеактивное, эталонное активное и позднеактивное состояния языка.

Действительно, большие возможности структуры позднеактивного состояния с точки зрения объяснения принципов эргативного и номинативного строя едва ли возможно переоценить. Кажется поэтому естественным, что во многих эмпирических исследованиях последнего полустолетия на материале большого числа языковых семей явном или неявном прослеживаются две типовые линии преобразования активного строя, одна из которых может быть определена как эргативизирующая, другая — как номинативизирующая. Вместе с тем в настоящее время приходится ограничиться соображениями лишь самого общего порядка относительно каузальной обусловленности эргативизирующих или номинативизирующих тенденций в эволюции активного строя.

В соответствии с характерными особенностями соотношения лексического и грамматического, чрезвычайно отчетливо заявляющими о себе в рассматриваемых языках, ведущая роль в ходе развития активного состояния принадлежит изменениям принципов структурной организации лексической системы, через посредство которых соответствующие преобразования наступают на других уровнях языковой структуры — прежде всего синтаксическом и, далее, морфологическом. Наиболее консервативным с точки зрения реализации континентивно-типологических изменений уровнем, как об этом свидетельствуют и факты других языковых типов, оказывается морфологический, который многими своими характеристиками способен отражать нормы пережитого состояния даже в то время, когда на более высоких уровнях уже наступила резкая структурная перестройка.

На основе подобной закономерности возникает возможность соотнести структурное состояние языков на-дене (лайда, тлингит, аяк и атапаскских) с раннеактивным, состояние языков тули-гуарани, а также с некоторыми оговорками, языков сиу — с близким к эталону активности, и, наконец, состояние языков мускоги и ирокезских — с позднеактивным.

Чтобы составить представление о внутренней логике диахронического развития активного строя, естественно в первую очередь обратиться к изменениям на лексическом уровне языка.

ЛЕКСИКА

Если учесть, что в языках активного строя лексическая система несет в плане передачи субъектно-объектных отношений большую функциональную нагрузку, чем в представителях эргативной и особенно номинативной типологии, то нетрудно догадаться, насколько интересные процессы качественных изменений должны происходить с течением времени в принципах структурной организации их глагольной и именной лексики.

Внутренняя логика развития глагола выражается здесь в резком ослаблении оппозиции глагольных лексем по признаку одушевленности ~ неодушевленности передаваемого действия, в усилении их противопоставления по активности ~ стативности последнего с дальнейшим выявлением тенденции к переходу на иные принципы лексикализации. В предшествующей главе были приведены свидетельства того, что еще в активных языках эталонного типа корреляция глагольных слов по активности ~ стативности весьма существенно отходит от оппозиции по одушевленности ~ неодушевленности действия. В позднеактивном состоянии уже фиксируется тенденция к перестройке профилирующего противопоставления активных и стативных глаголов на явную или скрытую оппозицию транзитивных и интранзитивных. По-видимому, более однородную эволюцию в пределах активного состояния обнаруживают класс «аффективных» глаголов: в его эталонных и поздних представителях он, видимо, достигает своего максимального расширения (при этом замечается лишь тенденция к его более строгому ограничению составом *verba sentiendi* и *verba affectuum*). В целом

за всеми названными процессами можно усмотреть более общую тенденцию к формированию в рамках позднеактивного состояния глагольных слов с более отчетливой субъектной или объектной интенцией.

Вместе с тем от структурной эволюции глагола в активных языках невозможно отделить и интенсивно протекающий здесь процесс формирования имени прилагательного.

В качестве наиболее общей тенденции структурного развития системы именной лексики здесь следует рассматривать дальнейшее ослабление стабильной по своему характеру классификации субстантивов по признаку одушевленности ~ неодушевленности. Оно получает свое выражение во все более крепнущем в языках активной типологии принципе их лабильного противопоставления по значительно более абстрактному признаку активности ~ инактивности соответствующих денотатов. В то же время за стабильными (в полном смысле слова) номинальными классификациями, сохраняющимися в целом ряде представителей активного строя, стоят обычно более мелкие группировки имен, определяющих специфику лишь частных подсистем языковой структуры (главным образом — согласования в пределах единой синтагмы).

Среди более частных процессов эволюции именной лексики в активных языках следует назвать встречающиеся уже в позднеактивном состоянии факты нейтрализации противопоставления инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа, а также отдельные случаи формирования разряда притяжательных местоимений (обычно характеризующихся, впрочем, только предикативным употреблением).

* * *

Уже в эталонных представителях активной типологии распределение глагольных лексем на активные и стативные в основном достигает своего логического завершения. Лишь весьма незначительная группа стативных по своей семантике, но передающих одушевленное действие, глаголов формально трактуется в них подобно активным. Так, например, в языке гуа: ани такие семантически стативные глаголы, как *пембо́* 'стоять' (а-пембо́ 'я стою'), *варэ́* 'сидеть' (а-варэ́ 'я сижу'), *пепó* 'лежать' (а-пепó 'я лежу'), *кэ́* 'спать' (а-кэ́ 'я сплю') и некоторые

другие ведут себя как активные и, в частности, имеют в своей морфологической структуре личные аффиксы активного ряда. Аналогичное положение налицо в близкородственном ему языке камаюра, где стативные по своему значению глаголы ʔam 'стоять' (o-ʔam 'он стоит'), in 'сидеть' (o-in 'он сидит'), rəhák 'держат' (o-rəhák 'он держит'), k^wahár 'уметь', 'знать' (o-k^wahár 'он умеет, знает') трактуются в качестве активных. В представителях позднего активного состояния наблюдается не только полная редукция этой узкой группы за счет переключения ее ингредиентов в класс регулярных стативных глаголов, но и целый ряд других процессов.

Для представителей позднеактивного состояния прежде всего, по-видимому, характерно уже некоторое ослабление оппозиции активных и стативных глаголов, проявляющееся в силу возникновения тенденций к перестройке оппозиции глагольных классов на новых основаниях. В языковой эмпирии известны случаи, когда структурно единая прежде глагольная лексема начинает трактоваться и как активная, и как стативная: ср., например, глаголы kigéʔe 'летать' 'лететь' и kikši 'напрягаться' в языке хидатса³. Вместе с тем появляются факты перехода активных глаголов на спряжение по типу стативных и обратно. Еще К. Уленбек заметил, что «иногда в языке дакота трактуется как глагол действия то, что мы раньше должны были воспринимать как глагол состояния или положения. Это имеет силу по отношению, например, t'i 'жить' — wat'i 'я живу', duzahaⁿ 'быть быстрым' — waduzahaⁿ 'я быстр'»⁴. Ср. также трактовку исторически активного глагола tta 'умирать' в дакота и ассинибойн как стативного или интранзитивного⁵. Следует полагать, что подобные факты обозначают дальнейшее усиление субъектной или объектной интенции, в отдаленном приближении стоявшей уже за ранее реализованным процессом лексикализации глагольных слов по принципу активности~стативности. Интересно отметить в этой же связи, что если в ран-

³ F. M. Robinett. Hidatsa III. Stems and Themes. — IJAL, v. 21, 1955, № 3, стр. 216.

⁴ Х. К. Уленбек. Пассивный характер переходного глагола действия в языках Северной Америки. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 85.

⁵ N. B. Lein. The Assiniboine Language. — IJAL, v. 30, 1964, № 3, pt II, стр. 37.

нем и эталонном активном состоянии даже в случае различения лексем типа 'убивать' и 'умирать' обе они включаются в класс активных (ср. положение в языках тупи-гуарани), то в последующий период первая из них оказывается причислена к активным глаголам, а вторая — к стативным (ср. картину в ряде языков сиу, мускоги, ирокезских). Иначе говоря, намечающаяся перегруппировка глагольных лексем предполагает переразложение их семантического содержания от бинома активный глагол ('садиться' 'сажать') ~ стативный глагол ('сидеть') к биному транзитивный глагол ('сажать') ~ интранзитивный глагол ('садиться' 'сидеть').

Внешним выражением дальнейшего усиления субъектной или объектной интенции глагольных лексем является начинающийся в позднеактивных языках процесс материального уподобления звукового облика первоначально этимологически несвязанных активных и стативных глаголов, свидетельствующий о переразложении семантического содержания тех и других. Его внешним признаком служит при этом уподобление фонетического облика стативного глагола звукотипу индуцирующим образом воздействующего на него соответствующего активного.

Такая направленность структурной эволюции кажется тем более вероятной на фоне значительно более общего наблюдения об исторической связи, существующей в конечном счете между понятиями «переходности» и «одушевленности». В частности, Дж. Лайонз прямо пишет, что «переходность связана, следовательно, с различением одушевленных и неодушевленных имен: в идеальной системе (под этим термином автор по существу понимает структуру активного строя. — Г. К.) первые могут быть агентивными и неагентивными (как в транзитивном, так и интранзитивном предложении), последние — только неагентивными»⁶.

Тенденции, наблюдающиеся в изменениях принципов лексикализации глагольных слов в ходе внутренней эволюции активного строя, оказываются в строгом соответствии с выводами исторического порядка, обычно формулируемыми в рамках теории эргативности.

⁶ J. Lyons. Introduction to theoretical linguistics. Cambridge, 1971, стр. 359; Ср. также: И. И. Мещанинов. Эргативная конструкция в языках различных типов. М., 1967, стр. 164.

На факты постепенной эргативизации структуры активного строя по существу уже неоднократно обращалось внимание исследователями проблемы эргативности. При этом особенно часто, хотя и не всегда в тождественных терминах, констатировался процесс преобразования корреляции активных и стативных глаголов в корреляцию транзитивных и интранзитивных, признание которого составляет в настоящее время уже довольно общее место. Заслуживает акцента то обстоятельство, что подобное представление разделяется столь разными и, следовательно, отправляющимися от неодинаковых исходных предпосылок языковедами, как К. Уленбек, С. Л. Быховская, И. И. Мещанинов, М. М. Гухман, Ю. Д. Дешериев, А. Н. Савченко, К.-Х. Шмидт и др.⁷ В рамках той же теории отмечается и непродуктивность класса аффективных глаголов даже в тех эргативных языках, где он функционирует еще и поныне⁸.

При этом обнаруживается, что активные глаголы с течением времени постепенно распределяются между транзитивными и интранзитивными. «Семантика самих глаголов действия, — писал в этой связи И. И. Мещанинов, — ставит их в разное положение в зависимости от того, в какого рода предложениях они выступают. Одни глаголы действия могут быть связаны с его направленностью на объект и потому могут передавать в предложении требуемые высказыванием отношения к объекту и отражать различное положение субъекта. Другие же глаголы действия ограничиваются констатированием самого их акта. Объект в данном случае отсутствует и наличествовать не может, тогда как субъект всегда остается в одном и том же значении действующего лица и своих отношений

⁷ Х. К. Уленбек. Пассивный характер . . . стр. 84, С. Л. Быховская. «Пассивная» конструкция в яфетических языках. «Язык и мышление», II, 1934, стр. 72; И. И. Мещанинов. Общее языкознание. К проблеме стадийности в развитии слова и предложения. Л., 1940, стр. 219—220; М. М. Гухман. Происхождение строя готского глагола. Труды ин-та языка и мышления им. Н. Я. Марра, XIV. М.—Л., 1940, стр. 143; Ю. Д. Дешериев. Некоторые особенности эргативного строя предложения в бацбийском языке (эргативный строй ≠ непереходного глагола). «Язык и мышление», XI. Л., 1948, стр. 160; К.-Х. Шмидт. Проблемы генетической и типологической реконструкции кавказских языков. — ВЯ, 1972, № 4, стр. 23.

⁸ Г. А. Климов. Очерк общей теории эргативности, стр. 148—149.

к глаголу не меняет. Это приводит к выделению в составе глаголов действия двух групп, связанных с их собственным содержанием. Одна из этих групп, выражающая действие, могущее переходить на объект, обособляется по своей семантике переходности действия от другой, выражающей действие, не могущее переходить на объект. Последняя группа так называемых непереходных глаголов действия может быть по своей семантике использована исключительно в безобъектных предложениях. . . »⁹ С другой стороны, стативные глаголы всецело преобразуются в интранзитивные. Реализация этих процессов означает, что основной фонд глагольных слов языка приобретает все более отчетливую субъектную или объектную интенцию. По-видимому, уже в позднеактивном состоянии языка между классами транзитивных и интранзитивных глаголов начинают распределяться и аффективные.

В хорошо известном из некоторых эргативных языков, в частности абхазско-адыгских, нахско-дагестанских и других, распределении глаголов на так называемые «динамические» и «статические» (первые определяются как глаголы, выражающие действия, а вторые — как передающие состояния или результат действия)¹⁰ нетрудно увидеть остаточное — функционирующее в основном лишь на уровне морфологии — переживание корреляции активных и стативных глаголов. По-видимому, к принципам активного строя восходят и особенности глагольной структуры в других представителях эргативной типологии — в алгонкинских языках Северной Америки. Здесь «глаголы подразделяются на интранзитивные и транзитивные. Первые подразделяются на такие, которые соотносятся с одушевленным деятелем, одушевленные интранзитивные глаголы, М(еномини) раар=хсен 'он падает', и те,

⁹ Н. И. Мещанинов. Глагол. М.—Л., 1948, стр. 139.

¹⁰ Ср.: К. В. Ломтатидзе. Статические и динамические глаголы в абхазском языке. — ИКЯ, т. VI, 1954, стр. 257—271 (на груз. яз.); Г. В. Розава. Динамические и статические глаголы в адыгских языках. — ИКЯ, т. VIII, 1956, стр. 459—467; Ю. Д. Дешериев. Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских народов. Грозный, 1963, стр. 466; Е. Ф. Джейраншвили. Удийский язык. Грамматика, хрестоматия, словарь. Тбилиси, 1971, стр. 94—96 (на груз. яз.); Д. С. Иманшвили. Статические глаголы в языках нахской группы. — ИКЯ, т. XVIII, 1973, стр. 350—359.

которые соотносятся с неодушевленным деятелем, неодушевленные интранзитивные глаголы, М(еномини) раарεh-nen 'то падает'. Транзитивные глаголы подразделяются на те, которые соотносимы с одушевленным пациенсом, транзитивные одушевленные глаголы, М(еномини) nemua-wak 'я ем их' (напр., apoohkanak 'малину' [одушевленного класса]), и те, которые соотносимы с неодушевленным пациенсом, транзитивные неодушевленные глаголы, М(еномини) 'я ем их' (напр., atsεhemenan 'землянику' [неодушевленного класса])»¹¹.

В другом случае, по-видимому, обозначающем начало номинативизации языковой структуры, намечается процесс перестройки классов активных и стативных глаголов на скрытые классы транзитивных и интранзитивных. При этом формальные характеристики обоих приобретают особенно отчетливую тенденцию к ориентации на выражение субъектно-объектных отношений. Необходимо подчеркнуть, что здесь намечается лишь начало подобного процесса. Неудивительно поэтому, что прецеденты описания глагола позднеактивных языков в терминах транзитивности ~ интранзитивности приводят к недоразумениям¹².

Эта линия развития также находит свою поддержку в исследованиях по истории принципов глагольной номинативизации в языках номинативной типологии (в частности, реконструкцией в некоторых из них бывшего противопоставления тех же классов динамических и статических глаголов). Мысль о том, что скрытому противопоставлению транзитивных и интранзитивных глаголов в них должно было предшествовать распределение глаголов на «глаголы действия» и «глаголы состояния», высказывалась прямо или косвенно не только в индоевропейистике, но и в таких дисциплинах, как картвелистика (автор рассматривает современное состояние картвельских языков как по преимуществу номинативное), енисейское, афразийское языкознание, кечумарология, тюркология и в нек. др.

¹¹ L. Bloomfield. *Algonquian*. «A Leonard Bloomfield Anthology». Bloomington — London, 1970, стр. 450.

¹ Ср.: W. Bright. *Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists*. — *IJAL*, v. 31, 1965, стр. 260—261; P. M. Postal. *A Note on Understood Transitivity*. — *IJAL*, v. 32, 1966, стр. 90—93.

Так, с точки зрения И. М. Тронского, противопоставление глаголов действия глаголам состояния, до которого доходит дальняя реконструкция протоиндоевропейского состояния, представляет собой аналог к оппозиции активного и пассивного классов в области имен¹³. А. Н. Савченко приходит к выводу, что две серии древнехеттских личных глагольных окончаний на *-mi* и *-hi* должны были первоначально соотноситься с глаголами «грамматического значения действия» и глаголами «состояния» соответственно¹⁴.

По мнению А. С. Чикобава, в картвельских языках распределение глаголов на статические и динамические составляет явление несравнимо более древней формации, чем становление в глаголе оппозиции действительного и страдательного залогов, а статические глаголы «являются одной из разновидностей интранзитивных на определенном этапе развития»¹⁵.

Исходя из ряда архаичных черт в глагольном словообразовании кетского языка, Г. К. Вернер высказал мысль о том, что в сфере глагольных слов исторически здесь должны были выделяться глаголы действия (активные) и глаголы состояния (стативные)¹⁶. Согласно И. М. Дьяконову, противопоставление глаголов действия и состояния должно быть спроецировано еще в протоафразийскую эпоху¹⁷. М. А. Коростовцев подчеркивает, что «для египетского языка оппозиция *transitive : intransitive* вовсе не представлялась столь всеобщей и обязательной, как для нас, и что диффузность категорий переходности и непереходности была вполне нормальным

¹³ И. М. Тронский. Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции). Л., 1967, стр. 90—91.

¹⁴ А. Н. Савченко. Древнейшие грамматические категории глагола в индоевропейском языке. — ВЯ, 1955, № 4, стр. 118.

¹⁵ А. С. Чикобава. Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках. I. Историческое взаимоотношение номинативной и эргативной конструкций по данным древнегрузинского литературного языка. Тбилиси, 1948, стр. 108 (на груз. яз.).

¹⁶ Г. К. Вернер. Реликтовые признаки активного строя в кетском языке. — ВЯ, 1974, № 1, стр. 37.

¹⁷ И. М. Дьяконов. Проблема протоафразийской глагольной системы. «Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков (12—14 декабря). Предварит. материалы». М., 1972, стр. 48.

явлением»¹⁸. Обращает на себя внимание при этом то обстоятельство, что постулируемая им для этого языка корреляция «прямых» и «замкнутых» глаголов напоминает дихотомию динамических и статических (ср. включение в состав первых как транзитивных глаголов, так и *verba movendi*).

Реконструкция древнейшего принципа лексикализации глагольных слов в тюркских языках приводит Э. В. Севортяна к следующему заключению: «Аспект активности ~ пассивности (имеется в виду стативность. — *Г. К.*) предшествует аспекту переходности ~ непереходности. Его действие проявлялось уже тогда, когда категорий переходности и непереходности в языке не было и активное или пассивное значение именной основы непосредственно входило в лексическое значение. . . глагола. . .»¹⁹

Хотя в отношении принципов лексикализации глагольных слов, характеризующих номинативные языки, в настоящее время все еще нет достаточной ясности, по-видимому, не приходится сомневаться в том, что в них находит свое структурное отражение по крайней мере скрытое противопоставление транзитивности ~ интранзитивности. «Исторический анализ синтаксиса отдельных индоевропейских языков, — отмечает в этой связи А. В. Десницкая, — показывает процесс постепенной грамматизации первоначально чисто лексического (точнее: семантического. — *Г. К.*) деления глаголов на две группы (переходные и непереходные глаголы). Деление это лишь путем длительного абстрагирования от конкретных случаев словоупотребления в том или ином смысловом контексте, приобретало закономерный синтаксический характер, но до сих пор не получило, однако, специального морфологического оформления»²⁰. «Определяющим моментом, — продолжает автор, — здесь является обусловленная лексическим значением способность тех или иных глаголов иметь при себе прямое дополнение. Существенную роль в развитии процесса «грамматизации» переходности и непереходности играет также становление

¹⁸ М. А. Коростовцев. Категория переходности и непереходности глаголов в египетском языке. — ВДИ, 1970, № 4, стр. 112.

¹⁹ Э. В. Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования. М., 1962, стр. 95.

²⁰ А. В. Десницкая. Из истории развития категории глагольной переходности. «Памяти акад. Л. В. Щербы». Л., 1951, стр. 136.

категории страдательного залога, происходящее в индоевропейских языках уже в эпохи, засвидетельствованные письменными памятниками. Возможность образования страдательного залога может рассматриваться уже как формально-грамматический критерий переходности. . . »²¹

С фазой активного строя связан также факт формирования относительно узкого класса глаголов непроизвольного действия и состояния, не находящего структурной мотивации ни в эргативных, ни в номинативных языках. Однако уже с его наиболее поздним состоянием, по-видимому, может быть соотнесено начало процесса видоизменения этого класса, заключающегося в его более строгом ограничении совокупностью лишь *verba sentiendi* и *verba affectuum* за счет выпадения из него целого ряда других лексем, не допускающих трактовки в качестве активных или стативных. Во всяком случае в таких языках, как мускоги и ирокезские, он, по-видимому, охватывает в основном лишь глаголы чувств (*experiential verbs*)²².

Проявляющиеся в позднеактивном состоянии тенденции к преобразованию оппозиции активных и стативных глаголов, а также к некоторой редукции класса глаголов непроизвольного действия, не остаются без последствий для синтаксической и морфологической систем языка.

Параллельно с этим в позднеактивном состоянии в сфере принципов организации именной лексики происходит дальнейшее ослабление противопоставления классов активных и инактивных существительных. Логические основания этой скрытой по своему характеру оппозиции начинают стираться, поскольку все более дает о себе знать тенденция к формированию лабильных «классов» субъектов и объектов. Это в свою очередь означает, что намечается ослабление и тех синтаксических и морфологических факторов, которые ранее служили обособлению активного и инактивного классов (например, различения форм органической и неорганической принадлежности в притяжательной флексии имен). Нетрудно в то же время показать, что в тех случаях, где в активных

²¹ Там же, стр. 143.

²² Ср. :W. L. Chafe. A Semantically Based Sketch of Onondaga. — IJAL, v. 36, 1970, № 2, стр. 11—15.

языках так или иначе продолжают удерживаться более частные классные группировки имен, они оказываются оттесненными на периферию языковой структуры, характеризуя при этом лишь ее некоторые частные подсистемы (главным образом — способ согласования в пределах синтагмы).

Языки активной типологии представляют весьма instructивные иллюстрации путей становления отдельных частей речи или, по крайней мере, их некоторых разрядов. Отмеченное в предшествовавшей главе использование чистой основы стативного глагола в функции определения, а не предиката, следует по всей вероятности рассматривать как отражение определенной ступени в формировании имени прилагательного (по существу то же самое следует сказать и о чистой основе субстантива, используемой в рассматриваемых языках в роли препозитивного определения). В частности, характерный для представителей активного строя факт постпозиции основы стативного глагола по отношению к определяемому находит здесь довольно очевидное структурное объяснение — она заимствована у предиката, к которому атрибутив данного типа восходит. В пользу незавершенности здесь процесса формирования прилагательного (равно, как и причастия) говорит как будто и ряд других обстоятельств — отсутствие каких-либо его словообразовательных аффиксов, специфической морфологии и др.

Нельзя не вспомнить в этой связи модели процесса формирования имени прилагательного, как она представлялась в свое время Л. П. Якубинскому. По его мнению, «первоначально группы имен, закрепляемых для обозначения признака, ограничиваются чисто лексически; определенные имена специализируются для обозначения признаков; так, например, в турецком языке слово «белый», ничем не отличаясь по форме от существительного, закреплено для выражения понятия «белый». Это, так сказать, лексическое определение. Но уже рано возникают и синтаксические формы определения прилагательного. Так, в том же турецком языке имя *demir* — «железо», как и многие другие имена, может выступать и в качестве определения — прилагательного, и в качестве имени существительного; в первом случае оно ставится перед определяемым именем и не склоняется, например, *demir kapı* — «железная дверь», собственно

«железо-дверь». . . в других языках при благоприятных обстоятельствах определение-прилагательное оформляется и морфологически особыми суффиксами—окончаниями»²³.

С функционированием активного строя все более теряет свои позиции такая его фреквенталия, как лексемное тождество соотносительных понятий частей организма и частей растения (например, 'кожа ~ кора', 'ухо ~ лист', 'рог ~ ветвь, сук' и др.), наиболее характерная для раннеактивной фазы. Наряду с этим все более снижают свою продуктивность и использовавшие подобные тождества словообразовательные модели типа 'кожа + дерево' = 'кора' и т. п. Этот процесс протекает, однако, настолько медленно, что отдельные тождества такого характера встречаются даже в эргативных или номинативных языках, особенно в тех, структура которых сохраняет еще точки соприкосновения с активным строем (например, в абхазско-адыгских, майя-киче, картвельских и др.)²⁴.

Целый комплекс более частных проявлений эволюции лексической системы активного строя регистрируется в языках, структурный тип которых соотносится уже с позднеактивным состоянием.

Так, в большинстве языков мускоги уже отсутствует противопоставление инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа. Такая же картина, по-видимому, налицо в ряде ирокезских языков. Напротив, отсутствие этой оппозиции в атапаскских языках скорее обусловлено тем, что они еще не полностью раскрыли структурные потенции активного строя (возможно, именно последним обстоятельством объясняется то, что Х. Хойер, предпринявший попытку ответить на вопрос «каким образом язык организует посредством своей структурно-семантической системы мир опыта, в котором живут его носители», так и не увидел принципиальной

²³ Л. Н. Якубинский. История древнерусского языка, М., 1953, стр. 211.

²⁴ Ср.: М. Swadesh. The Oto-Mangean Hypothesis and Macro Mixtecan. — IJAL, v. XXVI, 1960, № 2, стр. 99; Т. Kaufman. Areal Linguistics and Middle America. «Current Trends in Linguistics. 11. Diachronic, Areal and Typological Linguistics». The Hague — Paris, 1973, стр. 477.

роли здесь дихотомии активного и инактивного начал²⁵).

В некоторых представителях семьи сиу намечается формирование притяжательных местоимений. В частности, в языке ассинибойн уже складываются их основы, получающие пока почти исключительно предикативное использование. Ср. *he sáħara hemitáwa* 'это мои ботинки', *he iš ne nitáwa* 'это — твое', *he iš ɥkítawa* 'это — наше' и т. п.²⁶

В отдельных случаях (по существу уже в языках смешанной типологии) наблюдаются зачатки становления лексем возвратных местоимений 'сам' и 'свой'.

СИНТАКСИС

Изменения в основных принципах структурной организации лексики активных языков неизбежным образом детерминируют типологические сдвиги, намечающиеся и в их грамматическом строе. В плане контенсивной типологии особенно справедлив взгляд, согласно которому «не только план выражения, но и план содержания грамматических явлений проходит по сложному пути развития, представляющему не меньший интерес, чем история плана содержания лексических явлений, или история плана выражения грамматики. Более того, можно полагать, что именно содержательная сторона эволюции грамматических явлений представляет собой существо их развития»²⁷. Наиболее далеко идущие структурные последствия влечет за собой характерное для поздне-активного состояния некоторое ослабление принципа лексикализации глагольных слов по признаку активности ~ инактивности передаваемого действия и начало формирования явной или скрытой оппозиции транзитивного и интранзитивного глаголов. Первый случай обозначает тенденцию к эргативизации грамматического строя

²⁵ H. Hoijer. *Semantic Patterns of the Navaho Language*. «Sprache — Schlüssel zur Welt». Festschrift für Leo Weisgerber. Düsseldorf, 1959, стр. 361 и след.

²⁶ N. B. Levin. Указ. соч., стр. 23—27.

²⁷ А. Е. Супрун. Типологический аспект сравнительно-исторических исследований. «Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. Тезисы докладов». М., 1974, стр. 6.

языка, второй — тенденцию к его номинативизации (другие линии эволюции эмпирически не прослеживаются).

Реализация обеих названных линий делает активную типологию предложения в языке невыдержанной. Ощущается некоторое ослабление синтаксической доминанции глагольного сказуемого над именными членами предложения — подлежащим и дополнениями (в итоге создаются условия для редукции случаев инкорпоративной связи подлежащего или ближайшего дополнения с глаголом-сказуемым). Впоследствии это ведет к становлению оппозиции его эргативной и абсолютной конструкций или единой номинативной.

В соответствии с этим не остается неизменным характер дифференциации дополнений: намечается тенденция к преобразованию противопоставления ближайшего и дальнейшего дополнений в оппозицию прямого и косвенного.

Не приходится сомневаться, однако, в определенной общности процессов, стоящих за эргативизирующей и номинативизирующей тенденциями развития синтаксической структуры. Она неизменным образом заключается в усилении ориентации строевых элементов языка на передачу субъектно-объектных отношений.

Какие аргументы можно привести в пользу именно такой, а не обратной направленности процесса?

Прежде всего за такой ход эволюции говорят три следующих аргумента общего порядка. Во-первых, нельзя не обратить внимания на характерное диалектическое соотношение, существующее между формой и содержанием соответствующих языковых явлений и, в частности, эргативной конструкции. Если в плане выражения последняя модель еще совпадает в ряде отношений с трехчленным вариантом активной (отчетливая доминанция глагола-сказуемого над именными членами предложения, словопорядок SOV, некоторые особенности морфологического оформления составляющих компонентов), то в плане содержания она в значительной степени уже приспособлена к передаче субъектно-объектных отношений (ср. разграничение субъекта переходного и непереходного действия, дифференцированность прямого и косвенного объекта и т. п.), на выражение которых специально ориентирована структура номинативной конструкции. Во-вторых, о том же должна говорить высокая объяснительная

способность модели активной конструкции предложения, что в имплицитной форме уже неоднократно было использовано исследователями проблематики теории эргативности. Так, еще в 1934 г. С. Л. Быховская обосновывала большую древность активного построения по сравнению с эргативным невозможностью преобразования в языках эргативного строя безобъектных глаголов абсолютной конструкции в класс транзитивных, что пришлось бы допустить при обратном предположении (как известно, в эргативных языках засвидетельствована противоположная тенденция перехода непродуктивной группы так называемых диффузных или переходно-непереходных глаголов при их безобъектном употреблении в класс интранзитивных)²⁸. В недавнее время обобщенная модель активной системы была построена Дж. Лайонзом с целью диахронического объяснения механизма как эргативной, так и номинативной типологии предложения²⁹. Наконец, третий аргумент общего порядка заключается в том, что именно такая историческая перспектива соответствует отмечающейся в целом ряде современных исследований индуцирующей роли грамматических потенций имен активного («одушевленного») класса и активных глаголов («глаголов действия») в развитии языковой структуры (имеется в виду процесс постепенного распространения этих потенций соответственно на имена инактивного класса и стативные глаголы)³⁰.

Однако существует и непосредственное структурное основание исторической трансформации активной типологии предложения в эргативную или номинативную. Если разделять известный в лингвистической теории тезис о первичности лексического и вторичности грамматического, то положение о структурной доминации в активном построении глагольного сказуемого, несомненно, должно учитываться не только синхронным, но и диахроническим исследованием. Отсюда естественно прийти к заключению, что предпосылки исторического преобразования одной типологии предложения в иную следует искать,

²⁸ С. Л. Быховская. Указ. соч., стр. 72; ср.: И. И. Мещанинов. Общее языкознание. К проблеме . . ., стр. 219; А. Н. Савченко. Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке. — ЭКПЯРТ. Л., 1967, стр. 90.

²⁹ J. Lyons. Указ. соч., стр. 356—357.

³⁰ См., например: И. М. Тронский. Указ. соч., стр. 90.

по всей вероятности, в постепенной перестройке самого лексемного качества организующего ее глагола, и, следовательно, в изменении в языках эргативного и номинативного строя ранее функционировавших принципов структурной организации глагольной лексики (высказывавшаяся в прошлом точка зрения о происхождении эргативной конструкции предложения непосредственно из доглагольного состояния, как известно, так и не получила в специальной литературе ни эмпирического, ни теоретического обоснования).

В этой связи уместно заметить, что в отдельных случаях исследователи проблемы эргативности вплотную подходили именно к такому представлению процесса развития. Так, например, рассматривая специфику функционирования эргативности в бацбийском языке, еще и поныне сохраняющем довольно широкую совокупность реминисценций активного строя, Ю. Д. Дешериев констатирует, что в последнем «мы обнаруживаем пережиточно сохранившиеся признаки древнейшей семантической дифференциации глаголов действия и состояния и ее связь с генезисом эргативного строя предложения»³¹. С другой стороны, характеризуя активную модель предложения, реконструирующуюся, по всей вероятности, для древнейшего протоиндоевропейского состояния, А. Н. Савченко отмечает, что «при сравнении с вариантами эргативной конструкции, существующими в современных языках, она оказывается нетипичной, потому что в ней выражение субъекта действия эргативным или абсолютным падежом (точнее было бы сказать: активным или инактивным. — *Г. К.*) зависело не от переходности или непереходности глагола, а от глагольной формы действия или состояния. . . Нужно иметь в виду, что современные варианты эргативной конструкции, по-видимому, далеко отошли от того, что было при возникновении ее»³².

В свете сказанного естественно предположить, что формирование обеих коррелирующих моделей предложения эргативной типологии — эргативной и абсолютной — равно как единой его номинативной конструкции в номи-

³¹ Ю. Д. Дешериев. Некоторые особенности эргативного строя предложения в бацбийском языке, стр. 160.

³² А. Н. Савченко. Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке, стр. 90.

нативных языках, должно быть связано с фактом преобразования лексемного противопоставления активных и стативных глаголов. В одном случае последнее перестраивается в явную оппозицию транзитивных и интранзитивных, что знаменует собой эргативизацию языковой структуры. В другом — при становлении скрытой оппозиции обоих — происходит номинативизация строя языка.

Соответственно с намечающимся в позднеактивном состоянии уменьшением группы глаголов непроизвольного действия естественно ожидать функционального приближения образуемой последними конструкции предложения к аффективной. Совершенно недостаточная изученность активных языков не позволяет, однако, эмпирически проследить реализацию этого процесса.

Другую закономерность эволюции типологии предложения в рамках активного состояния образует последовательное изменение морфологического облика его конструкций. Постулированные в предшествующих главах три морфологических разновидности функционирующих в рассматриваемых языках моделей предложения — глагольная, смешанная и именная — обнаруживают между собой отношения определенной исторической последовательности.

Признание того, что глагольная лексема сказуемого составляет здесь структурную доминанту предложения не только в синхронном аспекте, но и в плане диахронии, с необходимостью указывает на первичность глагольного морфологического облика этих моделей. Ослабление выраженности отношений активности в составе глагольной словоформы может привести к формированию их смешанной морфологической разновидности, в которой те же отношения передаются как в форме глагола-сказуемого, так и в связанной с ней словоформе подлежащего. Наконец, полная утрата глаголом соответствующих потенций может привести к становлению исторически всегда очень поздней чисто именной морфологической разновидности всех известных активному строю моделей предложения. За всеми названными преобразованиями должно стоять постепенное изменение самого лексического качества глагола. Во всяком случае, именно в рамках именного морфологического типа моделей предложения активных языков легче всего искать предпосылки появления типологически отличной структуры предложения,

поскольку только здесь возникает возможность выражения каких-то иных отношений в составе глагольной словоформы.

Необходимо вместе с тем подчеркнуть абстрактный характер намечаемой схемы. Это связано с тем обстоятельством, что на практике далеко не все активные языки переживают этапы функционирования всех трех морфологических обликов моделей предложения. Широко распространены представители эргативной типологии, судя по всему, восходящие к беспадежным языкам активного строя (например, абхазский и абазинский, большинство папуасских, алгонкинские, чинук-цимшиан и др.). Существуют, вероятно, и некоторые номинативные языки, представляющие собой трансформацию беспадежных активных. Однако в случае активного языка, характеризующегося именной разновидностью морфологического облика предложения, трудно сомневаться в том, что в прошлом в нем должны были функционировать его глагольная и смешанная разновидности. Таким образом, именной тип структуры предложения, как бесспорное свидетельство позднего активного состояния, может быть использован в качестве одного из критериев периодизации конкретных представителей активного строя. Напротив, глагольный тип морфологического облика предложения сам по себе еще не может свидетельствовать в пользу переживания языком начальной фазы активности.

В языковой эмпирии, действительно, можно усмотреть свидетельства именно подобной перспективы изменений. Представляется довольно показательным, что в языках раннего и эталонного активного строя (семьи на-дене и тупи-гуарани) функционирует исключительно глагольная морфологическая разновидность характерных для него конструкций предложения. Лишь в части представителей позднеактивного состояния засвидетельствована их смешанная разновидность — ср. положение в языках мускоги (указания на функционирование оппозиции активного и инактивного падежей в языке дакота, по-видимому, неадекватны). Наконец, именной тип профилирующих конструкций предложения по достоверно идентифицированным активным языкам пока не зафиксирован. Следует учитывать, однако, что последний может проявляться и в языках, глагольная структура которых в определенной степени уже перестроена на принципы иной типоло-

гической схемы³³. В этой связи обращает внимание на себя то обстоятельство, что реконструируемое для древнейшего протоиндоевропейского и протокартвельского состояния предполагает передачу отношений активности прежде всего в именных компонентах предложения, в то время как структура глагольной словоформы здесь в какой-то мере уже переориентирована на выражение отношений номинативности.

Полная неисследованность вопроса о закономерностях линейных отношений членов предложения в представителях позднеактивной формации не позволяет заметить в них каких-либо тенденций к изменению словопорядка.

В соответствии с характерными для позднеактивного состояния тенденциями к изменению принципов лексикализации глагольных слов здесь, по-видимому, впервые намечается и ослабление оппозиции ближайшего и дальнейшего дополнений, позднее перестраивающейся в противопоставление прямого и косвенного дополнений, в том числе — прямого и косвенного дополнений номинативных языков. В последнем случае обычно сохраняются отчетливые морфологические свидетельства функционирования в прошлом ближайшего дополнения (см. стр. 201 настоящей работы).

МОРФОЛОГИЯ

Будучи наиболее консервативным в плане континентальной типологии уровнем языка, морфология в целом несколько позже реагирует на изменения, наступающие на его других уровнях, хотя ее профилирующие звенья всегда оказываются более или менее координированными с синтаксической и лексической системой.

Известны две противоборствующие концепции развития морфологических систем. Согласно одной из них эволюция их настолько индивидуальна, что использование материала и приемов историко-типологических исследований в исторической морфологии даже на стыке с синтаксисом оказывается невозможным или во всяком случае малоэффективным. Согласно другой, «подобно тому, как схожие социальные, экономические и религиозные уста-

³³ С. Л. Быховская. К вопросу о трансформации языка. «Доклады АН СССР», серия В, 1931, № 1, стр. 5—6.

новления выросли на разных концах мира из различных исторических antecedентов, так и языки, идя разными путями, обнаруживали тенденцию совпасть в схожих формах. Более того, — историческое изучение языков вне всяких сомнений доказало нам, что язык изменяется не только постепенно, но и последовательно, что он движется бессознательно от одного типа к другому и что сходная направленность движения наблюдается в отдаленнейших уголках земного шара. Из этого следует, что неродственные языки сплошь да рядом самостоятельно приходят к схожим в общем морфологическим системам»³⁴. Факты языков активной типологии скорее подтверждают адекватность второй точки зрения, поскольку в них удастся зафиксировать некоторые закономерности протекающих изменений.

С функционированием активного строя пробивают себе путь тенденции к выравниванию парадигмы глагольного спряжения. При этом отчетливо выступает индуцирующая роль морфологической структуры и словоизменительных потенций активных глаголов, по которым начинается выравнивание стативных. В морфологической структуре глагола возрастает удельный вес морфологических категорий, имеющих субъективное, а не объективное содержание. Частной линией реализации этого процесса является постепенное развитие временных градаций глагола за счет некоторого ослабления позиций категории способа действия.

В сфере имени наблюдается некоторое развитие морфологии. К морфологической категории притяжательности присоединяется категория падежа. Существуют основания полагать, что возникновение оппозиции активного и инактивного падежей знаменует собой факт формирования именного склонения (едва ли возможно говорить о падежной парадигме в языках нейтральной и классной типологии). В некоторых случаях особая аффиксация обозначает становление категории числа в имени.

Особенно заметные изменения, обозначающие начало преобразования активной типологии языка, соотносятся с его позднеактивным состоянием. В это время наступают некоторые изменения функции противопоставления активного и инактивного рядов личных глагольных аффиксов,

³⁴ Э. Сепир. Язык. Введение в изучение речи. М.—Л., 1934, стр. 95.

а также активного и пассивного падежей в имени. Начинается процесс редукции или структурной реинтерпретации глагольной категории версии. Зафиксированы отдельные случаи нейтрализации противопоставления органической и неорганической принадлежности в притяжательной флексии имен. При этом одна линия развития отмечает эргативизацию языковой структуры, другая — ее номинативизацию.

* * *

Наиболее очевидные изменения в истории активного строя связаны с глагольной морфологией, по своему реагирующей на историю лексической оппозиции активного и стативного глаголов.

Одной из довольно заметных закономерностей развития глагольной морфологии здесь оказывается намечающаяся тенденция к выравниванию парадигмы глагольного спряжения, происходящая за счет расширения словоизменятельных потенциалов стативного глагола. При этом отчетливо обнаруживается индуцирующая роль соответствующих возможностей активного глагола, по которым и начинается формальная унификация. Вследствие этого в тех активных языках, где еще ощутим классно-личный принцип спряжения, глагол обнаруживает линию его преобразования в чисто личное. Такая унификация реализуется при заметной ведущей роли личных аффиксов 1-го и 2-го лица по отношению к аффиксам 3-го, в которых классно-личный принцип оказывается наиболее устойчивым (его остаточное функционирование особенно заметно в языках на-дене, хотя ощутимо и в языках туши-гуарани).

Среди совокупности изменений необходимо подчеркнуть те, которые подчинены росту удельного веса в структуре глагола морфологических категорий, несущих субъективное содержание, за счет сокращения позиций категорий объективного содержания. Наиболее ярким примером этих изменений может служить постепенное становление темпоральных градаций глагола, протекающее параллельно с некоторым ослаблением значимости категории способа действия. Другой аналогичный пример составляют известные тенденции к ослаблению функционального противопоставления центробежной и нецентробежной версий активного глагола, либо к постепенному преобразо-

ванию их в оппозицию действительного и страдательного залогов переходного глагола номинативных языков. Хронология обеих тенденций должна быть соотнесена с поздне-активным состоянием языка.

Говоря о формировании временного варьирования глагола, И. И. Мещанинов отмечал, что «целый ряд живых языков еще и по сей день сохраняет формы, недостаточно ясно передающие представление о времени... Отсюда можно, пока еще предположительно, прийти к заключению, что более ясно грамматически выраженное представление о времени имеет место уже в самой глагольной форме, то есть после выделения глагола и после более детализованного закрепления за глаголом его уже специальных показателей, в число которых включаются и временные. Но и в этом случае временное деление продолжает сохранять видовые оттенки (имеется в виду категория способа действия. — Г. К.), и связь времени с видом окончательно не порывается, хотя бы виды и выделялись на самостоятельное место в числе грамматических категорий глагола»³⁵. Х. Хольц специально подчеркивает, что процесс подчинения морфологической категории способа действия категории времени соответствует общему преобразованию эргативной системы (автор не проводит разграничения активного и эргативного строя. — Г. К.) в номинативную³⁶.

Пути преобразования морфологической категории способа действия в категорию времени подчинены известным закономерностям. Такие правила трансформации, как итератив > дуратив (презенс) > (общий или неопределенный) презенс, или дезидератив > будущее, постулированные Е. Куриловичем на материале индоевропейских языков³⁷, оказываются вполне применимыми к истории представителей активного строя вообще. При этом благодаря преобладанию в категории способа действия эле-

³⁵ И. И. Мещанинов. Глагол. М.—Л., 1948, стр. 63, 64.

³⁶ H. H. Holz. Sprache und Welt. Probleme der Sprachphilosophie. Frankfurt/Main, 1953, стр. 122.

³⁷ Е. Курилович. О методах внутренней реконструкции. «Новое в лингвистике», вып. IV. М., 1965, стр. 433; J. Kurylowicz. Internal Reconstruction. «Current Trends in Linguistics. 11. Diachronic, Areal and Typological Linguistics». The Hague — Paris, 1973, стр. 76—77; ср. также: Б. А. Серебрянников. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974, стр. 54, 268—274.

мента лексичности над элементом грамматичности не приходится удивляться нередко реализующейся уже в активном состоянии тенденции сращения отдельных аффиксов способа действия с глагольной основой. Достаточно указать, например, на некоторые отмечавшиеся в литературе трудности выделения аспектного суффикса -š в атапаскском языке сарси.

Другое направление намечающихся в глагольной морфологии изменений затрагивает диатезу активного глагола. В одних случаях (по-видимому, в условиях преобладания в языке двухличного — «субъектно-объектного» — принципа глагольного спряжения) оппозиция центробежной и нецентробежной версий последнего приобретает тенденцию к постепенной нейтрализации: ср. вероятный пережиток такого противопоставления в непродуктивном классе так называемых диффузных или лабильных глаголов, встречающийся в ряде эргативных языков. В других случаях (по-видимому, при преобладании в языке одноличного — «субъектного» — принципа спряжения глагола) эта оппозиция начинает функциональную перестройку в противопоставление форм действительного и страдательного залога переходного глагола представителей номинативной типологии: ср. остаточное функционирование субъектной и объектной версий в некоторых языках смешанной активно-номинативной типологии.

Можно думать, что именно в свете исторической диатезы активного глагола, противопоставляющей его центробежную и нецентробежную версии, находят объяснение случаи констатации в некоторых номинативных в своей основе языках форм «пассивного залога» у глаголов непереходной семантики, обозначающих движение и некоторые процессы (интересно, что, согласно М. А. Коростовцеву, в далеком прошлом это явление должно было иметь большее распространение ³⁸).

Также в позднеактивном состоянии возникают тенденции к двоякого рода нарушениям противопоставленности личных глагольных показателей активной и инактивной серий. С одной стороны, при сохранении бинарного характера оппозиции личных аффиксов по языкам намечается процесс изменения ее функциональной нагрузки.

³⁸ М. А. Коростовцев. О природе египетского глагола. — ВЯ, 1969, № 4, стр. 105—106.

Поскольку последний подготавливает почву для становления оппозиции эргативной и абсолютной серий личных показателей, он должен обозначать общую тенденцию к эргативизации языкового типа. С другой стороны, намечается процесс нейтрализации обеих серий личных глагольных аффиксов в единый ряд с его новой — чисто субъектной функцией или формирования противопоставления их собственно субъектного и объектного рядов. Этот процесс должен обозначать появление тенденции к номинативизации языковой структуры. (Еще К. Уленбек приходил к выводу о протекающем в североамериканских языках процессе преобразования «активно-транзитивной» и «инактивно-пассивной» серий личных глагольных аффиксов в чисто «транзитивную» и «интранзитивную», с одной стороны, и в «номинативную» и «аккузативную», с другой ³⁹). Нетрудно заметить, вероятно, что в обоих случаях намечается усиление ориентации элементов морфологической структуры языка на передачу субъектно-объектных отношений.

Интересно, что, в частности, языки сиу обнаруживают тенденции, развитие которых, по-видимому, должно в конечном счете логически привести к номинативизации их структурного типа. Так, здесь может быть проиллюстрирована самая начальная фаза смещения личных аффиксов обеих серий. Ср., например, положение в языке хидатса, в котором активная и инактивная серии показателей уже содержат по несколько их подтипов, так что словоформы конкретных глаголов строятся здесь только посредством префиксов какого-либо одного из вертикальных рядов.

| Активный ряд | | | | Инактивный ряд | | | |
|--------------|-----|-----|--------|----------------|------|--------|----------|
| 1 л. | wa- | wa- | wa(h)- | w- | 1 л. | wi(h)- | wii- wi- |
| 2 л. | ri- | ga- | ga(h)- | g- | 2 л. | ri(h)- | rii- ri- |
| 3 л. | ə | a- | ə | o- | 3 л. | i(h)- | ə ə |

Функциональная противопоставленность обеих серий очевидна, так как входящие в них вертикальные разновидности обнаруживают, как правило, лишь фонетическую

³⁹ Х. К. Уленбек. Пассивный характер..., стр. 84; Он же. Идентифицирующий характер посессивной флексии в языках Северной Америки, «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 206.

вариацию аффиксов. Однако нетрудно заметить, что в первой разновидности активного ряда показатель 2-го лица гл-вно контаминирован с соответствующими аффиксами инактивного (интересно отметить, что по этой разновидности спрягается минимальная группа глагольных лексем)⁴⁰.

Тенденция, по-видимому, параллельной направленности намечается и в функциональном развитии диатезы активного глагола в том же языке хидатса. Наряду с передачей профилирующей оппозиции центробежной и нецентробежной версий она начинает совмещать принципиально новое содержание так называемых «субъектной» и «объектной» версий, характерных для ранненоминативного состояния, в частности, для картвельских языков. Ср., например, построение *waséo waséo áara-ikao-s* 'человек увидел руку человека' при *waséo ki-áara-ikas-s* 'человек увидел свою руку', где *ki* — префикс нецентробежной версии⁴¹. Тожественное содержание начинает совмещать и префиксальный показатель нецентробежной версии *si-* в языке ассинибойн.

Догадку о возможности номинативизирующей линии развития глагольной морфологии активного облика по существу еще в 1930 г. высказала С. Л. Быховская, находившая, что «... в американских языках система спряжения гораздо последовательнее (имеются в виду американские представители активного строя в сопоставлении с картвельскими языками Кавказа. — Г. К.). Возможно, что такая система была некогда и в яфетических языках. Дело в том, что в мегрельском и чанском языках, в так называемых вторых и третьих, т. е. прошедших временах, все глаголы, переходные и непереходные, имеют так называемую пассивную конструкцию. В яфетидологической литературе это явление раньше объяснялось влиянием аналогии переходных глаголов, по, может быть, правильнее сказать, что корень этого глубже — возможно, что здесь мы имеем пережиток такого же строя глагола,

⁴⁰ F. M. Robinett. Hidatsa III: Stems and Themes. — IJAL, v. 21, 1955, № 3, стр. 212—213 (не имеющее принципиального значения число вертикальных разновидностей рядов личных аффиксов не-сколько сокращено).

⁴¹ G. H. Matthews. Hidatsa Syntax, «Papers in Formal Linguistics», The Hague, 1965, № 3, стр. 93.

как в только что приведенных североамериканских языках. . .»⁴².

С наследием активного строя может быть связана еще одна интересная черта ныне номинативных языков. В виду имеется встречающееся в целом ряде семей (индоевропейской, афразийской, тюркской и др.)⁴³ факт образования форм «страдательного залога» от семантически непереходных глаголов, служащий объектом дискуссии в каждой из этих отраслей. По-видимому, адекватная квалификация таких форм дана М. М. Гухман, отмечающей следующее: «Будучи формой глагольного словоизменения, залог в современных индоевропейских языках является компонентом парадигмы переходного глагола. Возможность использования одной и той же формы как выражения страдательного залога у переходных глаголов и как средства выражения безличности у глаголов непереходных (ср., например, в нем.: *der Brief wird geschrieben* и *es wird getanzt, gelacht, gesungen*), отнюдь не означает, что непереходные глаголы имеют тоже страдательный залог. Конструкция с *werden* используется здесь для противопоставления личного и безличного осмысления процесса, т. е. выступает как член другой грамматической оппозиции, и, следовательно, является омонимом страдательного залога»⁴⁴. Представляется, что случаи спорадического образования форм «страдательного залога» у непереходного глагола могут найти свое историческое объяснение в специфике нецентробежной версии активного глагола языков активного строя. В пользу такой возможности говорит, в частности, семантика знающих подобные формы непереходных глаголь-

⁴² С. Л. Быловская. К вопросу о происхождении склонения. «Изв. АН СССР. VII Сер. Отделение гуманитарных наук», 1930, № 4, стр. 289—290.

⁴³ Ср.: С. Brockelmann. *Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens*. Leiden, 1952, стр. 286; А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, стр. 191—192; М. А. Коростовцев. О приходе египетского глагола, стр. 105—106; ср. также: С. F. and F. M. Voegelin. *Passive Transformations from Non Transitive Bases in Hopi*. — *IJAL*, v. 33, 1967, № 4, стр. 276—281.

⁴⁴ М. М. Гухман. Развитие залоговых противопоставлений в германских языках. Опыт историко-типологического исследования родственных языков. М., 1964, стр. 12; ср. также: W. Westendorf. *Der Gebrauch des Passivs in der klassischen Literatur der Ägypter*. Berlin. 1953, стр. 7 [цит. по кн.:] И. М. Дьяконов. Языки древней Передней Азии. М., 1967.

ных лексем — все это глаголы движения и некоторых других активных действий.

Интересные процессы наблюдаются и в эволюции именной морфологии активных языков. Здесь заметна тенденция к общему развитию последней. К категории притяжательности, различающей формы органической и неорганической принадлежности, в ряде случаев присоединяются категория падежа и числа. В позднеактивном состоянии некоторых языков заметно ослабление оппозиции форм органической и неорганической принадлежности. По существу все эти явления реализуются в структуре субстантивов активного класса, играющих в морфологическом развитии имени индуцирующую роль.

Обращают на себя внимание отдельные факты становления падежной парадигмы, наблюдаемые в некоторых активных языках. Проекция генезиса склонения в типологию активного строя оправдана уже хотя бы потому, что если в номинативных и эргативных языках налицо более или менее развитая морфология имени, а в нейтральных и классных она вообще не разработана (краткую характеристику языков многоклассной типологии см. на стр. 281—286 настоящей работы), то в активных она характеризуется минимальным развитием.

Необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что смена глагольной морфологической разновидности предложения активной типологии смешанной фактически обозначает формирование парадигмы именного склонения. Любопытно, что догадка о хронологической соотнесенности истоков падежной парадигмы с активным состоянием языка по существу была высказана еще более 70 лет назад В. Вундтом, усматривавшим связь возникновения основных падежей с преобразованием противопоставления одушевленных и неодушевленных имен⁴⁵. В дальнейшем, как известно, эта идея развивалась С. Л. Быховской, считавшей, что первоначально оппозиция «активного» и «пассивного» падежей в определенной степени служит еще выражением различия двух классов субстантивов — «активного» и «пассивного»⁴⁶.

⁴⁵ W. Wundt. *Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte*, Bd I. Die Sprache, t. 2, Aufl 2. Leipzig, 1904, стр. 65.

⁴⁶ С. Л. Быховская. К вопросу о происхождении склонения, стр. 287—295.

Действительно, прежде всего следует отметить, что помимо некоторых активных языков именное склонение встречается в эргативных и номинативных языках, которые, судя по всему, переживали активное состояние, и отсутствует в языках двух других вырисовывающихся в настоящее время типологий — классной и нейтральной, строго говоря, вообще не знающих именной морфологии как таковой (как уже неоднократно отмечалось, именная морфология классных языков не отделена от словообразования). Естественно ожидать формирования склонения именно в ту эпоху, когда стабильное распределение субстантивов на одушевленные и неодушевленные начинает уступать место их лабильным «классам» субъектов и объектов. Именно в эту фазу происходит усиление удельного веса грамматики в передаче субъектно-объектных отношений, находящее свое выражение, в частности, в становлении оппозиции активного и инактивного падежей.

Вместе с тем в настоящее время становится возможным внести и существенное уточнение, заключающееся в том, что склонение может впервые сформироваться и лишь в эргативном или даже номинативном состоянии языка, восходящем к беспадежному активному (ср. абхазско-адыгские языки). Тем не менее в силе остается положение, согласно которому впервые структурные предпосылки становления склонения складываются только в условиях, когда стабильное распределение имен по классам уступает место их лабильному разбиению на субъекты и объекты.

Неслучайным представляется то обстоятельство, что при рассмотрении вопроса о генезисе эргатива отечественные языковеды 30—40-х годов приходили к понятию активного и инактивного падежей. «По существу своему, — писала М. М. Гухман, — активные и пассивные категории тогда делаются категориями склонения, т. е. тогда рассматриваются как возможные модификации одного понятия, когда оказывается снятой классификация предметов внешнего мира на активные и пассивные. Процесс этот обусловлен возникновением в сознании категории субстанции предмета как носителя всевозможных качеств, временными состояниями которого являются как активный, так и пассивный падеж, применение которых зависит от конкретных условий, в данном случае — от сочетания с определенным глаголом. Перестройка, происшедшая в языке в связи с описанными выше процессами, отрази-

лась как в полной супплетивности падежей личных местоимений, так и в разности основы пассива и актива, а вместе с тем и косвенных падежей имен существительных некоторых языков. В связи с генезисом своим пассивный падеж — просто имя, без показателя, активный — с показателем, подчеркивающим его действительность»⁴⁷.

В случае формирования такой падежной оппозиции в языке постепенно начинается падежная парадигматизация и некоторых постпозитивных частиц — локативной, инструментальной и иной семантики (автор исходит из точки зрения об отсутствии в языке склонения при несформированности основных «позиционных» падежей⁴⁸).

В связи с историей инактивного падежа обращает на себя внимание следующее обстоятельство. В ряде языков смешанной активно-номинативной или ранненоминативной типологии наблюдается остаточное функционирование падежа с очень широким объектным содержанием, по всей вероятности, отражающим причастность его типологического прототипа к оформлению имени ближайшего дополнения. Как правило, оно выражается в существовании «винительного падежа», совмещающего семантику общей направленности действия к объекту (ср. термин «аккузатив цели», известный в индоевропейском языкознании, термин *accusatif de direction*, распространенный в романистике, так называемый дательно-винительный падеж ряда картвелистических работ). Ср. синкретический объектный падеж на *-m* в некоторых древних индоевропейских языках: латинск. *lego librum* 'читаю книгу' при *eo Roma-m* 'иду в Рим' и др. индийск. *nagara-m gachati* 'идет в город'. То же содержание передает в картвельских языках *-s*: ср. груз. *swams ṭwino-s* 'пьет вино' при *gaudga gza-s* 'отправился в путь' или сванск. *esṛi šukw-s* 'идет по дороге'. Совершенно аналогичные факты налицо и в языках кечумара: ср. аймара *manqanwa aysa-ru* 'он съел мясо' при *saranwa monte-ru* 'он пошел в лес' или кечуа *riku-ni rampa-ta* 'я вижу поле' при *ri-ni rampa-ta* 'я иду по полю'. В свете случаев подобного синкретизма высказывание Е. Куриловича, согласно которому «одинаковость выражения обеих функций (аккузатив цели и аккузатив прямого

⁴⁷ М. М. Гухман. Происхождение строя готского глагола, стр. 143.

⁴⁸ С. Д. Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, стр. 46.

объекта) может пролить свет на происхождение аккумулятива»⁴⁹, представляется вполне оправданным.

С характерным для позднеактивного состояния ослаблением противопоставления субстантивов по классам активных (одушевленных) и неактивных (неодушевленных) связаны наблюдающиеся в его представителях случаи стирания оппозиции форм органической и неорганической принадлежности в посессивной флексии имен существительных. В результате этого процесса в некоторых из рассматриваемых языков оказывается возможной передача отношений первой разновидности принадлежности показателем нецентробежной версии в словоформе глагола. Такое положение засвидетельствовано, в частности, в языке хидатса, где функционируют построения типа *wasəo ki-aaga-ika-o-s* 'человек свою//себе руку увидел', в котором *ki-* является префиксом нецентробежной версии (ср. принципиально сходный способ выражения органической принадлежности в картвельских, а также в некоторых древних индоевропейских языках⁵⁰).

В связь с этим явлением может быть, вероятно, поставлено одно интересное обстоятельство более широкого плана, характеризующее специфику эргативизирующих и номинативизирующих тенденций в развитии активного строя. Имеется в виду факт, что в отличие от представителей эргативной типологии, в течение длительного времени способных сохранять функционирование именной притяжательной флексии, достаточно дифференцирующей формы органической и неорганической принадлежности, что засвидетельствовано даже в ряде языков структурно более продвинутого «западного» ареала распространения эргативности, номинативные языки — в том числе сохраняющие во многих отношениях типологический контакт с активным строем — как правило, такого разграничения в притяжательной флексии имен существительных не знают (ср. факты картвельских, енисейских, кечумара и др. языков). Столь контрастная и на первый взгляд неожиданная дистрибуция обоих явлений может быть обусловлена раз-

⁴⁹ Е. Курилович. О методах внутренней реконструкции, стр. 415.

⁵⁰ Ср.: Н. В. Rosén. Die Ausdrucksform für «veräußerlichen» und «unveräußerlichen Besitz» im Frühgriechischen. «Lingua», v. III, 1959, № 3.

ной судьбой версионной диатезы активного глагола в ходе его преобразования последнего в транзитивный глагол эргативных и номинативных языков. Наступающая в первых из них полная редукция незалоговой диатезы глагола способствует длительному сохранению противопоставления форм органической и неорганической принадлежности в посессивной флексии имен. Напротив, в номинативных языках, где эта диатеза сохраняется, постепенно перерастая в залоговую, подобные отношения продолжают дольше передаваться в глагольной словоформе, что способствует ускоренной нейтрализации такого противопоставления в именной морфологии.

Оппозиция форм единственного и множественного (собирательного) числа, столь редко дающая о себе знать в представителях раннего и эталонного активного состояния, несколько более широко представлена в позднеактивных языках (ирокуа-каддо, мускоги, отчасти — сиу). Лишь в очень редких случаях сфера этой оппозиции здесь несколько выходит за круг имен активного класса, что может быть, в частности, подтверждено единичными примерами из языка ассинибойн: *séhara-pi* 'ботинки', *tí-pi* 'дома', *wora-pi* 'бумаги, газеты' ⁵¹.

Изложенные факты иллюстрируют в своей совокупности ту индуцирующую роль, которую играют имена активного класса по отношению к именам инактивного в развитии именной морфологии, и которая обуславливает начало процесса выравнивания словоизменительных потенций обоих классов, особенно интенсивно протекающего уже за пределами активного состояния языка. Таким образом, развитие именной морфологии следует в рамках активного строя аналогичной линии в глагольном словоизменении, где класс активных глаголов оказывается индуцирующим по отношению к классу стативных. Нельзя не вспомнить при этом о сделанном И. М. Тронским на индоевропейском материале выводе, согласно которому «как в именах активный класс играл ведущую роль при выработке склонения и распространение падежной системы шло от активного класса к инертному, так и в глаголах ведущую роль играло спряжение глаголов действия» ⁵².

⁵¹ *N. B. Levin*. Указ. соч., стр. 17.

⁵² *И. М. Тронский*. Указ. соч., стр. 90.

Историческая перспектива типологической перестройки структуры того или иного языка может быть определена, исходя из учета некоторых общих закономерностей соотношения в нем разноуровневых импликаций того или иного строя. Так, если признаки-координаты активной типологии равномерно характеризуют все уровни языковой структуры, естественно констатировать ее близость к эталону активного типа. В случае ощутимой представленности в языке импликаций активности исключительно в пределах такого консервативного с контенсивно-типологической точки зрения яруса, каковым является морфология, будет логичным признать их архаический характер и, следовательно, отражение ими по существу уже пережитого состояния. Напротив, если эти же импликации затрагивают преимущественно лексическую и синтаксическую системы языка и лишь наиболее общим образом распространяются на морфологию, следует предположить их *инновационную природу*.

Руководствоваться соображениями подобного рода представляется необходимым, в частности, при выдвижении гипотез о прошлом типологическом состоянии ныне номинативных и эргативных языков. Например, констатация в них разноуровневых пережитков активного строя должна свидетельствовать в пользу еще относительно недавнего функционирования в них последнего. В этом отношении особенно показательна отчетливая сохранность лексических реликтов активности (например, широких по своему составу классов транзитивно-интранзитивных глаголов или повышенного процента транзитивных и интранзитивных глагольных лексем, регулярно производимых от единой основы). Наличие ощутимых точек соприкосновения со структурой активной типологии лишь в морфологической системе языка дает основания проецировать соответствующее состояние в более отдаленное прошлое. При этом приходится учитывать возможность опосредствования эволюции активной типологии в номинативную фазой эргативности. Это обстоятельство ставит перед контенсивной типологией дополнительную задачу, пути решения которой в настоящее время далеко не ясны.

Диахронические исследования целого ряда языковых семей привели, как известно, к установлению довольно широкой совокупности если не универсальных, то во вся-

ком случае типичных линий развития языковой структуры. «Все языки мира, — пишет в этой связи Дж. Бонфанте, — обнаруживают определенные тенденции, следуют линии определенной эволюции, проходят определенные стадии развития, подобно тому, как человечество проходит или, вернее, проходило через каменный, бронзовый и железный века»⁵³. Он отмечает, в частности, следующие тенденции структурной эволюции языков: 1) утрату двойственного числа, 2) возникновение определенного и неопределенного артиклей, 3) утрату или сокращение категорий вида и превращение времен в основу глагольной системы, 4) образование страдательного залога, 5) утрату рода, 6) утрату флексии, 7) устранение неправильности в особенности — случаев супплетивизма, 8) замену синтеза анализом, 9) прогрессирующее сокращение слов и 10) увеличивающуюся абстрактность слов⁵⁴. Конечно, необходимость придать этому набору явлений более строгую историко-типологическую перспективу едва ли нуждается в обосновании. Вместе с тем уже сейчас можно видеть, что часть названных здесь процессов хронологически оказывается связанной с преобразованием активного строя в иные языковые типы.

Автор настоящей работы уже пытался суммировать структурные и содержательные свидетельства того, что представители выдержанного эргативного строя должны иметь своими типологическими предшественниками языки активного строя. Широкая совокупность фреквенталий эргативности (классное распределение субстантивов, группы «диффузных», «статических страдательных» и аффективных глаголов, числовой супплетивизм глагольных слов, оппозиция инклюзивной и эксклюзивной лексем местоимения 'мы' и мн. др.), по-видимому, является остаточными функционирующими импликациями активного строя⁵⁵. Механизм этого процесса по существу видел уже И. И. Мещанинов, когда писал следующее: «Обособленные друг от друга нормы выражения действия и состояния противопоставляются друг другу как процесс интенсивного движения процессу в статике, откуда идет противо-

⁵³ См.: *Encyclopedia of Psychology*. N. Y., 1946, стр. 844 [цит. по кн.:] *V. Taulli. Structural Tendencies in Uralic Languages*. The Hague, 1966, стр. 280—281.

⁵⁴ Там же.

⁵⁵ Г. А. Климов. Очерк общей теории эргативности, стр. 204—258.

поставление вербализованной формы действия форме состояния, более близкой к имени. Эти противопоставления сглаживаются общими свойствами сказуемости, вводящей динамику и в выражение состояния. Оттенки модальности и вида, включение временного аспекта усиливают оттенки действительности последних, рассматриваемых как пассивное соучастие в действии, результаты которого испытываются субъектом предложений состояния. Характеристика субъекта и его состояния есть не что иное, как фиксирование его положения в идущем процессе, как отдельно взятый момент процесса; поэтому и характеристика состояния равным образом насыщается предикативностью. В итоге происходит вербализация форм сказуемого состояния и их сближение с формами сказуемого действия, что, в первую очередь, получает свое выявление в общности оформления выразителей как состояния, так и действия непереходного. В результате получается противопоставление не предложений состояния предложениям действия с именными формами в первых и вербальными во вторых, а противопоставление предложений непереходного (безобъектного) действия предложениям переходного на объект действия с установлением вербальных форм сказуемого в обоих»⁵⁶. Несмотря на некоторое преувеличение степени близости стативного глагола к имени, эта цитата в целом довольно адекватно отражает сущность процесса эргативизации структуры активного строя. Интересно отметить и то, что И. И. Мещанинов, в целой серии своих исследований разрабатывавший тезис о закономерности преобразования эргативного строя в номинативный, приходил вместе с тем к выводу, согласно которому едва ли все же можно считать, что в основе номинативного строя везде лежит эргативный⁵⁷. В последующем изложении внимание концентрируется на возможности такого пути эволюции активности, результирующим итогом которого представляется номинативизация языковой структуры.

Результаты исторической перестройки активной типологии в номинативную могут усматриваться в настоящее время на фактическом материале по крайней мере нескольких языковых семей. Судя по всему, они представлены,

⁵⁶ И. И. Мещанинов. Глагол, стр. 92—93.

⁵⁷ Он же. Эргативный строй и его отношение к другим языковым структурам. «Язык и мышление», XI. М.—Л., 1948, стр. 235.

в частности, в таких языках, как индоевропейские, картвельские, енисейские, афразийские (семито-хамитские), дравидийские, эламский, кечумара, некоторые китайско-тибетские.

Наиболее значительных успехов в обосновании активного прошлого праязыкового состояния достигла индоевропеистика, многие достижения которой внесли непосредственный вклад в разработку теории активного строя. Более скромными в этом плане оказались успехи исторического картвельского и енисейского языкознания. Однако поскольку в картвельских и енисейских языках соответствующие факты нередко лежат прямо на поверхности, нетрудно предположить, что именно их материал будет особенно инструктивным для адекватного понимания процесса трансформации активного строя в номинативный.

* * *

Ориентация исследований на многочисленные структурные архаизмы исторически засвидетельствованных индоевропейских языков позволила, как известно, выполнить глубокие реконструкции праязыкового состояния, предполагающегося ныне глубоко отличным от характерной для их современных представителей схемы номинативного строя. Раньше многих других структурных черт в это дономинативное состояние была спроецирована корреляция «транзитивного» («активного», «эргативного») падежа с приметой местименного происхождения -s и немаркированного «интранзитивного» («инактивного»), функционирование которых должно было быть системно связано с лексическим противопоставлением имен несреднего («одушевленного», «активного») и среднего («неодушевленного», «пассивного», «инертного») родов. В координативной связи с названными чертами должна была стоять синхронная им лексическая оппозиция так называемых глаголов действия и глаголов состояния, основанная на признаке активности или инактивности передаваемого действия, еще незавершившийся процесс перестройки которой на иной структурный принцип отчетливо прослеживается на материале целого ряда древних индоевропейских языков (например, древнегреческого). Предполагается, что синтаксическая модель предложения задавалась лексическим качеством сказуемого: «глаголы действия» обуславливали

одну его конструкцию, а «глаголы состояния» — другую. Характеризуя типологию предложения, намечающуюся для древнейшего протоиндоевропейского состояния, А. Н. Савченко указывает, в частности, что «при сравнении с вариантами эргативной конструкции, существующими в современных языках, она оказывается петиципичной, потому что в ней выражение субъекта действия эргативным или абсолютным падежом зависело не от переходности или непереходности глагола, а от глагольной формы действия или состояния. . .»⁵⁸. При этом высказывается мнение, что субстантивы среднего («неодушевленного») рода не могли выступать при «глаголе действия» в позиции подлежащего⁵⁹.

Уже этот относительно ограниченный набор координат позволил некоторым компаративистам прийти к выводу, что определяющим для лексической и грамматической систем протоиндоевропейского явилось противопоставление по признаку активности ~ инактивности⁶⁰.

Действительно, нетрудно заметить, что соответствующий структурный тип праязыкового состояния оказывается очень близким к модели так называемой идеальной эргативной системы, построенной Дж. Лайонзом с целью диахронического объяснения механизма языков номинативного и эргативного строя (ср. также понятие «актуальной» или «архаической» эргативности, ранее сформулированное в работах С. Д. Кацнельсона)⁶¹. По существу в своих принципиальных чертах он совпадает со схемой активного строя, как он реализован в его современных представителях. Кажется поэтому вполне закономерным, что попытка К. Уленбека воссоздать облик древнейшего прото-

⁵⁸ А. Н. Савченко. Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке, стр. 90.

⁵⁹ Ср.: Х. К. Уленбек. *Agens и Patiens в падежной системе индоевропейских языков*. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950; К. Brugmann. *Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen*. Berlin, 1904; А. Meillet. *Linguistique historique et linguistique générale*. Paris, 1926; А. Meillet et J. Vendryes. *Traité de grammaire comparée des langues classiques*. Paris, 1924; А. Н. Савченко. Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке.

⁶⁰ Ср.: Вяч. Вс. Иванов. Эргативная конструкция в общиндоевропейском. — ЭКПЯРТ (тезисы докладов). Л., 1964, стр. 19.

⁶¹ J. Lyons. *Introduction to theoretical linguistics*, стр. 356—357; С. Д. Кацнельсон. Эргативная конструкция и эргативное предложение. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1947, № 1.

индоевропейского привела к апелляции к структурному типу таких активных языков, как дакота и хайда ⁶². По-видимому, существует немало и других оснований для того, чтобы сказать, перефразировав известные слова К. Маркса, что и в языковом отношении за древним греком явственно проглядывает прокез ⁶³.

Действительно, далеко идущие структурные соответствия рассматриваемого протоиндоевропейского состояния типологии активного строя обнаруживает и значительно более широкая совокупность приписываемых ему явлений. Одно из последних составляет, например, взаимная недифференцированность в нем прямого и косвенного дополнений ⁶⁴. В этом состоянии, по всей вероятности, также отсутствовали инфинитив и связочный глагол ⁶⁵. Признанный еще старой индоевропеистикой факт неразвитости в праязыке имени прилагательного образует еще одну из таких аналогий. Круг индоевропейских супплетивных глаголов, в общих чертах определенный уже Г. Остгофом (сюда относятся лексемы семантики 'идти', 'приходить', 'бежать', 'нести', 'приносить', 'вести', 'брать', 'есть', 'говорить', 'бить', 'быть', 'попадать' и др.) ⁶⁶, также обнаруживает разительное совпадение с составом аналогичных глагольных дублетов в представителях активной типологии. Сюда же должны быть отнесены такие морфологические черты, как невыработанность в протоиндоевропейском сквозной системы спряжения и функционирование в структуре его глагола категории способа действия, а не времени. В числе других подобных соответствий можно упомянуть неразличение форм числа именами среднего («неодушевленного») рода в протоиндоевропейском ⁶⁷. Хотя список совпадений аналогичного

⁶² Х. К. Уленбек. К учению о падежах. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 99—100.

⁶³ Ср.: К. Маркс. Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество». «Архив Маркса и Энгельса», т. IX, стр. 134.

⁶⁴ Ср.: А. В. Десницкая. Указ. соч., стр. 143—144.

⁶⁵ Ср.: А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938, стр. 291; Вяч. Вс. Иванова. Общиневропейская, праславянская и анатолийская языковые системы. М., 1965, стр. 266—267.

⁶⁶ Н. Osthoff. Vom Suppletivwesen der indogermanischen Sprachen. Akademische Rede. Heidelberg, 1899.

⁶⁷ J. Schmidt. Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889.

характера без труда мог бы быть продолжен, по-видимому, и приведенного здесь материала достаточно для того, чтобы сделать три следующих вывода.

Во-первых, реальное функционирование языков активного строя верифицирует типологическую совместимость всех предполагаемых для древнейшего протоиндоевропейского состояния черт. Ввиду того, что все их основные структурные характеристики, как показано в III главе настоящей работы, имплицитно определяются определенной семантической детерминантой, уже сам факт существования этих языков представляется веским аргументом в пользу синхронизации этих черт в рамках единого состояния. Как известно, опыты подобного совмещения предпринимались неоднократно. «Функциональная роль грамматического противопоставления категорий активности (одушевленности) и пассивности (неодушевленности) в индоевропейской морфологической системе, — писал в 1958 г. Вяч. Вс. Иванов, — доказывается не только при исследовании категории числа (имеется в виду реализованная здесь закономерность, согласно которой, при оппозиции в языке имен активного и инактивного классов, формы множественного числа могут быть лишь у имен первого. — Г. К.), но и при анализе индоевропейской падежной системы, где противопоставление падежа на *-s и падежа без приметы *-s осуществляется только у имен активного класса и нейтрализуется у имен пассивного класса (ср. наличие архаичной формы родительного падежа на -om > > -an только у имен одушевленного рода в хеттском)»⁶⁸. Уместно отметить, что сходный набор признаков (в частности, «раздельная флексия имени и глагола, два прямых падежа, общий и средний род, инфект и перфект») соотносится по схеме Н. Д. Андреева с младшим средневропейским периодом⁶⁹.

Во-вторых, отмеченные выше параллелизмы позволяют квалифицировать предполагаемое протоиндоевропейское состояние скорее как активное, чем эргативное: ср. к тому же неоднократно высказывавшееся мнение о том, что поскольку категории транзитивности ~ интранзитивности

⁶⁸ Вяч. Вс. Иванов. Типология и сравнительно-историческое языкознание. — ВЯ, 1958, № 5, стр. 39.

⁶⁹ Н. Д. Андреев. Периодизация индоевропейского праязыка. — ВЯ, 1957, № 2, стр. 18.

в этом состоянии еще не существовало, говорить здесь об эргативной конструкции в классическом смысле слова не приходится. Нельзя исключить лишь, что в каком-то его ареале последовавшая номинативизация языковой структуры могла быть опосредствована фазой эргативности, хотя одноличный принцип спряжения древнего индоевропейского глагола как будто может служить некоторым аргументом против подобного допущения.

В-третьих, сопоставление характеристик предполагаемого протоиндоевропейского состояния со схемой активного строя, по-видимому, способно обогатить перспективы дальнейшего рассмотрения некоторых актуальных проблем индоевропеистики. Это возможно, с одной стороны, за счет более адекватной структурной квалификации ряда уже постулированных для этого состояния явлений, а с другой — за счет поиска в нем других импликаций, а также фреквенталий активной типологии.

Если учитывать особенности состава имен активного класса, включающего в активных языках и обозначения деревьев и растений, возникает возможность более уверенного причисления соответствующих лексем к классу «одушевленных» субстантивов и в протоиндоевропейском (ср., например, положение Фр. Шпехта, согласно которому «индоевропеец представ ля 1 себе деревья и растения столь же живыми или одушевленными, если не связывать с последними никакого сверхъестественного представления, как и животных»⁷⁰).

Внутренним основанием для такого соотнесения является обычная принадлежность в древних индоевропейских языках обозначений деревьев и растений — в отличие от названий плодов — к мужскому или женскому, а не среднему роду. Отсюда должна стать очевидной некоторая неточность терминологической квалификации лежащего в его основе противопоставления биномом «одушевленность» ~ «неодушевленность». Если к тому же принять во внимание, что распределение имен в активных языках обнаруживает историческую тенденцию к постепенному преобразованию в оппозицию по признаку противопоставления общественно активных денотатов общественно неактивным, сопровождающуюся переходом части

⁷⁰ F. Specht. Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1947, стр. 290.

названий предметов из второго класса в первый, то тем самым как будто снимаются некоторые затруднения в трактовке истории субстантивов мужского и женского рода в индоевропейском.

Важно подчеркнуть, что разрушение древней индоевропейской именной классификации, как правило, связывается с параллельными изменениями в глагольной системе. В частности, Вяч. Вс. Иванов отмечает, что рассматриваемые им «новообразования характеризуют процесс разложения древней глагольной системы, благодаря которому старое противопоставление непереходно-перфектно-медио-пассивной 2-й серии и активной 1-й серии, связанное с аналогичным противопоставлением неэргатива — эргатива (точнее: актива ~ инактива. — Г. К.), неодушевленности — одушевленности в имени, постепенно распадалось, заменяясь новыми противопоставлениями»⁷¹.

В плане исторического синтаксиса обращает на себя внимание то, что в отличие от решительно преобладающего в современных индоевропейских языках словопорядка SVO в протоиндоевропейском господствовал порядок SOV⁷².

Семантику оппозиции двух спряжений протоиндоевропейского глагола инъюнктив ~ перфект, возможно, удастся уточнить в свете смыслового содержания противопоставления форм активного и стативного глаголов представителей активного строя. Еще В. Порциг подчеркивал, что «в латинском, германском, балтийском и славянском языках из древнего материала была создана новая система форм с целью обозначить такое соотношение понятий, которое ранее требовало противопоставления различных слов (речь идет об историческом лексемном разграничении таких понятий, как 'садиться' и 'сидеть', 'ложиться' и 'лежать', 'вставать' и 'стоять'. — Г. К.). Лишь благодаря этому движение и состояние воспринимаются как два проявления одного и того же предметного содержания — до этого они были двумя различными предметными содер-

⁷¹ Вяч. Вс. Иванов. Общеиндоевропейская, праславянская . . . , стр. 137.

⁷² Ср.: W. P. Lehmann. Definite Adjective Declensions and Syntactic Types. «Donum Balticum» (To Professor Christian S. Stang in the occasion of his seventieth Birthday, 15 March, 1970). Stockholm, 1970, стр. 286—290.

жаниями»⁷³. Как выше указывалось, активные глаголы передают действия и состояния денотатов имен активного класса, а стативные обозначают состояния и качества преимущественно денотатов имен инактивного класса. Не исключено при этом, что функционирование в активном глаголе этих языков незалоговой диатезы, противопоставляющей центробежную и нецентробежную версии (ср. их семантику 'саяжает ~ садится', 'жжет ~ горит', 'сушит ~ сохнет' и т. п.) может пролить свет на решение сложной проблемы «исконного» содержания оппозиции индоевропейского актива и медиума⁷⁴. Впрочем, точка зрения о существовании в древнейшем протоиндоевропейском состоянии оппозиции центробежной и нецентробежной форм глагола уже высказывалась⁷⁵.

Небезынтересным представляется сопоставление двух серий окончаний протоиндоевропейского глагола, одна из которых (характеризующаяся суффиксами *-m для 1-го лица, *-s для 2-го и *-V для 3-го) соотносилась с формами инъюнктива, а вторая (в составе суффиксов *-H (V) для 1-го лица, *-tH (V) для 2-го и *-V для 3-го) — с формой перфекта, с активным и инактивным рядами личных аффиксов в языках активной типологии, где первые принимаются формами активного участника ситуации, а вторые — формами инактивного. Общим оказывается и использование в обоих случаях единого для обоих чисел личного показателя. Нельзя, конечно, не обратить внимания на то обстоятельство, что в отличие от огромного большинства известных в настоящее время представителей активного строя личные показатели протоиндоевропейского глагола имели исключительно суффиксальный характер (ср., однако, суффиксальные личные экспоненты эламского глагола).

Если учесть, что очень многие активные языки знают двухличный принцип спряжения активного глагола, предполагающий обозначение как активного, так и инактивного актантов действия, то начатые еще П. Кречмером поиски

⁷³ В. Порциг. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964, стр. 140.

⁷⁴ Ср.: М. М. Гухман. Развитие залоговых противопоставлений в германских языках, стр. 264—267.

⁷⁵ E. G. Pulleyblank. Indo-European Vowel System and the Qualitative Ablaut. «Word», v. 21, 1965, № 1, стр. 95—99.

показателя так называемого объекта или неактивного субъекта в морфологической структуре протоиндоевропейского глагола должны быть признаны вполне правомерными ⁷⁶.

Возникает возможность подкрепить известную точку зрения на видовременную историю индоевропейского глагола ссылкой на то обстоятельство, что в представителях активного строя в глаголе (особенно — активном) развита категория способа действия (Aktionsart) при отсутствии в нем временных градаций. Еще А. Мейе видел, что «индоевропейские так называемые временные основы не обозначают собственно времени: греческие основы «настоящего времени» обозначают развивающееся действие, основа аориста — действие само по себе, основа перфекта — завершённое действие, и в этом отношении греческий язык отражает в общем индоевропейское состояние. . . Значение индоевропейских «временных» основ сходно, следовательно, со значением славянских «видов», а не германских или латинских «времен» ⁷⁷. Важно подчеркнуть при этом, что такие прослеживающиеся по своей специфической аффиксации формы протоиндоевропейского глагола, как интенсив, итератив, деизидератив и другие составляют прямую аналогию типичному репертуару морфологической категории способа действия в представителях активного строя. Становление временных форм, будучи, по-видимому, в основном связанным с преобразованием активных и стативных глаголов в транзитивные и интранзитивные, составляет один из характерных процессов номинативизации языковой структуры (аналогичная закономерность, наблюдаемая в эргативных языках, хорошо согласуется с представлением об эргативности, как одной из возможных ступеней номинативизации языковой структуры).

Если относительные прилагательные вычленились в предложениях протоиндоевропейского, как принято обычно думать, из более общей категории имени существи-

⁷⁶ Ср.: *P. Kretschmer. Objektive Konjugation im Indogermanischen.* — SBAW, 225, Bd 2, 1947, стр. 3—49; *H. Kronasser. Die Nasalpräsentia und Kretschmers objektive Konjugation im Indogermanischen.* — SBAW, 235, Bd 2, 1962, стр. 5—31; *J. Knobloch. La voyelle thématique -e/o- serait-elle un indice d'objet indo-européen.* «Lingua», v. III, 1954, № 3; *Вяч. Вс. Иванов.* Общиневропейская, праславянская . . . стр. 22.

⁷⁷ *A. Мейе.* Указ. соч., стр. 212—213.

тельного ⁷⁸, то гипотеза о его активном прошлом позволяет ответить и на вопрос, какие реальные единицы должны были стоять в ту эпоху за такими общендоевропейскими реконструкциями, как *neuo- 'новый', *megh- 'большой', *bhregh- 'высокий', *tenu- 'тонкий' и т. п. (как отмечалось в предшествующей главе, в соответствующих атрибутивных комплексах языков активной типологии используются основы стативных глаголов семантики 'быть чистым', 'быть большим', 'быть высоким', 'быть тонким' и т. д.).

Если в протоиндоевропейском имелось противопоставление не транзитивных глаголов интранзитивным, а глаголов «действия» и «состояния», то его необходимым соответствием в парадигме склонения должна была быть корреляция не эргативного и абсолютного падежей, а активного и пассивного (в субстантивах «неодушевленного» класса эта корреляция, вероятно, нейтрализовалась, так как обозначаемые его ингредиентами денотаты не мыслимы в качестве реальных производителей действия). Необходимо при этом учитывать структурную несовместимость обоих этих падежей с такими уже специально ориентированными на передачу субъектно-объектных отношений единицами, каковыми являются генитив и датив. Иначе говоря, формирование последних предполагает параллельную перестройку основных позиционных падежей соответственно в номинатив и аккузатив. Это обстоятельство подкрепляет точку зрения, согласно которой «генитив оформился в качестве самостоятельного падежа в значительно более позднюю эпоху» ⁷⁹. С активной типологией древнейшего протоиндоевропейского состояния хорошо согласуется и то предположение А. Мейе, что первоначальной и основной функцией индоевропейского родительного падежа была передача не посессивных, а партитивных отношений (ср. широко употребительный термин «партитивный генитив», используемый для обозначения роди-

⁷⁸ Ср., например: В. М. Жирмунский. Происхождение категории прилагательных в индоевропейских языках в сравнительно-грамматическом освещении. «Изв. АН СССР, ОЛЯ». т. V, вып. 3, 1946.

⁷⁹ Вяч. Вс. Иванов. Тохарские языки и их значение для сравнительно-исторического исследования индоевропейских языков. «Тохарские языки». М., 1959, стр. 26–27.

тельного падежа, выражающего отношения целого и части ⁸⁰).

Вместе с тем в высшей степени вероятно, что отношения посессивности (или, может быть, точнее — партитивности) должны были в этих условиях выражаться посредством именной морфологической категории притяжательности с различением форм органической и неорганической принадлежности, известной всем языкам активного строя (ср. различные пережиточные способы разграничения обеих форм в исторически засвидетельствованных индоевропейских языках ⁸¹).

Не исключено, что адекватное решение проблемы «изначальной» единственности или множества глагольных основ, которая и поныне представлена в индоевропеистике взаимоисключающими точками зрения ⁸², окажется возможным в свете того факта языков активной типологии, что активные глаголы знают здесь широкое варьирование основ, в то время как стативные обычно представлены единственной.

Из рассмотренного материала напрашивается еще один вывод общего порядка: достаточно четкое противопоставление глагольной и именной морфологии в активных языках не позволяет видеть в предполагаемом индоевропейском состоянии начальной ступени дифференциации имени и глагола.

В плане обоснования гипотезы об активном прошлом картвельских языков сделано несравнимо меньше, чем в индоевропеистике. Самое предположение о том, что общекартвельское состояние может быть квалифицировано в качестве активного, было высказано автором настоящей работы совсем недавно ⁸³. Однако большая совокупность его пережитков, до сих пор лежащих по существу на поверхности их структуры, значительно упрощает задачу соответствующего доказательства.

⁸⁰ А. Meie. Указ. соч., стр. 205, 351; ср., например: F. Schmidt. *Logik der Syntax*. Berlin, 1959, стр. 35.

⁸¹ Ср., например: H. B. Rosen. Указ. соч.

⁸² Ср.: J. A. Kerns and B. Schwartz Multiple stem conjugation and Indo-Hittite isoglosses. «Language», v. 22, 1946, стр. 57—68; В. Пизани. Общее и индоевропейское языкознание. «Общее и индоевропейское языкознание». М., 1956, стр. 171.

⁸³ Г. А. Климов. Аномалии эргативности в лазском (чанском) языке. «Восточная филология. IV», Тбилиси, 1976.

Черты неноминативного строя были зафиксированы в картвельских языках еще в тот период, когда за термином «эргативная типология» стояло по существу синкретическое понятие двух принципиально различных структурных типов языка — эргативного и активного. Естественно, что они обычно приводили исследователей к характеристике их структуры как смешанной эргативно-номинативной, обнаруживающей процесс дальнейшей номинативизации ⁸⁴.

Номинативный компонент этих языков вполне очевиден. Не вызывает сомнений и наличие тенденции к его дальнейшему усилению, проиллюстрированной в ряде работ на широком материале (в частности, с привлечением фактов, документированных памятниками древнегрузинской литературной традиции). Более того, в настоящее время, вероятно, не составит особых трудностей показать преобладающий удельный вес в современных картвельских языках признаков номинативности. Среди целого комплекса других структурных черт ее проявлением оказываются, в частности, такие характерные факты морфологии, как систематическое проведение залоговой диатезы семантически транзитивного глагола, смешение функций личных глагольных показателей субъектной и «объектной» серии в единой субъектной (ср. груз. *w-şegē* 'я писал' при *m-i-şegia* 'я, оказывается, писал'), специфика деклинационной парадигмы имени (ср., например, оппозицию именительного и дательного-винительного падежей, наличие родительного) и мн. др. В целом более последовательным образом нормы номинативного строя выдерживаются в занской группе этих языков ⁸⁵.

Вместе с тем существует возможность показать, что исторически предшествующий дономинативный компонент картвельской языковой структуры в силу его общей ориентации на противопоставление активного («одушевленного») и инактивного («неодушевленного») начал должен быть идентифицирован в качестве активного, а не эргативного.

Уже сам факт обилия черт активной типологии, представленный в современных картвельских языках, способен

⁸⁴ Ср., например: *И. И. Мещанинов*. Общее языкознание. К проблеме. . . , стр. 199—221; *А. С. Чикобава*. Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках, стр. 133—147.

⁸⁵ Ср.: *Г. А. Климов*. К эргативной конструкции предложения в занском языке. — ЭКПЯРТ. Л., 1967.

впустить мысль о хронологической приуроченности их доминативного прошлого к относительно недавней эпохе. В этом плане особое внимание обращает на себя остаточное функционирование в них довольно значительного числа лексических и синтаксических импликаций активности, более подверженных преобразованиям по сравнению с гораздо более консервативными с контенсивно-типологической точки зрения ее морфологическими импликациями. Следует к тому же подчеркнуть и то обстоятельство, что помимо вероятных пережитков активной типологии в этих языках налицо и ряд относительно поздних образований, мотивированных продолжавшимся действием семантической детерминанты активного строя.

Наряду с ныне профилирующим здесь принципом скрытого разбиения глагольных лексем на транзитивные и интранзитивные, характерным и для многих других представителей номинативного строя, на периферии лексической системы еще ощутимо и пересекающееся с первым распределение глаголов на две другие группы, ближайшую аналогию которым образует оппозиция активных и стативных глаголов в языках активного строя. Различаясь по характеру семантики обе они выдают в то же время и свои специфические проекции как на синтаксический, так и морфологический уровень: ср. организацию ими разных конструктивных схем предложения, а также то обстоятельство, что ингредиенты первой предпочтительнее сочетаются с «одушевленным» подлежащим, а члены второй — с «неодушевленным».

Первая, в количественном отношении значительно более широкая группа глагольных лексем, может быть охарактеризована вслед за некоторыми исследователями в качестве «медиаактивных», а вслед за другими — в качестве «активных интранзитивных»⁸⁶. Она складывается из трех следующих основных подгрупп: а) безобъектных глаголов с префиксом *i-* в финитных формах (ср. лазск. *o-bgar-u* 'плакать', *o-xel-u* 'радоваться', *o-xogon-u* 'плясать', *o-patkal-u* 'биться' и др.), б) безобъектных глаголов без префикса *i-* (ср. лазск. *o-bandal-u* 'шататься', *o-mγorin-u* 'мычать'

⁸⁶ Ср.: А. Г. Шанидзе. Основы грамматики грузинского языка. I. Морфология. Изд. 2. Тбилиси, 1973, стр. 305 (на груз. яз.); G. Höpp. *Evolution der Sprache und Vernunft*. Berlin—Heidelberg—New York, 1970, стр. 121 (сноски).

‘реветь’, o-lal-u ‘лаять’, o-patx-u ‘встреппенуться’ и др.) и в) глаголов с косвенным дополнением (ср. лазск. o-ſke-din-u ‘смотреть’, o-xwel-u ‘целовать’, me-ſol-u ‘помогать’, o-simin-u ‘слушаться’ и др.). Нетрудно заметить внутреннее семантическое единство всех входящих сюда слов: все это — различные *verba movendi*, *verba dicendi*, *verba affectuum* и т. п., которые вместе с семантически транзитивными глаголами, как правило, предполагают одушевленное подлежащее, имеющее при глагольных словоформах аористной (а в лазском — и других) времен падежную форму так называемого эргатива и, таким образом, могут восходить к единому классу активных глаголов древнейшего протокартвельского состояния.

Другую группу образуют так называемые статические страдательные глаголы типа сванск. x-ā-b ‘привязано у него то’, x-ā-sw ‘висит у него то’, x-ā-g ‘стоит на нем то’, x-ā-kw ‘надето на нем то’ и т. п. (в грузинском языке всего лишь около тридцати подобных лексем). Их параллелизм стативным глаголам активных языков обнаруживается не только присущей им специфической семантикой состояния, но и в формальном отношении: ср. их преимущественную сочетаемость с неодушевленным подлежащим, яркую дефектность их парадигмы спряжения (отсутствует у них и форма масдара)⁸⁷.

Таким образом, можно догадываться, что за так или иначе проступающим и в современных картвельских языках распределением глаголов на динамические и статические, частными подгруппами которых и оказываются медиаактивные, с одной стороны, и статические страдательные, с другой, в несколько преобразованном виде стоит историческая оппозиция активных и стативных глаголов (необходимо заметить, однако, что высказанное еще Н. Я. Марром предположение о существовании в доистории картвельских языков противопоставления «глаголов действия» «глаголам состояния» не опиралось на анализ языковых фактов, а скорее вытекало из его общетеоретических представлений⁸⁸). Интересно, что в этих языках сохраняются отчетливые следы и третьей группы глагольных лексем (особенно заметной в грузинском и сванском),

⁸⁷ Ср. А. Г. Шанидзе. Указ. соч., стр. 313—319.

⁸⁸ Н. Марр. Грамматика древнелитературного грузинского языка. — МЯЯ, XII, Л., 1925, стр. 175.

функционирующей в системе активного строя — «аффективной». Они заявляют о себе согласованием специфической семантики целого ряда *verba sentiendi* с некоторыми особенностями как их морфологической структуры, так и образуемой ими конструкции предложения⁸⁹.

Необходимо подчеркнуть, что на картвельском материале может быть даже прослежена и характерная для представителей активного строя близость оппозиции активных и стативных глаголов к противопоставлению глаголов одушевленного и неодушевленного действия. Она проявляется в хорошо известном картвелистике феномене дублетности ряда глагольных лексем, до сих пор в той или иной степени ориентированных на подлежащее активного или инактивного классов. Ср. груз.:

| Одушевленные | Неодушевленные | |
|--------------|----------------|------------------|
| čola | deba | ‘лежать’ |
| čakcewa | dawardna | ‘падать’ |
| daxrčoba | čazirwa | ‘тонуть’ |
| moxuceba | moɟweleba | ‘стареть’ |
| berwa | krola | ‘дуть’ |
| šemortqma | šemowleba | ‘окружать’ и др. |

Должно быть естественным, конечно, что в настоящее время такое противопоставление выдерживается не очень строго. Тем не менее, до сих пор встречаются особенно показательные с точки зрения реализации принципов активного строя случаи облигаторного сочетания одушевленных глаголов с субстантивами, обозначающими не только людей и животных, но и растения: ср., например, груз. *wazi čews* ‘лоза лежит’ при *kwa dews* ‘камень лежит’, *xe čaiksa* ‘дерево упало’ при *kwa dawarda* ‘камень упал’.

Аналогичные глагольные дублеты засвидетельствованы и в других картвельских языках. Особенно любопытна их принадлежность по существу к одной и той же семанти-

⁸⁹ С. Л. Быховская. Объективный строй *verba sentiendi* (предварительный очерк). «Язык и мышление», т. VI—VII. 1936, стр. 19—42; А. Г. Шанидзе. Грамматический субъект при некоторых непереходных глаголах в грузинском. «Труды кафедры древнегрузинского яз. ТГУ». Тбилиси, вып. 7, 1961 (на груз. яз.).

ческой сфере при нередком использовании этимологически разных основ. Ср. следующие мегрельские пары:

Одушевленные

Неодушевленные

| | | |
|----------|-----------|-------------|
| žira | zuna | ‘лежать’ |
| dontxapa | dolapa | ‘падать’ |
| škwidapa | donçqwala | ‘тонуть’ |
| gčinapa | dažwešeba | ‘стареть’ |
| barua | rkuala | ‘дуть’ |
| rfqapa | golupapa | ‘окружать’. |

Последнее обстоятельство должно указывать на продолжавшееся в какой-то мере действие семантической детерминанты активного строя и в эпоху существования уже отдельных картвельских языков. Сравнение подобных дублетов по языкам приводит к выводу, что в прошлом их число должно было быть выше: в каждом из них наблюдается характерный для номинативизации структуры процесс обобщения одной из таких парных лексем за счет другой (ср. наличие в лазском уже единого глагола o-bar-u ‘дуть’).

Имеются по крайней мере два аргумента, говорящие в пользу существования в протокартвельском оппозиции инклюзивной и эксклюзивной лексем местоимения 1-го лица множественного числа. Один из них образует оставленные ею проекции на морфологическом уровне — различение двух аналогичным образом дифференцированных глагольных показателей 1-го лица множественного числа в сванском и отражение их в древнегрузинском. Другой здесь следует усматривать в материальной гетерогенности лексемы ‘мы’, выражающейся в генетической несопоставимости грузинско-занского *šwen ‘мы’ и сванского pāj ‘мы’, на котором основывается реконструкция Т. В. Гамкрелидзе двух общекартвельских местоимений — инклюзивного *šwen(a) и эксклюзивного *na⁹⁰.

В качестве наследия норм активного строя здесь можно рассматривать и специфику лексем возвратных местоимений ‘сам’ и ‘свой’ (будучи специально ориентированными на передачу субъектно-объектных отношений они не развиты в системе активной типологии). Вполне очевидна ге-

⁹⁰ Ср.: Т. В. Гамкрелидзе. Сибилантичные соответствия и некоторые вопросы древнейшей структуры картвельских языков. Тбилиси, 1959, стр. 46—47 (на груз. яз.).

нетическая связь первой из них с местоимением 3-го лица, вторая в большинстве случаев еще находится в фазе формирования. История становления обоих хорошо иллюстрируется и памятниками древнегрузинского языка ⁹¹.

До сих пор sporadически сохраняются, особенно заметные еще в языке древнегрузинских письменных памятников, следы этимологического тождества лексем, обозначающих части человеческого или животного организма и части растения: ср. груз. *rka* 'рог' ~ 'ветвь (лозы)', *rxa* 'кость (рыбы, змеи)' ~ 'ость', *kani* 'кожа' ~ 'кожура'. Ср. также др. груз. *da šeekidnian rtoni misni prakta mat da rtota mista šeipqrian da šeimtkician rtota mat prakṭasa* 'Ветви (рога) его сплетаются с чащами, а ветви чащ захватывают его ветви (рога) и держат их крепко' (Физиолог, 18—22) ⁹².

В лексической структуре картвельских языков особое внимание обращают на себя факты, свидетельствующие о том, что действие семантической детерминанты активного строя здесь не прекращалось полностью и на более поздних этапах их исторического развития. К ним прежде всего относятся целый ряд глагольных дублетов, соотносенных с одушевленным или неодушевленным объектом (объектная интенция должна указывать на их относительно позднее происхождение) Ср. груз.:

| Одушевленные | Неодушевленные | |
|-----------------|-----------------|--------------|
| <i>daçwena</i> | <i>dadeba</i> | 'класть' |
| <i>aqwana</i> | <i>aṭeba</i> | 'брат' |
| <i>moqola</i> | <i>motana</i> | 'нести' |
| <i>cnoba</i> | <i>codna</i> | 'знать' |
| <i>šecodeba</i> | <i>dananeba</i> | 'жалеть' |
| <i>banwa</i> | <i>gesxwa</i> | 'мыть' и др. |

(в прошлом число подобных пар было, вероятно, большим: ср. в этой связи др. груз. *mosikwaj* 'посылать (одушевл.)' и *mozṭunaṭ* 'посылать (неодушевл.)'). Далее следует упомянуть противопоставленность в сванском двух местоиме-

⁹¹ А. Г. Мартыросов. Возвратные притяжательные местоимения в картвельских языках. — ИКЯ, т. XIV. Тбилиси, 1964, стр. 109—124; Н. Vogt. Remarques sur le pronom possessif réfléchi du vieux géorgien. «Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap», Bd 26, Oslo, 1972, стр. 91—97.

⁹² G. Graf. Der georgische Physiologos. «Caucasica», 2, 1925, стр. 95.

ний 'наш' — инклюзивного *gu(i)šgwej* и эксклюзивного *niš-gwej*: эта характерная для представителей активного строя оппозиция проводится здесь в разряде уже таких лексем поздней формации, каковыми являются притяжательные местоимения. Типичная для активных языков оппозиция одушевленного и неодушевленного начал налицо и в другой группе слов позднего образования — в *verba habendi* ср. груз. *gola* 'иметь (одушевл.)' ~ *kona* 'иметь (неодушевл.)', мегр. *upa* 'иметь (одушевл.)' ~ *ɣwena* 'иметь (неодушевл.)', сван. *li-qen-e* 'иметь (одушевл.)' ~ *li-ɣwēn-e* 'иметь (неодушевл.)'. Такое же по своему содержанию противопоставление лежит и в основе различия здесь соотносительных прилагательных типа сван. *mei* 'старый (одушевл.)' ~ *šwinel* 'старый (неодушевл.)', лазск. *badi* 'старый (одушевл.)' ~ *mžweši* 'старый (неодушевл.)', *genži* 'молодой' ~ *aɣne* 'новый' и т. п. Естественно, что в плане излагаемой гипотезы особенное внимание обращают на себя атрибутивы, отражающие трактовку названий растений как одушевленных имен: ср. лазск. *badi koči* 'старый человек', *badi mtxa* 'старая коза', *badi binexi* 'старая лоза' при *mžweši oxogɪ* 'старый дом' (в позиции определения к именам одушевленных референтов лазские *aɣne* и *mžweši* имеют, соответственно, преимущественную семантику 'недавний' и 'прежний'). Наконец, интересно, что и такой явно поздний разряд лексем, как масдар в картвельских языках в большинстве случаев сохраняет диффузную с точки зрения передачи субъектно-объектных отношений интенцию: ср. груз. *šwa* 'жечь' 'гореть', *twewa* 'волочить' 'тащиться', *gamoɣwižeba* 'будить' 'просыпаться' и т. д.

На синтаксическом уровне к элементам наследия активной типологии в этих языках прежде всего могут быть отнесены многочисленные пережитки функционирования активной конструкции предложения, особенно очевидные в случаях, когда сказуемое выражено аористными (а в лазском — и другими) формами интранзитивного глагола. Ср., например, груз. *deda-m šaaxwela* 'мать кашлянула', *kas-ma šaarptxa* 'человек плюнул', *bawšw-ma morsa* 'ребенок помочился', *šaɣl-ma daiqera* 'собака полаяла' или *meqare-m burts mousco* 'вратарь подоспел к мячу', *q'č-ma guls szlia* 'желудок одолел сердце' и т. п., где при интранзитивных глаголах активного (одушевленного) действия подлежащее выступает в форме «эргативного» па-

дежа. Между тем в приведенных примерах не приходится говорить об эллипсе прямого дополнения, поскольку все это — структурно полные предложения. Безуспешными остались и попытки отдельных авторов реконструировать в их составе историческое прямое дополнение. Ср., в частности, попытку Н. Я. Марра возвести груз. *man šexeda mas* 'он взглянул на него' к историческому *man šexeda mas tvali* 'он вперил в него глаза' (в то время, как глагольные лексемы семантики 'взглянуть' требуют «эргатива» подлежащего и в других картвельских языках). Таким образом, приходится согласиться с выводом Г. Аронсона, согласно которому в грузинском мы встречаемся лишь с приближением к эргативной конструкции⁹³.

Другую синтаксическую реминисценцию активного состояния образуют в этих языках черты аффективной конструкции предложения. В виду имеются некоторые особенности схемы предложения с целым рядом *verba sentiendi* и *verba affectuum* (инвертированный порядок членов предложения, специфика морфологического оформления). Будучи наиболее заметными в построениях с глаголом-сказуемым в формах презенсной серии времен, эти особенности снимаются при его других временных формах, что может служить косвенным указанием на соотносимость ее функционирования с эпохой действия в глаголе не темпоральных, а аспектуальных градаций.

Как и следовало ожидать в соответствии с консервативным положением морфологии в плане контенсивно-типологической схемы, пережитки активного строя особенно широко представлены в морфологической системе картвельских языков. В равной степени интересный в этом отношении материал налицо здесь как в глагольном, так и в именном словоизменении.

В сфере картвельской глагольной морфологии обращает на себя внимание уже сам исторически одноличный принцип спряжения, вскрывающийся здесь по общепринятому мнению за инновативным статусом субъектных суффиксов 3-го лица и нехарактерный для представителей эргативной типологии, которые чаще всего следуют его двухличному принципу. Напротив, одноличный принцип спряжения весьма распространен в активных языках.

⁹³ Н. Я. Aronson. Towards a semantic analysis of case and subject in Georgian. «Lingua», v. 25, 1970, № 3, стр. 296—297.

Однако значительно более показателен тот факт, что сама схема функционирования личных аффиксов картвельского глагола оказывается формально аналогичной схеме глагольного спряжения в рамках активной типологии. Прежде всего здесь легко реконструируются два их ряда, обычно несколько неточно квалифицируемых в специальной литературе как субъектный и объектный:

| Субъектный | Объектный |
|-----------------|-----------|
| 1 л. *xw- | *m- |
| 2 л. *x- | *g- |
| 3 л. *θ, *l-(?) | *θ |

Если бы общекартвельское состояние было эргативным, то в соответствии с его принципами в роли субъектных показателей интранзитивного глагола должны были выступать аффиксы объектного ряда. Между тем фактически во всех картвельских языках в этой роли выступают личные аффиксы субъектного ряда. Иначе говоря, вместо ожидавшихся в первом случае словоформ типа *aγ-m-deg 'я встал', *mo-g-wed 'ты пришел' и т. п. в действительности реконструируются словоформы типа *aγ-w-deg и *-mo-x-wed. С другой стороны, в транзитивном глаголе в тех же лицах должен был выступать аффикс объектного ряда 3-го лица. Однако на деле и здесь имеем обратную картину — т. е. формы с аффиксами субъектного ряда типа сван. xw-i-ked 'я беру (то)', x-i-ked 'ты берешь (то)' (последнее несоответствие построения картвельского глагола принципам эргативности отмечалось, например, К.-Х. Шмидтом⁹⁴). Резко противоречит принципам эргативного строя и построение словоформ картвельского трехличного транзитивного глагола типа груз. mo-m-s-a 'он дал мне (то)', также восходящих к общекартвельской модели. В них представлены показатели подлежащего и косвенного дополнения, однако отсутствует ожидавшийся в соответствии с нормами эргативности показатель прямого дополнения. Все это означает, что морфологическая структура как транзитивного, так и интранзитивного глагола обнаруживает в картвельских языках отношения, характерные скорее для глагола представителей активной

⁹⁴ К. Н. Schmidt. Probleme der Typologie (Indogermanisch/Kaukasisch). «Homenaje a Antonio Tovar, ofrecido por sus discipulos, colegas y amigos». Madrid, 1972, стр. 452.

типологии, в которых любой активный глагол, подобно приведенным в настоящем абзаце, оформляется личными показателями активного ряда. В свою очередь столь же интересную аналогию морфологической структуре стативных глаголов языков активной типологии, включающих лишь личные показатели инактивного ряда, здесь образуют, как и следовало ожидать, «статические страдательные» глаголы, исторически содержащие только личные аффиксы объектного ряда. Казалось бы, в одном пункте картвельский глагол все же знает формы, построенные по нормам эргативности. Имеются в виду словоформы семантически транзитивного глагола 3-го лица субъекта при 1-м и 2-м объектном лице: ср. груз. *m-sem-s* (< **m-sem*) 'меня бьет (он)', *g-sem-s* (< **g-sem*) 'тебя бьет (он)'. Но и это явление находит свои аналогии в активных языках. Одну из них образуют формы типа *xe-nurā* 'меня бьет (он)' и *n-de-nura* 'тебя бьет (он)' в языке тупи (объектное согласование связано с недостаточной развитостью в последних специального показателя 3-го лица, о чем см. ниже). Другая же состоит в том, что подобно картвельским языкам в них формально не разграничены личные показатели прямого и косвенного объектов, что опять-таки чуждо эргативным языкам. В связи с охарактеризованными особенностями системы спряжения картвельского глагола нельзя не вспомнить приведенное на стр. 197 предположение С. Л. Быховской о возможности происхождения картвельского глагольного спряжения из системы, аналогичной представленной в американских языках активной типологии.

В связь с недостаточной развитостью показателя 3-го лица в активных языках может быть поставлено и то обстоятельство, что некоторые интранзитивные глаголы типичной стативной семантики обнаруживают в картвельских языках исторически безличную структуру (ср. др. груз. *ax-s* < **ax* 'близко находится', *çit-s* < **çit* 'краснеет' и др.), что также обнаруживает отклонение от морфологической структуры интранзитивного глагола в рамках эргативного строя.

В картвелистике справедливо признается связь форманта пассивного залога *i-* с материально идентичным ему показателем субъектной версии глагола. В свете предлагаемой здесь гипотезы появляется возможность вывести обе морфемы из единого источника — из показателя

исторической нецентробежной версии активного глагола, что составило бы типологическую параллель развитию, имевшему место в индоевропейских языках. Если это так, то к этому же общему историческому знаменателю может быть, вероятно, приведен и префикс *i-*, выступающий в картвельских интранзитивных глаголах типа груз. *i-ṛbina* 'он бегал', *i-suga* 'он плыл', *i-tira* 'он плакал' и т. п. С другой стороны, есть основания предположить, что другой картвельский версионный показатель *a-*, аналогичным образом выступающий как в семантически транзитивном, так и интранзитивном глаголе (ср. для последнего случая груз. *a-dgas* 'он стоит (на чем-либо)', *a-zis* 'он сидит (на чем-либо)' и т. п.), может исторически восходить к былому показателю центробежной версии активного глагола.

Принятое в картвелистике положение о позднем становлении в картвельских языках категории времени на базе преобразования более древних аспектных противопоставлений также лучше всего согласуется с гипотезой об их активном прошлом (если в эргативных языках темпоральные характеристики в глаголе, по-видимому, в целом преобладают над аспектуальными, то в активных наблюдается обратная картина). Как известно, один из способов действия — пермансив, передающий длительный характер протекания действия, засвидетельствован еще в древнегрузинском. «Вневременной характер пермансива и функциональное сродство его с настоящим временем отмечены в специальной литературе (А. Шанидзе, Г. Деетерс). Формирование категории времени в спряжении, естественно, должно было повлечь за собой ослабление позиций пермансива (его уже нет в новогрузинском литературном языке, так же как и в большинстве грузинских диалектов), но процесс вытеснения категории аспекта категорией времени и поныне нельзя считать законченным. . .»⁹⁵ В свете этого положения появляется возможность истолковывать некоторые тематические аффиксы и иные реликтовые распространители глагольной основы в картвельских языках (ср. сванск. *li-b-em* 'связывать', *li-g-em* 'ставить', *li-kw-īsg* 'говорить', *li-d-ēsḡ* 'класть' и др.) как наследие исторически имевшегося разнообразия показателей способа действия.

⁹⁵ А. С. Чикобава. Указ. соч., стр. 145.

Хорошо согласующиеся с нарисованной картиной факты налицо и в области именной морфологии картвельских языков. Один из наиболее ярких из них заключается в том, что так называемый эргативный (значительно реже его синонимом служит термин «активный») падеж здесь скорее приближается по своей функции к активному падежу языков активной типологии. Как явствует уже из примеров, приведенных на стр. 223, это падеж подлежащего не только при семантически транзитивных глаголах, но и при очень большом числе интранзитивных, обозначающих активное (обычно одушевленное) действие (на содержательную специфику картвельского «эргатива», по-видимому, впервые обратил внимание А. Г. Шанидзе). Представляется поэтому небезосновательной недавно высказанная А. Г. Шанидзе мысль о возможности квалификации его в качестве «действительного» — груз. *mokmedebiti* ⁹⁶.

Весьма интересна и статистическая характеристика употребления этого падежа: даже в современных картвельских языках (по-видимому, кроме мегрельского) он в огромном большинстве случаев оформляет «одушевленное» подлежащее независимо от переходности или непереходности производимого соответствующим внеязыковым референтом действия. Так, в частности, в лазских текстах, записанных Г. А. Картозия, на примерно 2925 случаев оформления падежом на -к «одушевленных» подлежащих имеется всего лишь 37 случаев оформления им «неодушевленных». В «Лазских сказках» Ж. Дюмезиля соответствующие подсчеты дают цифры 528 : 1, в его же «Лазских сказках» — 929 : 20. В опубликованных С. М. Жгенти лазских текстах имеем соответственно соотношение 2175 : 24, в текстах, изданных в 1929 г. А. С. Чикобава, — 1649 : 50 ⁹⁷. Необходимо к тому же заметить, что в примерах на употребление этого падежа в словоформах неодушевленных имен отчетливо выступает явление персонифицирующей метафоры, столь характерное для представителей

⁹⁶ А. Г. Шанидзе. Основы грамматики грузинского языка, стр. 46.

⁹⁷ Г. А. Картозия. Лазские тексты. Тбилиси, 1972; G. Dumézil. Contes Lazes. «Travaux et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie», XXVII. Paris, 1937; Он же. Récits Lazes (Dialecte d'Arhavi). «Documents Anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase», IV. Paris, 1967; С. М. Жгенти. Чанские тексты (архавский диалект). Тбилиси, 1938; А. С. Чикобава. Чанские тексты. I. Хопский диалект. Тбилиси, 1929.

номинативного строя. Напротив, попытки соотнесения картвельского «эргатива» подлежащего с наличием в составе предложения транзитивного глагола наталкиваются на едва ли преодолимые трудности — несравнимо менее выразительным оказывается и количественное соотношение случаев употребления в лазском падеже подлежащего на -k с транзитивными и интранзитивными глаголами-сказуемыми (бросается в глаза, что не требует этого падежа сказуемое, выраженное страдательной формой транзитивного глагола).

Предположение об исторически активной, а не эргативной функции картвельского «эргатива» более удовлетворительным образом объясняет и хорошо известный факт распространения окончания -k на любое подлежащее в построениях с формами аористных времен глагола-сказуемого в мегрельском. Если бы он функционировал как примета эргатива, то вследствие своей значительно более низкой по сравнению с флексией активного падежа встречаемости, особенно очевидной в условиях процесса номинативизации всей языковой структуры, он имел бы гораздо меньше шансов для подобного обобщения⁹⁸ (ср. аналогичную гипотезу об эволюции актива в номинатив в протоиндоевропейском).

С точки зрения определения направленности типологической перестройки структуры рассматриваемых языков обращают на себя внимание несколько случаев морфологического противопоставления «одушевленных» и «неодушевленных» имен (иногда неадекватно интерпретирующихся как оппозиция категории человека и вещи), сохранявшихся в противоположность современному грузинскому в древнегрузинском. Так, например, для обозначения исходного пункта действия в последнем использовались две разные падежные формы в зависимости от одушевленности ~ неодушевленности денотата: ср. *sxenis-gan* (род. пад. с послелогом) *gardaiġra* 'свалился с лошади' при *zec-it* (тв. пад.) *gardmowarda* 'упал с неба'. По-разному передавалось в нем в этой связи и направительное отношение: ср. *miwida misa* 'пришел к нему (одуш.)' при *miwida saxl-*

⁹⁸ Иное мнение см., например, в работах: *G. Deeters. Das kharthwelische Verbum. Vergleichende Darstellung des Verbalbaus des südkaukasischen Sprachen. Leipzig, 1930, стр. 96—98; H. Fähnrich. Georgischer Ergativ im intransitiven Satz. «Beiträge zur Linguistik und Informationsverarbeitung», 10, 1967.*

ад 'пришел домой (неодуш.)'. Еще по догадке Н. Я. Марра, два именных показателя множественного числа -п и -еб первоначально должны были употребляться в древнейший период в зависимости от того, обозначает оформляемое имя «существо пассивное или существо активное»⁹⁹. Вместе с тем складывается впечатление, что по сравнению с современным грузинским в древнегрузинских текстах большее место занимают и интранзитивные (медиоактивные) глаголы, обуславливающие постановку подлежащего в «эргативе» (ср. *man ganixaga* 'он возрадовался', *mat daidumes* 'они молчали', *man iwno* 'он пострадал' и т. п.).

Нетрудно заметить, вероятно, что отмеченная выше совокупность черт доминативного состояния образует в картвельских языках некоторую целостную систему, основанную на довольно последовательном разграничении активного («одушевленного») и инактивного («неодушевленного») начал. Напротив, в них не видно явлений, которые могли бы быть однозначно соотнесены с системой эргативной типологии. Очень широкая, на наш взгляд, представленность импликаций активности даже в лексической системе этих языков дает основания полагать, что последние демонстрируют процесс преобразования активной типологии непосредственно в номинативную (несколько раньше автор настоящей работы высказывал мнение, согласно которому их структурная перестройка была опосредствована скоротечной фазой эргативности¹⁰⁰).

Если нарисованная здесь картина адекватна, то она дает возможность провести еще одну глубокую типологическую аналогию между общекартвельским и общеиндоевропейским древнейшего периода, характеризующую к тому же и наиболее общие тенденции их последующего структурного преобразования¹⁰¹ (принципиально отлич-

⁹⁹ *N. Marr, M. Brière. La langue géorgienne. Paris, 1931, стр. 61; К. Д. Дондуа. О двух суффиксах множественности в грузинском. «Язык и мышление», I 1933; С. Л. Быховская. Показатели множественности как классовые показатели в грузинском и баскском языках. «Академия наук акад. Н. Я. Марру». Л., 1936, стр. 179 и след.*

¹⁰⁰ *Г. А. Климов. Очерк общей теории эргативности, стр. 247—248.*

¹⁰¹ Впервые интересный типологический параллелизм общекартвельского и общеиндоевропейского был вскрыт на уровне фонологии и морфонологии в монографии: *Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани. Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры. Тбилиси, 1965. —*

ный путь развития прослеживается в таком случае в автохтонных языках Северного Кавказа, обнаруживающих при реликтах активного строя структуру эргативной типологии). Не будет, вероятно, преувеличением сказать, что в плане контенсивной типологии основное различие современных индоевропейских и картвельских языков сводится к различной степени реализации единого процесса, хотя во вторых номинативизация строя еще не зашла настолько далеко, как в первых (промежуточная позиция картвельских языков между абхазско-адыгскими и нахско-дагестанскими языками может быть определена только в плане формальной типологии или точнее — характерологии).

Весьма отчетливый контакт со структурой активного строя по сей день обнаруживает едва ли не единственный живой представитель енисейской языковой семьи — кетский (к ней относились ныне исчезнувшие аринский, ассанский, коттский и пумпокольский языки). Хотя в настоящее время его структурный облик также в значительной степени номинативизован, своими многочисленными и во многих случаях лежащими еще на поверхности чертами активности он постоянно давал повод как усматривать его аналогии языкам эргативной типологии, так и предполагать известный параллелизм его развития с индоевропейским¹⁰².

Гипотеза об активной типологии общенисейского состояния была обусловлена прежде всего уже выполненными весьма неглубокими реконструкциями принципов структурной организации лексики в этих языках — лексикализации имен существительных, с одной стороны, и глаголов, с другой.

Недавно была установлена аналогия в структуре картвельского и индоевропейского стиха: см.: *Г. В. Церетели*. Метр и рифма в поэме Руставели «Витязь в барсовой шкуре». — В кн.: Метр и рифма в поэме Руставели «Витязь в барсовой шкуре». Гбалиси, 1973, стр. 52—54.

¹⁰² *Б. А. Успенский*. Замечания по типологии кетского языка. «Вопросы структуры языка». М., 1964, стр. 155 и след.; *И. О. Гецадзе*. [Рец. на кн.:] *Е. А. Крейнович*. Глагол кетского языка. ВЯ, 1969, № 6, стр. 139—143; *Г. К. Вернер*. Индоевропейско-енисейские типологические параллели. «Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков (12—14 декабря). Предварит. материалы». М., 1972, стр. 7—9.

Так, рассматривая происхождение ныне уже трех-классного (или трехродового) распределения субстантивов в кетском на имена мужского, женского и среднего рода, А. П. Дульзон подчеркивал, что категория рода здесь «выражает понятие одушевленности (живые предметы) и неодушевленности (вещи), причем у первых может различаться пол — мужской и женский» и приходил к заключению, что «основным и первичным в этой классификации, по-видимому, являются понятия одушевленности и неодушевленности»¹⁰³. Аналогичным образом исследования Е. А. Крейновича показывают, что противопоставление среднего (неодушевленного) рода обоим другим еще и в современном кетском языке основывается на общем семантическом признаке, который можно интерпретировать как признак активности или жизненной энергии. В одних случаях это противопоставление реализуется как оппозиция живого и неживого (в частности, растущее дерево рассматривается наряду с человеком и животным как живой организм, а срубленное — как неживой), в других — как оппозиция целого и расчлененного¹⁰⁴. При этом оппозиция имен мужского и женского рода единодушно признается исследователями инновацией, сложившейся в рамках имен существительных исторического активного («одушевленного») класса.

С другой стороны, и в настоящее время систематически проводимое по всей системе словоизменения кетского глагола разграничение форм действия и состояния позволило прийти к выводу, что в сфере глагольных слов в прошлом здесь должно было функционировать противопоставление активных и стативных глаголов. Как и в материале других затронутых выше языков, в своем наиболее наглядном виде эта оппозиция сохраняется в дублетности некоторых глагольных лексем, одна из которых лексически сочетается только с именами былого активного класса, а другая — лишь с именами былого инактивного:

¹⁰³ А. П. Дульзон. Кетский язык. Томск, 1968, стр. 63; И. Г. Вернер. Категория рода в кетском языке. Автореф. канд. дис. Томск, 1972.

¹⁰⁴ Е. А. Крейнович. Именные классы и грамматические средства их выражения в кетском языке. — ВЯ, 1961, № 2; Он же. О грамматическом выражении именных классов в глаголе кетского языка. «Кетский сборник. Лингвистика». М., 1968, стр. 154 и след.

ср, например, ¹дѹфын 'он (человек или существо мужского рода) стоит', ¹дѹфын 'она (женщина или существо женского рода) стоит' при *истол* ⁵уйбахэт 'стол стоит' ¹⁰⁶.

В кетском языке налицо и ряд других лексических импликаций активного строя, наложивших в свою очередь глубокий отпечаток на всю грамматическую систему языка. Среди них следует упомянуть остаточный супплетивизм глагольных основ, основанный на соотношенности активного действия с единичностью или множеством вовлеченных в него реальных референтов, а также несформированность некоторых глагольных лексем, специально ориентированных на передачу типичных субъектно-объектных отношений (в частности, в последней связи отмечалось, что фиксируемые Е. А. Крейновичем глаголы обладания могут рассматриваться в качестве позднего новообразования, на что указывает узость и большая конкретность их семантики) ¹⁰⁶.

В кетской прономинальной системе обращает на себя внимание то обстоятельство, что среди местоимений 3-го лица здесь нет заместителей неодушевленных имен — функционирующие личные местоимения способны замещать лишь одушевленные имена. Интересно в рассматриваемом плане и структурное различие в построении количественных числительных до названий пяти, соотносимых с одушевленными или неодушевленными именами. Фактически — это предикативные образования, оформляемые предикативными суффиксами — имбатск. диал. -ау, сымск. диал. -э : у (для одушевленных), имбатск. -ам, сымск. -э (для неодушевленных); ср. также атрибутивные формы числительного 'один' — имбатск. *кэк*, сымск. *хэк* (при одушевленном имени), имбатск. *кус'*, сымск. *хус* (при неодушевленном имени) ¹⁰⁷.

Сохранилась здесь и еще одна интересная черта, свидетельствующая о наличии в прошлом состоянии типичного для активного строя согласования активных имен и глаголов. Поскольку в кетском не сформированы личные местоимения, замещающие имена исторического инактивного класса, то естественно предположить, что

¹⁰⁶ Г. К. Вернер. Реликтовые признаки активного строя в кетском языке, стр. 37.

¹⁰⁶ Там же, стр. 44.

¹⁰⁷ Там же, стр. 37.

в прошлом эти имена не были способны выступать в роли субъекта действия (и, следовательно, в позиции подлежащего) при активных глаголах и оформляться в активном падеже.

Былое распределение глаголов на активные и стативные должно было обуславливать корреляцию активной и инактивной конструкций предложения, что подтверждается и механизмом функционирования здесь двух рядов личных глагольных показателей (особенности последнего, естественно, указывают на принципиальное отличие кетского построения с исторически активным глаголом от эргативного ¹⁰⁸).

Особенно много реликтов активной типологии представлено в морфологической системе кетского языка. Естественно, что они в первую очередь характеризуют его чрезвычайно развитую глагольную морфологию.

Здесь до сих пор сохраняется морфологическая противопоставленность активных и стативных глаголов. В этой связи Б. А. Успенский писал следующее: «О типологической аналогии между кетским языком и языками эргативного строя можно говорить постольку, поскольку показатели субъекта непереходных глаголов совпадают с показателями объекта переходных. Тогда (в общем приближении) в кетском различаются две группы личных показателей глагола: d-показатель субъекта переходных глаголов, b — показатель объекта переходных // субъекта непереходных глаголов. . . Эта общая картина осложняется тем обстоятельством, что некоторая (относительно, как будто, небольшая) часть непереходных глаголов оформляется личными показателями группы d. Возможно, впрочем, что такие глаголы можно рассматривать как потенциально переходные. С другой стороны, некоторая часть непереходных глаголов вообще не оформляется личными показателями» ¹⁰⁹. Нетрудно заметить, что то осложнение, о котором говорит автор, довольно отчетливо выдает противопоставление спряжений активного и стативного глаголов

¹⁰⁸ М. Н. Валл. Обусловленность некоторых глагольных форм субъектно-объектным падежом в кетском языке. «Склонение в палеоазиатских и самодийских языках». Л., 1974, стр. 220 и след.; ср. также: А. П. Дульзон. Кетский язык, стр. 597—600.

¹⁰⁹ Б. А. Успенский. Замечания по типологии кетского языка, стр. 155—156; Он же. О системе кетского глагола. «Кетский сборник. Лингвистика». М., 1968, стр. 204—205, 210—211.

с характерным для них распределением двух серий личных аффиксов — ряда d- (активного) и ряда b- (инактивного). Г. К. Вернер прямо отмечает, что в структуре глагольных словоформ исторически «было представлено два ряда грамматических показателей, которые соотносились с активными и инактивными именами в зависимости от того, был ли соответствующий глагол глаголом действия или состояния. У активных глаголов, которые передавали различные действия и движения, был представлен ряд аффиксов, получивших в литературе название личных показателей группы Б. . . , которые соотносились с активными именами, обозначающими деятеля. Другой же ряд аффиксов, условно обозначаемый теперь показателями группы Д, был, очевидно, поначалу связан с идеей пребывания актанта ситуации в определенном состоянии и, следовательно, мог соотноситься как с активными, так и с инактивными именами. В пользу выдвигаемого предположения говорят следующие факты современных кетских диалектов.

1. У некоторых активных глаголов (движения или действия), сохранивших очень архаическую парадигму спряжения, представлены именно личные показатели группы Б, например: *сым. бэ́аде* 'иду', *ку́аде* 'идешь', *за́де* 'он идет' . . . , *бахы́бдер* 'я ношу (одежду)', *кухы́бдер* 'ты носишь', *ахы́бдер* 'он носит' . . .

2. Личные показатели группы Д обнаруживают несомненную тесную связь с предикативными аффиксами (в частности, в формах ед. числа), т. е. с аффиксами, оформляющими формы состояния субъекта действия. Ср. *сым. ⁶фен'н'а²ди?* 'я маленький', *⁶фен'н'а²гу?* 'ты маленький', *⁶фен'н'а²да?* 'она маленькая' . . . , *¹дийфыу* 'я пухну', *²куйфыу* 'ты пухнешь', *¹дъйфыу* 'она пухнет' . . .

3. Наиболее существенной является, однако, следующая особенность. Среди показателей группы Д, как правило, представлен специальный показатель вещного рода в 3-м лице ед. и мн. числа, в то время как среди показателей группы Б такового нет, и его заменяет соответствующий показатель женского рода. . . Совсем иное положение наблюдается в группе показателей Б. Отсутствие специального показателя для вещного рода говорит о том, что показатели Б по происхождению были аффиксами, которые соотносились лишь с активными именами, обозначаю-

щими деятеля и встречались только в активных глаголах»¹¹⁰.

Исследователи единодушно констатируют далее, что для кетского глагола в прошлом устанавливается такое состояние, когда он не различал категории времени, но характеризовался функционированием категории способа действия (аспекта), описывавшей специфику протекания действия с количественной и качественной сторон. Впервые общая картина вероятного преобразования древних аспектуальных показателей в темпоральные была здесь намечена Е. А. Крейновичем¹¹¹. Необходимо заметить, вместе с тем, что при противопоставлении еще в современном кетском глаголе всего двух времен — настоящего-будущего и прошедшего — обращает на себя внимание большая детализация форм способа действия¹¹².

Хотя наличие категории залога в кетском оспаривается, в нем можно усмотреть следы глагольной диатезы версионного типа: «Опущение личных показателей субъекта в форме переходного глагола может придавать глаголу характер пассивного действия: переходный глагол, в котором опущены показатели субъекта (Agens), но остаются объектные показатели (показатели Patiens), выступает тогда как непереходный, причем связанный именно с Patiens. (Можно сказать, что глагол в этом случае меняет свое оформление, становясь оформленным по непереходной парадигме)»¹¹³.

До настоящего времени различные морфологические характеристики получают в кетском языке и одушевленные и неодушевленные имена. Первые, как правило, имеют показателем множественного числа аффикс -н, а вторые — аффикс -у (в случаях, когда выбор одного из них не обусловлен фонетическими или некоторыми семантическими факторами). В плане гипотезы об активном прошлом енисейских языков интересно и наличие здесь пережиточной группы субстантивов, вообще не приобретающих суф-

¹¹⁰ Г. К. Вернер. Реликтовые признаки активного строя в кетском языке, стр. 38—40.

¹¹¹ Е. А. Крейнович. Глагол кетского языка. Л., 1968, стр. 16 и след.; также: Б. А. Успенский. О системе кетского глагола. «Кетский сборник. Лингвистика». М., 1968, стр. 199—204.

¹¹² Ср.: Е. А. Крейнович. Способы действия в глаголе кетского языка. «Кетский сборник. Лингвистика», стр. 75—138.

¹¹³ Б. А. Успенский. О системе кетского глагола, стр. 205.

фиксов множественного числа. Еще в современной парадигме кетского склонения различие одушевленных и неодушевленных субстантивов дает себя знать в том, что первые имеют во множественном числе особые падежные флексии родительного, дательного, исходного, назначительного и местно-личного падежей, в то время как неодушевленные имена сохраняют соответствующие показатели, выступающие в формах единственного числа ¹¹⁴.

Реконструкции, предпринятые в области кетской именной морфологии, предполагают, что в прошлом падежная парадигма должна была здесь отсутствовать не только у неодушевленных имен, но и у одушевленных. Выяснено, что падежные экспоненты в большинстве случаев восходят к послелогам, а одна их группа опирается на форму родительного падежа. В то же время показатель самого родительного падежа и личные глагольные показатели ряда Б имеют, по всей вероятности, единое происхождение: они представляют собой экспоненты особого падежа, который принимали личные местоимения в случае их согласования с активными глаголами в качестве субъекта действия т. е., по-видимому, активного ¹¹⁵.

Следует упомянуть, наконец, мнение В. Н. Топорова и Г. К. Вернера, согласно которому в прошлом кетское имя могло характеризоваться морфологической категорией притяжательности, различавшей формы органической и неорганической принадлежности ¹¹⁶.

В заключение нелишним будет упомянуть, что в этнографической литературе неоднократно ставился вопрос о возможных генетических связях кетов с американскими индейцами. Ср., в частности, мнение Г. Коллинза, согласно которому кеты могут быть остатками древнейшей этнической общности, отпрыском которой являются и атапаски ¹¹⁷ (небезынтересно отметить параллелизм в наз-

¹¹⁴ Г. К. Вернер. Реликтовые признаки активного строя в кетском языке, стр. 36, 40—44; ср.: Т. К. Поротова. О связи категории одушевленности с формам множественного числа кетских существительных. «Уч. зап. Томск. пед. ин-та», т. XXIII, 1968; Она же. О вариантах падежных аффиксов множественного числа существительных кетского языка. «Склонение в палео-азиатских и самодийских языках», стр. 227—229.

¹¹⁵ Г. К. Вернер. Реликтовые признаки. . ., стр. 41.

¹¹⁶ Ср.: Там же, стр. 43.

¹¹⁷ H. Collins. Arctic Area. «Program of the History of America. Indigenous Period», 1—2. Mexico, 1954; ср. также: А. Н. Лип-

вании человека: кетск. *deŋ* 'люди' ~ атапаск. *déne* то же).

Еще один пример раннеинфинитивного состояния, обнаруживающего довольно тесный контакт со структурой активного строя, можно усмотреть в обоих представителях южноамериканской языковой семьи кечумара — кечуа и аймара (суммируемые ниже наблюдения были бы невозможны без участия наших обязательных информантов по обоим языкам). Об этом свидетельствуют не только многочисленные черты их грамматики (прежде всего — морфологии), но и некоторые факты лексического уровня.

В обоих языках до сих пор заметное место занимает такая фреквенталия активности, как дублетность глагольных лексем, соотносящихся с одушевленным и неодушевленным подлежащим или дополнением. В частности, в аймара бросаются в глаза их ряды, поразительно совпадающие по своей семантике с соответствующими картвельскими:

| Одушевленный | Неодушевленный | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| <i>tawuña</i> | <i>tankaña</i> | 'плавать' |
| <i>axčkataña</i> | <i>xalantaña</i> | 'тонуть' |
| <i>oxtaña</i> | <i>xitiña</i> | 'двигаться (беспорядочно)' |
| <i>p^husxaña</i> | <i>t^hayaña</i> | 'дуть' |
| <i>ɕujmaniptaña</i> | <i>t^hant^hakiptaña</i> | 'стареть' |
| <i>irpaña</i> | <i>apaña</i> | 'нести' |
| <i>iptaña</i> | <i>aptaña</i> | 'брать' |
| <i>k^hitaña</i> | <i>apayaña</i> | 'нести' |
| <i>irpxataña</i> | <i>arxataña</i> | 'класть'. |

Аналогичные параллельные ряды глаголов отмечаются и в кечуа. С этим явлением следует сопоставить правило, не разрешающее сочетать такие типично «одушевленные» глаголы, как 'лежать', 'сидеть' и другие, с подлежащим, выраженным неодушевленным именем (так, вместо 'палка лежит' имеем построение 'палка есть').

Другое интересное в этом плане явление языков кечумара составляет исключительно высокий процент различающихся по признаку транзитивности ~ интранзи-

ский. Американцы на Енисее. «Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Материалы межвузовской конференции». Томск, 1969, стр. 155—159.

тивности (или центробежности ~ нецентробежности) глагольных лексем, производных от единой основы. Ср., например, следующие пары глаголов в аймара (1) и кечуа (2):

| | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---|
| 1. liwiña | ‘бросать’ | liwi-si-ña | ‘падать’ |
| qolxaña | ‘отправлять’ | qolxa-si-ña | ‘отправляться’ |
| luraña | ‘делать’ | lura-si-ña | ‘присходить, делать (себе)’ |
| pak ^h iña | ‘ломать’ | pak ^h i-si-ña | ‘ломаться, ломать для себя’ |
| xariqāna | ‘мыть’ | xariqa-si-ña | ‘мыться, мыть для себя’ |
| perqaña | ‘строить’ | perqa-si-ña | ‘строить (себе)’ |
| pitaña | ‘курить’ | pita-si-ña | ‘курить для себя’ |
| sanoña | ‘причесывать’ | sano-si-ña | ‘причесываться, причесывать (себе)’ |
| winkuña | ‘лежать’ | winku-si-ña | ‘ложиться’ |
| 2. lanka ⁿ | ‘строить, работать’ | lanka ku- ⁿ | ‘строить, работать (для себя).’ |
| hiča ⁿ | ‘наливать’ | hiča-ku- ⁿ | ‘наливать (себе)’ |
| ñaxča ⁿ | ‘причесывать’ | ñaxča-ku- ⁿ | ‘причесываться, причесывать (себе)’ |
| sipi ⁿ | ‘убивать’ | sipi-ku- ⁿ | ‘убиваться, убивать (себе)’ |
| kuču ⁿ | ‘резать’ | kuču-ku- ⁿ | ‘резать (себе)’ |
| majla ⁿ | ‘мыть’ | majla-ku- ⁿ | ‘мыть (себе), мыться’ |
| pakiru ⁿ | ‘ломать’ | pakiru ku- ⁿ | ‘ломать (себе), ломаться’ |
| čura ⁿ | ‘класть’ | čura-ku- ⁿ | ‘класть (себе), ложиться’ ¹⁸ |

Обращает на себя внимание несформированность здесь ряда глагольных лексем, специально передающих субъектно-объектные отношения. Так, в языках кечумара отсутствует связочный глагол, функцию которого выполняет предикативный аффикс. Ср. qotá-x manqi-wa

¹⁸ Ср.: G. J. Parker. Ayacucho Quechua Grammar and Dictionary. The Hague — Paris, 1969, стр. 71—72; G. P. Duran. Runasimi (el Quechua en la Gramática). Arequipa (Peru), 1972, стр. 84—85.

‘озеро глубоко’, qoqa-x aśaśi-wa ‘дерево старо’, wičinka-x xiwaki-wa ‘хвост красив’ в аймара. Нет здесь и особых *verba habendi*, роль которого в аймара играет лексема otxaña ‘быть, иметься’, обуславливающая специфическую схему предложения: paɣa-n(a) otxi-wa aɲi ‘у меня есть собака’. Формирующийся в кечуа глагол обладания использует лексему tiyaⁿ ‘сидеть’: ср. ñoqaɣrata tiyaⁿ aɲo ‘у меня есть собака’. Интересна производность аймаранских глаголов арага-ña ‘отнимать’ и артана ‘брать’ от глагола араña ‘нести’ (второй из них по существу представляет собой форму ингрессива последнего). Ср. также этимологическое тождество čura-ña ‘давать’ в аймара с čuraⁿ ‘класть’ в кечуа.

Проводится различие двух лексем прилагательного ‘старый’: ср. aśaśi (одушевл.) и t^hant^ha (неодушевл.) в аймара и paɣa // mači (женск. и мужск. одушевл.) и t^hanta (неодушевл.) в кечуа, с соотносением одушевленной лексемы и с названиями деревьев и растений.

Налицо отдельные прецеденты сохранения такой лексической фреквенталии активности, как этимологическое тождество названий соотносительных частей организма и растения: ср. pexe ‘голова’ ~ ‘вершина (дерева)’, wila ‘кровь’ ~ ‘сок (дерева)’ в аймара, qaga ‘кожа, шкура’ ~ ‘кора’ и др. в кечуа.

В проминальной системе языков кечумара бросается в глаза противопоставление инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа: ср. формы xiwasa ‘мы (инклюзив)’ и pa-naکا ‘мы (эксклюзив)’ в аймара и формы ñiqa-nčis ‘мы (инклюзив)’ и ñiqa-yuki ‘мы (эксклюзив)’ в кечуа¹¹⁹. Хотя и существует возвратное местоимение ‘сам’ (аймара paśra, кечуа sapaɲ), еще не сформировано соответствующее ему атрибутивное ‘свой’.

Как и следовало ожидать, особенно много пережитков активного строя имеется в глагольной морфологии языков кечумара. Прежде всего здесь бросается в глаза необычайная разветвленность категории способа действия на фоне ограниченного набора темпоральных противопоставлений: здесь налицо едва ли не полный набор характер-

¹¹⁹ J. E. Ebbing. Aimara: gramática y diccionario. La Paz, 1965, стр. 51—52; B. Pottier. Inclusif et exclusif dans le système personnel du quichua. — BFLS, 1963, № 8.

ных для активных языков аспектуальных градаций. Так, в кечуа засвидетельствованы формы ингрессива (аффикс -ri), интенсива (-rqu, -rqa), репетитива (-ра), терминатива (-grari), дюратива (-гауа), многократности (-ukasha) и др.¹²⁰ В аймара налицо формы ингрессива (аффикс -tata, -ta), массовости действия (-ra), многократности действия (-пака, -пока), дюратива (-ska, -ka), пермансива (-kawi), пермитатива (-yasi) и др.¹²¹ Должно быть естественным, однако, что показатели способа действия находят здесь далеко не столь регулярное и однозначное употребление, как то имеем в представителях активной типологии.

На основании примеров, приведенных на стр. 239, можно полагать, что историческим показателем нецентробежной версии в аймара должен был быть суффикс -si, в кечуа — суффикс -ku. Соответственно функцию признака центробежной версии, по-видимому, выполняли аффиксы -уа в аймара и -си в кечуа. (Следует добавить, что впервые остаточное функционирование центробежной и нецентробежной версий в кечуанском глаголе было, по-видимому, замечено еще Л. И. Жирковым.)¹²² Сам факт дифференцированности в обоих языках форм действительного и страдательного залогов говорит о функционировании здесь в прошлом версионной диатезы (ср. аймара *ʔantáx maŋqata-wa aŋu-na* 'хлеб съеден собакой', *umáx uma-ta-wa qarwa-na* 'вода выпита ламой', *ačakúx katu-ta-wa p^hisi-na* 'мышь поймана кошкой').

В именной морфологии обращает на себя внимание совмещение аккузативом функции падежа общей направленности действия и объекту: ср. аймара *aŋúx ʔurus-kiwa čáka-(ru)* 'собака грызет кость' при *inka sariwa Kusku-ru* 'инка идет в Куско', *qarwax sariwa rampa-ru* 'лама идет по полю', кечуа *alqo kutušaⁿ ʔulu-ta* 'собака грызет кость' при *inka rišaⁿ Kusku-ta* 'инка идет в Куско', *lama rišaⁿ rampa-ta* 'лама идет по полю'.

При отсутствии сколько-нибудь отчетливого единства в понимании истории афразийских (семитохамитских)

¹²⁰ Ср.: Е. И. Царенко. К проблеме структуры слова в агглютинативных языках (на материале языка кечуа). Канд. дис. М., 1973, стр. 67—68.

¹²¹ Ср.: J. E. Ebbing. Указ. соч., стр. 234—247.

¹²² Ср.: Е. Ф. Яковлев. Древние языковые связи Европы, Азии, и Америки. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1946, № 2, стр. 144.

языков нельзя пройти мимо множества рассеянных в специальной литературе высказываний различных авторов, которые находят свое место в рамках гипотезы об их активном прошлом.

Как известно, еще М. Фегали и Л. Кюни (не без стимулирующего воздействия со стороны работ А. Мейе по сравнительной грамматике индоевропейских языков) предполагали, что распределению в семитских языках имен по мужскому и женскому роду предшествовало их деление на «одушевленные» и «неодушевленные». По их мнению, родовые различия должны были сначала сложиться в субстантивах, обозначающих живые существа, и затем в результате аналогического развития и метафор распространиться на названия предметов (впоследствии жепский род, а в некоторых случаях — и мужской, должны были впитать в себя класс первоначально «неодушевленных» имен). Это преобразование схематически отображалось ими следующим образом:

1. Доисторический период

«Одушевленность»

«Неодушевленность»

1. Мужской род 2. Женский род

Средний род

II. Хамито-семитская эпоха

Древн. «одушевленность»

Древн. «неодушевленность»

1. Мужской род 2. Женский род 2. Женский род (1. Мужской род)¹²³

Аналогичного или по крайней мере сходного взгляда придерживаются и многие современные семитологи. Например, согласно И. М. Дьяконову, двухродовая система семитских субстантивов исторически восходит к древнему противопоставлению двух их классов — социально-активного и социально-пассивного¹²⁴.

В плане принципов организации глагольной лексики в древнем афразийском состоянии обращает на себя внимание констатация М. А. Коростовцевым в древне-

¹²³ М. Feghaly, A. Cuny. Du genre grammatical en sémitique. Paris, 1924, стр. 7—9; ср. также: А. Schaade. Zwei Studien über das grammatische Geschlecht im semitischen. — ZS, 5, 1927 стр. 185—186.

¹²⁴ И. М. Дьяконов. Языки древней Передней Азии. М., 1967, стр. 110; ср.: А. Н. Рифтин. Из истории множественного числа. «Уч. зап. ЛГУ», 1946, № 69, стр. 48.

египетском языке класса «диффузных» с точки зрения их транзитивности ~ интранзитивности глаголов (числом около двухсот лексем). «Существование этого разряда глаголов. — пишет он, — свидетельствует о том, что для египетского языка оппозиция transitive : intransitive вовсе не представлялась столь всеобщей и обязательной, как для нас, и что диффузность категорий переходности и непереходности была вполне нормальным и обычным явлением. А это в свою очередь означает, что наличие разряда диффузных глаголов соответствует какому-то очень древнему этапу развития языкового мышления и, вероятно, частично восходит к архаической лексике»¹²⁵. Судя по семантике входящих в этот класс единиц, а также по наличию в последних диатезы пезалогового характера, он может представлять собой остаточную группу исторически активных глаголов.

Немало высказываний аналогичного плана сделано и в связи с разработкой вопросов истории грамматического строя афразийских языков. Например, М. Э. Матье писала, что «номинативной конструкции глагольного предложения в древнеегипетском языке предшествовала конструкция посессивная. . .»¹²⁶ (здесь налицо зависимость от идеи И. И. Мещанинова о презервативном характере соответствующего структурного состояния, в которое он проецировал целый ряд черт активной типологии). И далее: «Общие этапы развития египетского глагола представляются мне в общих чертах так: от нерасчлененной основы через два вида спряжений (субъектно-непереходное и объектно-переходное) к глаголу номинативной конструкции с пережитками двух указанных видов спряжения в виде формы *šdm.w* и формы *šdm.f* (с ее производными) в языке Древнего и Среднего царств, не дающем еще развитого образования времен. . .»¹²⁷

С точки зрения содержания диатезы, характеризовавшей древнеегипетский глагол, обращает на себя внимание следующее разъяснение В. Вестендорфа: «В египетском . . . противопоставление «актив—пассив», во всяком

¹²⁵ М. А. Коростовцев. Категория переходности и непереходности глаголов в египетском языке, стр. 112.

¹²⁶ М. Э. Матье. Основные черты древнеегипетского глагола (и постановка проблемы). «Уч. зап. ЛГУ», 1952, № 128, стр. 220.

¹²⁷ М. Э. Матье. Указ. соч., стр. 220.

случае в период возникновения суффиксального спряжения, отнюдь не было тем, что обычно видят в противопоставлении «формы действительной» и «формы страдательной». Пассив здесь вовсе не используется для того, чтобы передать логический объект в качестве грамматического подлежащего; актив отличается при той же глагольной форме от пассива только тем, что в одном случае действующее лицо (логический субъект) упомянуто, а в другом — нет. Речь, таким образом, не идет о различных формах с разной огласовкой, и синтаксический объект и субъект не меняются местами, как, например, в предложениях «отец любит брата» и «брат любим отцом»; вопрос о том, следует ли обозначить форму как «активную» или «пассивную», зависит исключительно от того, обозначено ли или не обозначено действующее лицо. . . Выбор конструкции предписан наличием или отсутствием действующего лица»¹²⁸.

Весьма показательно в рассматриваемом отношении и исследование И. Гельба, который в итоге предпринятой им реконструкции грамматической системы протоаккадского состояния постулировал общий бинаризм его структуры с целым рядом точек его соприкосновения с активным строем¹²⁹.

Последовательным образом гипотеза об активном прошлом афразийских языков развивается в целом ряде работ И. М. Дьяконова. Его тезис об «эргативной» типологии протоафразийской глагольной системы, основанной на глубинном противопоставлении действия состоянию и субъекта действия — субъекту состояния, вместе с уже упомянутым выше признанием им распределения субстантивов на активный и пассивный классы, недвусмысленно свидетельствует в пользу именно этой гипотезы. Согласно автору, «при предположении о наличии в протоафразийском эргативного строя в смысле приведенной выше дефиниции (фактически имеется в виду определение активного. — Г. К.), получают простое и последовательное объяснение все главнейшие особенности протоафра-

¹²⁸ W. Westendorf. Der Gebrauch des Passivs in der klassischen Literatur der Ägypter, стр. 7 [цит. по кн.:] И. М. Дьяконов. Языки древней Передней Азии, стр. 249—250.

¹²⁹ I. O. Gelb. Sequential Reconstruction of Proto-Akkadian. «Assyriological Studies. The Oriental Institute of the University of Chicago», 1969, № 18.

зийской глагольной системы, реконструируемые на основании наиболее древних фактов всех пяти ветвей семьи»¹³⁰. Среди этих особенностей И. М. Дьяконов называет противопоставление глаголов действия и глаголов состояния, обозначение в словоформе глагола действия не только субъекта действия, но и так называемого субъекта результирующего состояния, отсутствие общих форм пассива и др.¹³¹ Ср. также его положение о том, что «в древнеегипетском в прямом падеже первоначально стояло подлежащее именного предиката и глагольной «формы качества и состояния», а также объект действия, а подлежащее глагола действия (а также непереходных глаголов, подведенных под схему спряжения переходных) стояло в косвенном, а именно в родительном падеже. Другими словами, в древнеегипетском господствовала не номинативная, а посессивная конструкция, являющаяся... разновидностью эргативной»¹³². В соответствии с гипотезой об активной типологии протоафразийского находится и мнение, согласно которому в «семитохамитских языках, по-видимому, первоначально не было и противопоставления активного и пассивного залогов и что пассив развился здесь вторично из безличных и рефлексивных форм»¹³³.

К интересным с точки зрения проблематики настоящей работы выводам приводит исследование протодравидийского состояния, предпринятое в одной из недавно опубликованных работ Н. В. Гурова. Пытаясь установить некоторые характерные черты лежащей в основе дравидийского именного склонения прасистемы, он отмечает, в частности, что «в плане содержания одним из элементов этой системы должна была являться, во-первых, семантическая классификация объектов внешнего мира: отграничение одушевленных предметов от неодушевленных, людей от «не-людей» и т. д. . . . Свойственная формантам дравидийского именного склонения интерференция зна-

¹³⁰ И. М. Дьяконов. Проблема протоафразийской глагольной системы. «Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков (12—14 декабря). Предварит. материалы». М., 1972, стр. 48.

¹³¹ Там же, стр. 48; Он же. Языки древней Передней Азии, стр. 249—252.

¹³² И. М. Дьяконов. Языки. . . , стр. 220.

¹³³ Там же, стр. 252.

чений рода и числа (а также — определенности ~ неопределенности) свидетельствует о том, что в реконструируемой «пра-системе» все эти грамматические понятия еще не были достаточно четко отделены друг от друга, более того — что они существовали в рамках некоей более общей лингвистической категории. Мы считаем возможным предположить, что нынешней системе грамматических категорий имени в дравидийских языках хронологически предшествовала система, близкая к системе именных классов¹³⁴. Характеризуя далее истоки здесь категории рода, автор пишет, что «первоначально в основу родовой классификации в дравидийских языках (как, по-видимому, в некоторых других) был положен принцип (социальной) активности, противопоставление активного начала — инертному»¹³⁵. Затем обращают на себя внимание два его следующих высказывания. «Анализ дравидийской именной парадигмы дает возможность предположить, что протодравидийская классификация имен также, по-видимому, не только дифференцировала одушевленные («активные») предметы от неодушевленных («пассивных»), но и подразделяла названия «неактивных» предметов — вещей и абстрактных понятий — на несколько семантических групп»¹³⁶. «Более внимательное изучение исторической морфологии дравидийских языков поможет установить первичную функцию косвенного (общекосвенного) падежа в эпоху протодравидийского языкового состояния. . . Дальнейшее исследование должно определить, является ли приглагольное употребление этой формы чисто случайным, побочным моментом или же оно свидетельствует о наличии в протодравидийском языке эргативной (или — эргативообразной) конструкции»¹³⁷. Нетрудно заметить, что весь предшествующий контекст указывает на то, что при этом речь может идти скорее об активной конструкции предложения. Наконец, в наименьшей степени интересно заключение Н. В. Гурова, согласно которому его «гипотеза о существовании в протодравидий-

¹³⁴ Н. В. Гуров. Именное склонение в дравидийских языках и микропарадигма протоиндийских текстов (опыт сопоставления). «Сопоставление об исследовании протоиндийских текстов. I. Proto-Indica». М., 1972, стр. 114—115.

¹³⁵ Там же, стр. 117.

¹³⁶ Н. В. Гуров. Указ. соч., стр. 118.

¹³⁷ Там же, стр. 129—130.

ском языке категории именного класса — если она, разумеется, в конечном счете будет доказана — поможет выяснить истинную, системную природу целого ряда фактов дравидийской морфологии, рассматривавшихся до сих пор вне всякой связи с общими тенденциями развития дравидийского языкового строя»¹³⁸.

Любопытно, что гипотеза о дравидийском влиянии выдвигалась в свое время для объяснения различия одушевленных и неодушевленных существительных в индо-европейских тохарских языках, которое в ряде работ рассматривалось в качестве нововведения последних¹³⁹.

Сказанное обращает на себя внимание в связи с тем обстоятельством, что в настоящее время существует гипотеза о генетическом родстве между дравидийскими языками и древним эламским¹⁴⁰.

Чрезвычайно длительная письменная традиция эламского языка (староэламские памятники относятся к периоду с середины III по конец II тыс. до н. э., среднеэламский и новоэламский периоды охватывают эпоху с конца VIII по середину V в. до н. э.) дает возможность проследить постепенную утрату в нем признаков активной типологии документально.

В своих основных чертах структура староэламского языка очень близка к активному строю. Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что глагольная основа была в ней нейтральной в отношении транзитивности ~ интранзитивности, что сразу же исключает возможность квалификации этого языка в качестве эргативного. Так называемые транзитивное и интранзитивное спряжения различаются здесь функционированием двух рядов личных аффиксов: ср. *kuši-k* 'построен' при *kuši-h* 'построил', *paṛi-k* 'дошел', при *paṛi-h* 'довел' (нецентробежная и центробежная версии активного глагола?). Интересно, что семантически переходная слово-

¹³⁸ Там же, стр. 130.

¹³⁹ Ср.: *H. Pedersen. Tocharisch vom Gesichtspunkt der indo-europäischen Sprachvergleichung. Kopenhagen, 1941, стр. 44; W. Krause. Tocharisch. «Handbuch der Orientalistik», hrsg. von B. Spuler, Bd IV. «Iranistik», Abschn. 3, Leiden, 1955, стр. 36.*

¹⁴⁰ Ср., например: *В. С. Воробьев-Десятовский. О роли субстрата в развитии индоарийских языков. «Советское востоковедение», 1956, № 1, стр. 100—101; И. М. Дьяконов. Языки древней Передней Азии, стр. 108—112.*

форма глагола может включать объективный показатель и даже само имя «прямого объекта». К тому же по «транзитивной» парадигме в эламском спрягаются не только семантически переходные глаголы, но и предикаты действия, движения и говорения, а по «интранзитивной» формы именных и остальных интранзитивных глагольных предикатов ¹⁴¹.

Несколько менее ясным представляется принцип классификации в эламском имен существительных, хотя ее бинарный характер не вызывает сомнений. По мнению И. М. Дьяконова, субстантивы распределяются здесь между классами лиц и вещей. При отсутствии парадигмы склонения имена первого класса знают формы множественного числа, в то время как имена второго по категории числа не изменяются (ср. *hiš* 'имя // имена') ¹⁴². Отчетливо представлено в языке различие именами притяжательных форм органической и неорганической принадлежности. Так, др. перс. *manā badāka* 'мой слуга' переводится в ахеменидских надписях как *u līra-r-u-ri*, букв. 'я+слуга = он = я = он', а *manā pitā* 'мой отец' как *atata* (без дополнительной суффиксации) ¹⁴³.

Из других черт активной типологии в эламском следует отметить правило постановки определений (кроме отдельных местоимений) в постпозиции по отношению к определяемому. Противопоставляются инклюзивная и эксклюзивная местоименные лексемы 'мы': *ela/u ~ nuku > nika/u* (подобно другим представителям активной типологии вторая строится на базе соответствующего местоимения 2-го лица) ¹⁴⁴.

По-видимому, начиная еще с работ Ф. Борка, усматривавшего в эламском языке противопоставление однократного и многократного, моментативного и дюративного способов действия, здесь выделяются не времена глагола, а его «аспекты». Например, согласно В. Хинцу,

¹⁴¹ Ср.: И. М. Дьяконов. Языки . . ., стр. 104—105; Н. Н. Paper. The Phonology and Morphology of Royal Achaemenid Elamite. Ann Arbor. 1955; R. T. Hallock. The Finite Verb in Achaemenid Elamite. «Journal of Near Eastern Studies», v. XVIII, 1959, № 1.

¹⁴² Ср.: И. М. Дьяконов. Языки . . ., стр. 96.

¹⁴³ E. Reiner. Calques sur le vieux-perse en élamite Achéménide. — BSLP, v. 55, fasc. 1, 1960, стр. 223, 226.

¹⁴⁴ Там же, стр. 224—225.

глагольные формы с суффиксом -i передают длительный аспект (huttiš 'он делал', talliš 'он писал'), а с суффиксом -a — недлительный (huttaš 'он сделал', tallaš 'он написал')¹⁴⁵.

В плане развиваемой здесь точки зрения особенно интересно, что в новоэламском состоянии целый ряд названных черт уже деградирует. Разрушается ранее функционировавшая система классного согласования слов. Как полагает И. М. Дьяконов, начинает формироваться номинативная конструкция предложения. Корреляция инклюзивной и эксклюзивной лексем местоимения 1-го лица множественного числа нейтрализуется в единой форме nukā 'мы'. На смену старому способу передачи посессивных отношений приходит конструкция с формирующимся родительным падежом¹⁴⁶.

Некоторые интересные в этом плане факты выявлены в тюркских языках. На основе анализа многочисленных случаев диффузной переходно-непереходной семантики глагольных лексем в исторически засвидетельствованных тюркских языках Э. В. Севортян сделал вывод, согласно которому, «чем более мы углубляемся в историю тюркских языков, тем неустойчивей становится граница между переходными и непереходными глаголами, тем более смутным и неопределенным становится само содержание этой грамматической категории, что выражается в числе прочих признаков в возрастании возможности употребления прямого дополнения, в частности, при глаголах движения. . . Первообразные глаголы во многих (если не во всех) случаях исторически не имели постоянного значения переходности или непереходности. Один и тот же глагол был переходным и непереходным, в зависимости от состава предложения. Современные глагольные корни (основы), прошедшие весьма длительный путь семантического и грамматического развития освободились от

¹⁴⁵ F. Bork. Die Zeughausurkunden von Susa, T. I, Schrift, Sprache, Chronologie. «Altkaukasische Studien», H. III. Leipzig, 1941, стр. 22; G. G. Cameron. Persepolis Treasury Tablets. «The University of Chicago Oriental Institute Publications», v. LXV. Chicago, 1948, стр. 47; W. Hinz. Elamisches. «Archiv Orientalní», v. XVIII, 1950, № 1—2, стр. 283—285.

¹⁴⁶ И. М. Дьяконов. Языки древней Передней Азии, стр. 99—100, 105.

этой двойственности. . .»¹⁴⁷ В дальнейшем тот же автор прямо формулирует мысль о том, что глагольной оппозиции переходности ~ непереходности в этих языках должно было предшествовать противопоставление «активности ~ пассивности». Э. В. Севортян пишет, в частности, следующее: «. . . в категорию активных предметов включаются все составные элементы, из которых складывается реальное производительное действие, и в центре всех представлений об активности оказывается деятельность человека. Примечательно, что почти все переходные глаголы на -ла- прежде всего означают действия человека.

Категория активности никак не тождественна переходности, хотя и является ее предшественницей. Она менее «грамматична» и более реальна, более конкретна, чем переходность.

И все же активность в известном смысле связывается с переходностью, поскольку глаголы, выражающие активную деятельность, направленную на объект, мы и сейчас чаще всего относим к переходным. Преимущество здесь ясно.

Активность и пассивность значений глаголов, образованных от основ, индифферентных к признаку активности ~ пассивности, зависит от того, вызвано ли обозначаемое состояние, свойство и т. д. человеком или оно проявляется без его участия»¹⁴⁸.

Далее следует вывод о том, что в рассмотренном автором материале «понятие активности также прямо связывается с деятельностью человека, и переходность ~ непереходность глаголов в исторически более раннем значении этой категории оказывается обоснованной единым принципом, обнаруживающим живую связь с практической деятельностью человека»¹⁴⁹.

Обращает также на себя внимание реконструированная А. Масперо для гималайской группы тибето-бирманских языков система личной аффиксации глагола (в формах

¹⁴⁷ Э. В. Севортян. Об историческом положении категорий переходности и непереходности в тюркских языках. — ВЯ, 1958, № 2, стр. 26.

¹⁴⁸ Он же. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, стр. 94.

¹⁴⁹ Там же, стр. 95.

единственного числа), отчетливо передающая отношения активного строя:

| | 1-е л. | 2-е л. | 3-е л. |
|------------------|--------|--------|--------|
| Префикс (агент) | *a- | *k- | — |
| Суффикс (объект) | *-n | *-n | *-n |

В комментарии к этой схеме автор пишет следующее: «Формы дуалиса и плюралиса с их числовыми аффиксами реконструируются менее удовлетворительно. Эта регулярная система больше нигде не существует: большая часть диалектов потеряла префиксы и более не включает в глагол объектного местоимения. Язык лимбу, который еще сохраняет это различие, удержал суффикс 2-го лица -на только при субъекте 1-го лица (единственного, двойственного или множественного чисел); во всех остальных случаях он заменяет его префиксом k-, который употребляется даже для объекта. Такая двойка — агентная и объектная — функция местоимения 2-го лица контаминировала местоимение 1-го лица, без того чтобы устранить одну из обеих форм; обе они пережили, однако обе одновременно используются и как субъект, и как объект; более того, древняя префиксальная форма осталась таковой только в роли объекта транзитивного глагола и преобразовалась в суффикс, когда она употреблена в качестве показателя агента транзитивного глагола или объекта (для нашего подлежащего) интранзитивного глагола; наконец, разграничение суффиксов -ñ и -ā, показывающих субъект, используется для подчеркивания различия аспектных показателей интранзитивного глагола (в единственном числе) таким образом, что -ā служит субъектом дюратива и -ñ для субъекта совершенного аспекта: rek-ā 'я иду', но reg-añ 'я пошел'. Отсюда проистекает крайнее смешение, особенно в транзитивных глаголах, которые способны включать обозначения субъекта и объекта. . .»¹⁵⁰

Наконец, на основании свидетельств двадцати шести (из общего числа, вероятно, около ста) аравакских языков Южной Америки Э. Маттесон также приходит к реконструкции для их прошлого состояния обеих характерных

¹⁵⁰ H. Maspero. Notes sur la morphologie du Tibéto-Birman et du Munda. — BSLP, t. 44, fasc. 1, 1947—1948, стр. 173.

для активного строя рядов личных показателей глагола, имеющих следующий облик:

| Субъектн. и притяжат. префиксы | | | Объектн. и стативн. суффиксы |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 л. | ед. ч. (мужск.) | *n(V)- | *-nu |
| 2 л. | | *p(V)- | *-p(V) |
| 3 л. | | *r(V)-, *(h)i- | *-rì |
| 3 л. | | *t(V)-, *u- | *-tu |
| 1 л. | мн. ч. | *w(V)-, *ha- | *-wV |
| 2 л. | | *h(V)- | *-hV |
| 3 л. | | *r(V)-, *(h)i-...-na | *-na ¹⁵¹ . |

Чрезвычайно слабая изученность аравакских языков дает основания допустить, что среди них и в настоящее время могут встретиться языки, структурно близкие по своему типу к активному.

Приведенный выше далеко неполный перечень языков, допускающих реконструкцию принципиальных отношений активной типологии, внушает мысль, что в прошлом активный строй мог быть представлен на лингвистической карте мира значительно шире.

* * *

Рассмотрение наиболее общих закономерностей эволюции языков активного строя приводит к заключению, что ее ход должен быть поставлен в связь с последовательным усилением ориентации элементов языковой структуры на противопоставление субъектного и объектного начал. Как можно догадаться, уже оппозиция одушевленного и неодушевленного, постепенно преодолеваемая в рамках активного состояния, в каком-то весьма грубом приближении обозначает оппозицию субъекта и объекта, поскольку в роли подлинных субъектов действия способны по существу выступать лишь одушевленные референты. Профилирующее в структуре активной типологии глубинное противопоставление активного и ин-

¹⁵¹ E. Matteson. Proto-Arawakan. — В кн.: E. Matteson (et. al.). Comparative Studies in Amerindian Languages. Janua Linguarum. Series Practica, 127. The Hague — Paris, 1972, стр. 164.

активного начал обозначает, судя по всему, дальнейшее (по сравнению со структурами нейтрального и классного строя) приближение к оппозиции субъектного и объектного. Существенно заметить, что обе последних дихотомии в отличие от стабильной, базирующейся на бинном одушевленного и неодушевленного, обнаруживают опору на лабильную и, следовательно, более абстрактную классификацию явлений. Вместе с тем важно подчеркнуть, что многие черты активного строя (и прежде всего — принцип распределения субстантивов на классы активных и инактивных) указывают на не всегда четкую ограниченность здесь оппозиции активного ~ инактивного от оппозиции одушевленного и неодушевленного.

На основании этой общей закономерности возникает возможность соотнесения обеих несколько отклоняющихся от эталона (представленного главным образом языками тупи-гуарани) групп активных языков с двумя разными фазами активности. С одной стороны, при этом оказываются представители «большой семьи» на-дене (языки тлингит, хайда, эяк и атапаскские). Поскольку они обнаруживают особенно заметный удельный вес строевых элементов, ориентированных на дихотомию одушевленного ~ неодушевленного, естественно квалифицировать их состояние в качестве раннеактивного. С другой стороны, могут быть объединены языки мускоги и ирокуа-каддо (а отчасти, по-видимому, и сиу). Так как в них заметно усиление ориентации языковых элементов на передачу субъектно-объектных отношений, следует думать, что они иллюстрируют фазу более или менее поздней активности.

Особый интерес вызывает намечающаяся возможность двоякого пути эволюции активного строя, один из которых реализуется эргативизацией языковой структуры, другой — ее номинативизацией. Можно высказать сугубо предварительное предположение, что реализация первой или второй линий должна находить определенные основания в особенностях передачи субъектно-объектных отношений в исходной активной структуре. Если признать различие семантических детерминант эргативного и номинативного строя, то естественно ожидать различий и в путях преобразования детерминанты активного строя.

Автору настоящей работы уже приходилось подчеркивать сложность процесса преобразования семантиче-

ской детерминанты активного строя¹⁵². По-видимому, она никогда не сводится к сколько-нибудь прямолинейному замещению черт активной типологии признаками эргативной или номинативной. Напротив, в течение длительного времени сосуществуя с соответствующими детерминантами эргативного или номинативного строя, она продолжает оказывать заметное воздействие на те или иные звенья языковой структуры. О ее большой жизненности косвенно свидетельствует то, что, например, в идеологическом словаре номинативного испанского языка Х. Касареса в качестве основной рубрики лексики выступает такое разбиение, по которому мир делится на органическую и неорганическую части, причем в сферу первой включается мир человека, животных и растений, а в состав второй — все остальное¹⁵³. Наиболее характерной представляется такая схема изменения, при которой та или иная импликация активности, утрачивая свои определяющие структурные позиции временно закрепляется на более второстепенных, что создает впечатление так называемого компенсаторного развития.

Богатейший иллюстративный материал последнему можно привести из картвельских языков. Здесь прежде всего обращает на себя внимание становление серии глагольных дублетов, противопоставленных по их чисто объектной соотносительности с «одушевленными» и «неодушевленными» именами, образующих частичную компенсацию изживающего себя принципа лексикализации глаголов на активные («одушевленные») и стативные («неодушевленные»). Ср., например, мегрельские:

| Одушевленные | | Неодушевленные | |
|--------------|-------------|----------------|-------------|
| ‘una | ‘иметь’ | (γwena) | ‘иметь’ |
| e‘unara | ‘брат’ | eçorua | ‘брат’ |
| mo‘unara | ‘приводить’ | moγala | ‘приносить’ |
| činerua | ‘знать’ | rčkina | ‘знать’ |
| čkumala | ‘посылать’ | žγona | ‘посылать’ |
| dožirapa | ‘класть’ | dodwala | ‘класть’ |

Нетрудно заметить частный характер этого противопоставления, встречающегося в рамках единого класса

¹⁵² Ср.: Г. А. Климов. Очерк общей теории эргативности, стр. 254.

¹⁵³ J. Casares. Diccionario ideológico de la lengua española. Desde la idea a la palabra, desde la palabra a la idea. Barcelona, 1957, стр. XXX.

глагольных лексем. Интересна подчиненность ему даже таких слов позднейшей формации, каковыми являются специфические глаголы обладания — ср. груз. *qola* 'иметь (одуш.)' при *kopa* 'иметь (неодуш.)' (еще в древнегрузинском подобная оппозиция была в лучшем случае нестрогой: ср., например, *gomelsa akunda qelta zej*. . . 'у которой был на руках ребенок . . .' Хандз. 102₈ при *qarmo-iqwanes zlewit žemosili guami misi*. . . 'принесли мощью облеченное тело его. . .' Хандз. 31₁₈, невозможные в современном языке).

Параллельно с этим процессом происходит все большее перемещение центра тяжести выражения субъектно-объектных отношений из сферы лексики в грамматическую структуру языка (ср. иное положение вещей в представителях нейтральной и классной типологий, для которых характерно отсутствие или слабое развитие морфологии). Древнегрузинский материал показывает, что не было строгим с этой точки зрения и противопоставление лексем-семантики 'знать' — груз. *spoba* (одуш.) и *codna* (неодуш.) (ср. *spa sulita wneba igi daparuli*. . . 'узнал он духом недуг скрытый. . .' Хандз. 103₇₋₈). На стр. 222 уже отмечалось, что при сформированности в картвельских языках разряда притяжательных местоимений в сванском они до сих пор различают инклюзивную и эксклюзивную формы 1-го лица множественного числа и что снятая оппозиция аналогичных форм соответствующего личного местоимения по сей день отражается в функционировании в верхнесванском двух параллельных форм глагольного показателя 1-го лица множественного числа.

Если учесть ведущую роль лексического уровня в реализации контенсивно-типологических преобразований, то должно быть естественным, что сохранение в номинативном языке многочисленных черт активного строя свидетельствует о непосредственной номинативизации последнего. Обычно это обстоятельство оказывается в соответствии с показаниями других уровней языка — синтаксического и морфологического, некоторые из которых, даже будучи взятыми отдельно, могут достаточно много дать исследованию. Так, например, функционирование в номинативном языке залоговой диатезы транзитивного глагола уже само по себе настраивает в пользу вывода о его активном, а не эргативном прошлом,

поскольку эргативные языки лишены подобной дилеммы.

Необходимо особо подчеркнуть то обстоятельство, что в языковой эмпирии совершенно не засвидетельствованы случаи преобразования номинативного или эргативного строя в активный (иначе говоря, в активных языках неизвестны какие-либо остаточные явления номинативности или эргативности). В некоторых представителях обоих зарегистрированы лишь прецеденты возникновения ряда типологических признаков последнего, объясняющиеся, судя по всему, ситуацией контакта с субстратными языками. Именно таково, по-видимому, положение в той части индоиранского языкового ареала, для которого характерной оказывается, в частности, постановка подлежащего при транзитивном, а также интранзитивном, но семантически активном, глаголе-сказуемом в форме «косвенного» падежа¹⁵⁴. Обращает на себя внимание, однако, то, что наблюдаемые в таких случаях элементы активности, во-первых, никогда не образуют сколько-нибудь последовательно выдержанной системы (например, функционирование подобия активной конструкции предложения ограничено в индоиранских языках построениями с глаголом-сказуемым в формах претеритных времен) и, во-вторых, в настоящее время уже обнаруживают отчетливую тенденцию к деградации. В этой связи заслуживает упоминания то обстоятельство, что из общего числа шести языковых типов, постулированных Т. Милевским в языках мира по способам распределения в них основных синтаксических функций, только 1-й (номинативный) является, по его мнению, продуктивным, в то время как остальные (в том числе 2-й — эргативный, а также 6-й — включающий языки активной типологии) «исчезают, сохраняясь лишь на реликтовых территориях»¹⁵⁵.

Процессы исторической редукции признаков активного строя обычно связывались в специальной литературе с прогрессивными изменениями в мышлении и культуре.

¹⁵⁴ Ср.: Д. И. Эдельман. Структурные «аномалии» восточноиранских языков и типология субстрата. «Studien zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Karl Ammer zum Gedenken». Jena, 1975.

¹⁵⁵ Т. Милевский. Предпосылки типологического языкознания. «Исследования по структурной типологии». М., 1963, стр. 27—29.

Так было, например, при объяснении нейтрализации противопоставления активного («одушевленного») и ин-активного («неодушевленного») классов имен существительных. В частности, еще М. Делафосс считал, что «игрой прогрессирующего развития они имеют в течение длительного времени тенденцию к преобразованию, упрощению и даже полному исчезновению»¹⁵⁶. По мнению М. Я. Немировского, в этом отношении еще раз находит свое подтверждение «тенденция развития языка от конкретного к абстрактному, к общему»¹⁵⁷. Разрушение именной классификации, противопоставлявшей «активные» и «пассивные» денотаты в кабардинском языке Г. Ф. Турчанинов прямо объяснял «влиянием новых форм мысли»¹⁵⁸.

Сходным во многих случаях оказывалось истолкование перестройки принципов лексикализации глагольных слов. Например, С. Л. Быховская писала в этой связи следующее: «Смена мировоззрения, однако, играет решающую роль в исчезновении *verba sentiendi* и в переходе их на субъектную конструкцию с субъектом в именительном падеже — эта смена есть смена конкретного мышления мышлением, способным к абстрагированию, одним из проявлений которого в языке является «уравнительная» тенденция, тенденция к сведению разных парадигм к все большему их единообразию. . . . Существование разных парадигм для глаголов разного содержания на предшествующих этапах развития языка и последующее постепенное уничтожение различия в их спряжении объясняется конкретизирующим мышлением в первом случае и усилением абстрагирующей способности — во втором»¹⁵⁹. В. Порциг, рассматривая изменение этих принципов в древних индоевропейских языках (преобразование лексической оппозиции глаголов действия

¹⁵⁶ М. Delafosse. Les classes nominales négro-africaines. — BSLP, v. 81, 1926, стр. 49.

¹⁵⁷ М. Я. Немировский. Род и класс. К вопросу о генезисе номинальных классификаций. «Изв. Ингушского НИИ», т. VI, вып. 2 (Отд. истории и языка). Орджоникидзе — Грозный, 1934—1935, стр. 246.

¹⁵⁸ Г. Ф. Турчанинов. О категории грамматических классов в кабардинском языке (предварит. сообщение). «Язык и мышление», т. VI—VII. М.—Л., 1936, стр. 230.

¹⁵⁹ С. Л. Быховская. Объективный строй *verba sentiendi* (предварит. очерк), стр. 41—42.

и состояния на скрытое противопоставление транзитивных и интранзитивных. — Г. К.), также соотносит его с определенным «шагом в развитии мышления»¹⁶⁰.

Внешними по отношению к языку факторами объяснялось снятие оппозиции инклюзивной и эксклюзивной лексем личного местоимения 1-го лица множественного числа. Так, по мнению С. Л. Быховской, «... этот факт интересен с точки зрения истории языка, его перестройки согласно изменившемуся мышлению: благодаря все большему развитию способности к абстрактному мышлению отпадает необходимость в такой сугубо конкретной категории, как инклюзив и эксклюзив, и их формы начинают использоваться уже как равнозначные основы разных падежей, разница между которыми (основами) непонятна без специального лингвистического исследования»¹⁶¹. Аналогичным образом — изменением форм восприятия действительности — объяснял К. Д. Дондуа историческое ослабление этой же оппозиции в картвельских языках¹⁶².

Касаясь обоснования перестройки типологии предложения в картвельских языках, И. И. Мещанинов отмечал: «... причина такой перестройки неоднократно объяснялась акад. Н. Я. Марром: это — изменение норм мышления, вложившее новое содержание в наличные грамматические формы и изменившее весь строй предложения»¹⁶³. В. Хаверс отмечал, что он не сомневается в том, что «для изменения конструкции безличных глаголов восприятия (в виду имеются аффективные глаголы. — Г. К.) как условия могут быть привлечены также культурный уровень и мировоззрение... Мы должны считаться со сменой мировоззрения...» и искал эти условия в отказе от иррациональных ассоциаций, свойственных первобытному мышлению¹⁶⁴. Характеризуя так называемое объективное спряжение *verba*

¹⁶⁰ В. Порциг. Членение индоевропейской языковой области, стр. 140.

¹⁶¹ С. Л. Быховская. Пережитки *inclusiv'a*—*exclusiv'a* в даргинских диалектах. «Язык и мышление», т. IX, 1940, стр. 89.

¹⁶² К. Д. Дондуа. Страницы из истории кавказского языкознания. «Труды Тбилисского гос. ун-та», т. 53, 1954, стр. 154 (на груз. яз.); ср.: А. Л. Ониани. К вопросу о категории инклюзива—эксклюзива в картвельских языках. «Мацне» 1965, № 1, стр. 231 (на груз. яз.).

¹⁶³ И. И. Мещанинов. Общее языкознание. К проблеме. . . , стр. 218.

¹⁶⁴ W. Havers. Handbuch der erklärenden Syntax. Leipzig, 1931, стр. 105.

sentiendi в картвельских языках, С. Л. Быховская писала: «Такое понимание чуждо нашему современному мышлению, так как то или иное чувство или ощущение с нашей точки зрения далеко не всегда является результатом волевого акта источника действия; так, в выражении 'мне нравится что-нибудь' мы совсем не мыслим этот предмет, как нечто сознательно вызвавшее в нас это чувство — слово, стоящее в именительном падеже является для нас грамматическим, отнюдь не реальным субъектом. Другое содержание вкладывалось, однако, в это выражение на других стадиях развития человеческого мышления, когда каждое свое чувство, каждое ощущение человек приписывал сознательному воздействию на него со стороны какого-нибудь существа или силы, выражающейся в весьма конкретных представлениях. . . В объективном строе грузинского (аффективного. — Г. К.) глагола сохранился этот этап в истории человеческого мышления»¹⁶⁵.

Апелляцию к поступательному движению мышления в том или ином виде встречаем и при объяснении утраты различных морфологических компонентов активного строя.

«Изучение истории грамматического строя уральских языков, — пишет Б. А. Серебrenников, — показывает, что в протоуральском языке существовало довольно большое количество суффиксов, выражающих различные оттенки многократного и мгновенного действия. Выясняется, что по мере развития уральских языков общее количество суффиксов многократного и мгновенного действия не увеличивается. Это явление скорее деградирует, чем прогрессирует в своем развитии. Прежние значения этих суффиксов во многих случаях уже утратились, различные по своей форме суффиксы приобретают одинаковое значение. Генетически эти суффиксы восходят к суффиксам собирательной множественности предметов, количество которых также сильно сократилось, поскольку некоторые суффиксы собирательной множественности в настоящее время превратились в ряде языков в пока-

¹⁶⁵ С. Л. Быховская. Показатели множественности как классовые показатели в грузинском и баскском языках, стр. 182; ср. также: А. С. Чикобава. Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта. Тбилиси, 1936, стр. 220; также: И. И. Мещанинов. Общее языкознание. К проблеме . . ., стр. 183.

затели абстрактной множественности. В мышлении современного человека уже нет достаточной опоры для появления в языке большого количества суффиксов многократного или мгновенного действия, или суффиксов собирательной множественности. Можно предполагать, что в развитии современных языков подобные явления больше уже не будут повторяться»¹⁶⁶.

Формирование склонения в эпоху функционирования противопоставления субстантивов «активного» и «пассивного» классов С. Л. Быховская связывала с «новыми социальными отношениями и с новым мышлением»¹⁶⁷.

В том же духе может быть истолковано и известное высказывание Е. Куриловича, согласно которому «в случае так называемых «языков с видами» мы имеем дело не с принципиально отличными глагольными системами, а просто с системами, относительно менее развитыми по сравнению с западноевропейскими»¹⁶⁸.

Значительно реже факты смены импликаций активного строя чертами эргативности или номинативности непосредственно соотносились в литературе с определенными типами культуры и жизненного уклада. Так, в частности, Й. Гонда полагал, что «сравнение современного и древнего состояний одного и того же языка — если второе нам также известно — показывает, что воздействие современной цивилизации в ряде случаев привело к более широкому использованию временных категорий»¹⁶⁹ (впрочем, далее автор уточнял, что «сказанное выше не значит, что первобытным не знакома идея времени. Единственный вывод, к которому мы приходим, заключается в следующем: они не придают большого значения различным темпоральным градациям, играющим роль в «современной жизни» и поэтому не обращаются к ним в речи»¹⁷⁰). Согласно В. Шмидту, противопоставление

¹⁶⁶ Б. А. Серебренников. Развитие человеческого мышления и структуры языка. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания». М., 1970, стр. 338—339.

¹⁶⁷ С. Л. Быховская. Пережитки *inclusiv'a* *exclusiv'a* в даргинских диалектах, стр. 88.

¹⁶⁸ Е. Курилович. Вид и время в истории персидского языка. В кн.: Е. Курилович. Очерки по лингвистике. М., 1962, стр. 142.

¹⁶⁹ J. Gonda. The Character of the Indo-European Moods. Wiesbaden, 1956, стр. 18 (ср. также стр. 21, где причиной соответствующих изменений прямо названо «культурное развитие»).

¹⁷⁰ J. Gonda. Указ. соч., стр. 29.

инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа вызывалось локальной экзогамией и нейтрализуется при переходе в ареал культуры кочевников-скотоводов¹⁷¹. Сходную точку зрения высказывал позднее и Т. Милевский: «В большинстве языков мира имеется одно местоимение с более широкой функцией, например, польск. *my*, лат. *nos* «я+ты (вы)+этот (эти)», и только в некоторых языках функционируют два местоимения: *inclusivus* «я+ты» и *exclusivus* «я+этот (эти)». Развитие языков идет в направлении образования более широкого, более общего способа указывания. Только языки народов с примитивной, очень отсталой культурой отличают *inclusivus* от *exclusivus*, тогда как во всех иных функционирует общая форма 1-го лица множественного числа»¹⁷². Слабые стороны толкований последнего рода и нередкие случаи их несоответствия фактическому положению вещей в ряде языков довольно очевидны. С одной стороны, бросается в глаза асистемный подход упомянутых авторов к явлениям языка, даже не пытающихся соотнести рассматриваемые факты с характерным для них более широким структурным контекстом. С другой стороны, в частности, противопоставление инклюзива и эксклюзива в прономинальной системе хорошо известно и в языках представителей устойчивых оседлых культур (ср. нахско-дагестанские, дравидийские и нек. др.) и, напротив, отсутствует во множестве языков кочевников-скотоводов. Особенно неожиданным представляется приведенное высказывание выдающегося типолога современности и американиста Т. Милевского, который не мог не знать, что эта оппозиция встречается в таких языках, обслуживающих высокоразвитые американские цивилизации, как кечумара, юто-ацтекские и другие, и, напротив, неизвестна в языках целого ряда низкоразвитых этнических групп Южной Америки. Едва ли возможно согласиться и с по существу анти-исторической трактовкой противопоставления инклюзива и эксклюзива как абсолютного типологического архаизма.

В то же время лишены доказательности в рассматриваемом отношении и общие ссылки на поступательный

¹⁷¹ W. Schmidt. Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde. Heidelberg, 1926, стр. 530.

¹⁷² Т. Милевский. Предпосылки типологического языкознания. «Исследования по структурной типологии». М., 1963, стр. 23.

ход развития мышления, без конкретизации которых каузальные основания рассматриваемых здесь изменений остаются неясными.

На этом фоне особенно важно подчеркнуть то обстоятельство, что уже в прошлом многие частные факты эволюции языка сопоставлялись с усилением или даже возникновением ориентации элементов языковой структуры на выражение субъектно-объектных отношений.

Так, еще в 1936 г. С. Д. Кацнельсон пришел к общему выводу, согласно которому «выделение объективного и субъективного в первобытном сознании составляет идеологическую сущность перехода от доминативного строя предложения к номинативному»¹⁷³. По его же мнению, «тенденция группы неотчуждаемой принадлежности к уменьшению отражает все растущую дифференциацию объективного и субъективного в сознании первобытного человека, поскольку сфера понятий и представлений, которые представляются непосредственно сопричастными первобытному коллективу и отдельным его членам, все больше и больше ограничивается чисто общественными категориями»¹⁷⁴.

В этом же плане А. П. Рифтин искал стимулы номинативизации семитохамитских языков. «За всеми этими процессами, — писал он, — стоит образование в сознании понятия о единстве субъекта и объекта и, как следствие, понятия о предмете вообще; иными словами, возникло понятие субстанции. Эти изменения привели к тому, что смысловое различие между классами существительного эргативного строя (фактически речь идет об оппозиции активного и инактивного классов в структуре активного строя. — Г. К.) стирается, критерий классификации становится непонятным, хотя формальные признаки двух группировок в пределах существительного сохраняются. Такое состояние существительных в хамитских и семитских языках получило название грамматического рода — мужского и женского. . .»¹⁷⁵ В одной из работ Н. Т. Гишева встречается утверждение,

¹⁷³ С. Д. Кацнельсон. К генезису номинативного предложения, стр. 23.

¹⁷⁴ С. Д. Кацнельсон. Указ. соч., стр. 74.

¹⁷⁵ А. П. Рифтин. Из истории множественного числа. «Уч. зап. ЛГУ. Серия филол. наук», 10, 1946, стр. 52.

согласно которому становление оппозиции переходность ~ непереходность происходит параллельно с появлением различия субъекта и объекта¹⁷⁶.

Представляется, что в целом подобные формулировки наиболее близко подходят к адекватному пониманию движущих сил преобразования активного строя. Необходимо, однако, отметить их уязвимость в двух отношениях. Во-первых, они не учитывают многочисленных скрытых форм выражения субъектно-объектных отношений, по-видимому, всегда присутствующих в языках (в противном случае была бы невозможной сама континентально-типологическая схема, в рамках которой и постулируется активный строй): естественно, что прежде всего эти последние выступают на уровне лексической системы языка, в то время как в грамматическом строе они могут находить очень ограниченное проявление. Во-вторых, как уже неоднократно подчеркивалось выше, нет оснований сомневаться в том, что субъектно-объектные отношения достаточно отчетливо запечатлены в сознании носителей активных языков и речь может идти только об усилении ориентации элементов языковой структуры на выражение этих отношений.

В заключительной главе настоящей работы предпринимается попытка показать, что по существу эта же линия развития (усиление ориентации строевых элементов языка на передачу субъектно-объектных отношений) должна лежать и в основе генезиса самого активного строя.

¹⁷⁶ Ср.: Н. Т. Гишев. К вопросу о проблеме эргативной конструкции в адыгейском языке. «Уч. зап. Адыгейского научно-исследоват. ин-та языка, лит-ры и истории», т. XII. Майкоп, 1971, стр. 187—203.

К ГЕНЕЗИСУ АКТИВНОГО СТРОЯ

Должно быть очевидным, что современное состояние разработки проблематики активного строя сообщает содержащимся в настоящей главе соображениям более или менее предварительный характер. По существу здесь излагается рабочая гипотеза, более удовлетворительную альтернативу которой в настоящее время едва ли возможно увидеть. В этих условиях естественно, что приводимая ниже в ее пользу аргументация по необходимости носит фрагментарный характер.

До последнего времени вопрос о происхождении этого типа не ставился ни в эмпирическом плане (т. е. по отношению к каким-либо из его реальных представителей), ни — тем более — теоретическом. Вместе с тем не приходится сомневаться в особом интересе его постановки, как, впрочем, и проблемы генезиса любого языкового типа, постулируемого в рамках континентивно-типологической классификации. Так, например, Э. Сепир формулировал аналогичный вопрос следующим образом: «Подобно тому, как схожие социальные, экономические и религиозные установления выросли на разных концах мира из различных исторических antecedentов, так и языки, идя различными путями, обнаруживали тенденцию совпасть в схожих формах. Более того, — историческое изучение языков вне всяких сомнений доказало нам, что язык изменяется не только последовательно, что он движется бессознательно от одного типа к другому и что сходная направленность движения наблюдается в отдаленнейших уголках земного шара. Из этого следует, что неродственные языки сплошь да рядом самостоятельно приходят к схожим в общем морфологическим системам. Поэтому, допуская наличие сравнимых типов,

мы вовсе не отрицаем специфичности отдельного исторического процесса; мы только утверждаем, что позади внешнего хода истории действуют могущественные движущие силы, направляющие язык, как и другие продукты социальной жизни, к определенным моделям, иными словами, к типам... Почему же образуются схожие типы и какова природа тех сил, которые их создают и разрушают? Вот вопросы, которые легче задать, чем на них ответить. Быть может, психологам будущего удастся вскрыть конечные причины образования языковых типов»¹.

Конечно самого пристального внимания заслуживают встречающиеся в литературе высказывания о становлении отдельных структурных черт, характерных для языков активной типологии. Однако в целом центр тяжести рассмотрения поставленной проблемы падает, естественно, не на имеющиеся разрозненные высказывания, а на поиски в представителях активного строя реликтов иного типологического состояния, с одной стороны, и на проникновение в принцип устройств неэргативных и не-номинативных языков, структурно приближающихся в какой-то мере к активным, с другой. Ответ на сформулированный вопрос с необходимостью предполагает, наконец, учет намеченных в предшествующей главе тенденций структурных изменений в рамках самого активного состояния, за которыми, как можно догадываться, стоят некоторые универсальные закономерности эволюции языка. Среди последних особое внимание обращает на себя тенденция к усилению ориентации парадигматических элементов языковой структуры на противопоставление субъектного и объектного начал, составляющая основное содержание преобразования раннеактивной фазы в позднеактивную (и еще более отчетливым образом заявляющая о себе в представителях эргативной и особенно номинативной типологии²).

Прежде всего целесообразно коротко остановиться на существующих в литературе высказываниях о стимулах, вызывающих к жизни некоторые конкретные им-

¹ *А. Сепир. Язык. Введение в изучение речи. М.—Л., 1934, стр. 95.*

² *Ср.: Г. А. Климов. Очерк общей теории эргативности. М., 1973, стр. 252—257.*

пликации активной типологии — оппозицию активного («одушевленного») и неактивного («неодушевленного») классов субстантивов, противопоставление инклюзивного и эксклюзивного местоимений, именную морфологическую категорию притяжательности, различающую формы органической и неорганической принадлежности.

Обращаясь к совокупности соображений, высказывавшихся исследователями прошлого по этим вопросам, особенно интересно рассмотреть неоднократно формулировавшиеся взгляды на историческое место так называемой виталистической классификации имен существительных, недвусмысленно указывающей на определенные точки соприкосновения активного строя с типологией классов языков, в какой-то мере также знакомых с такой классификацией.

Ради полноты обзора сначала следует упомянуть о существовании нескольких точек зрения, до сих пор не получивших какого-либо обоснования. Так, нередко выдвигавшееся в прошлом положение о первичности для всех областей глоттогонии разбиения субстантивов на классы одушевленных и неодушевленных по сей день остается фактически декларативным³. По существу не более обоснованными оказались высказывания отдельных авторов в пользу изначальности подобной именной классификации для конкретных языковых групп⁴. Не было приведено какой-либо аргументации и в подкрепление тезиса Фр. Мюллера, согласно которой именно бинарное классное распределение субстантивов должно было быть первоначальным для языков мира⁵. Более того, последний легко опровергается эмпирическими наблюдениями (показано, что в ряде языков, например в банту, имеет

³ Ср.: W. Wundt. *Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte*, Bd I, Die Sprache, T. 2. Aufl. 2. Leipzig, 1904, стр. 19 и след.; Jacq. van Ginneken. *Principes de linguistique psychologique*. Paris—Amsterdam—Leipzig, 1907, стр. 232—234; J. de Jong. *De waardeeringsonderscheiding van «levend» en «levenlos» in het Indogermaansch verzeleken met hetzelfde verschijnsel in enkele Algonkintalen*. «Ethnopsychologische Studien». Leiden, 1913.

⁴ Ср.: A. Trombetti. *Saggi di Glottologia generale comparata*. I. I pronomi personali. Bologna, 1908, стр. 233, 288 и др.

⁵ Fr. Muller. *Grundriss der Sprachwissenschaft*. I. Einleitung in die Sprachwissenschaft. Wien, 1876, стр. 122—123.

место обратный процесс преобразования многочленной именной классификации в двучленную).

В целом значительно более серьезного отношения к себе заслуживают иллюстрируемые некоторым фактическим материалом соображения тех авторов, которые предполагали, что прежде, чем прийти к бинарной оппозиции активного («одушевленного») и пассивного («неодушевленного») классов, языковая структура должна была обладать более конкретной и, следовательно, дробной классификацией субстантивов. Впервые подобные схемы эволюции именных классов в языках мира были, по-видимому, предложены еще в работах французских лингвистов Л. Адама и Р. де ля Грассери. В частности, последний считал наиболее архаичными группировки имен существительных, отражающие классификацию предметов по их форме, свойствам и применению, которые через ступень сменяющего их противопоставления одушевленных и неодушевленных имен должны были исторически преобразоваться в еще более абстрактную оппозицию существительных по грамматическим родам. Р. де ля Грассери предполагал при этом, что при общении человека с природой его внимание было обращено на определенном этапе на признак подвижности («*différence de mouvement*»), в соответствии с которым одушевленным должно было представляться все то, что способно передвигаться, и, напротив, неодушевленным — то, что не обнаруживает движения⁶. Значительно позднее Э. Кассирер также говорил о том, что наиболее архаичными должны быть признаны номинальные классификации, построенные в соответствии с непосредственно и наглядно воспринимаемыми признаками референтов. Более прогрессивной ему представлялась классификация по критерию одушевленность ~ неодушевленность, которая подобно родовой исходит уже не из чисто эмпирического восприятия, а «решающим образом согласуется с направлением мифической фантазии и мифического

⁶ R. de la Grasserie. *Revue de la France et de l'étranger*, XLV. Paris, 1898, стр. 594—624; *Он же*. De la catégorie du genre (*Études de linguistique et de psychologie*). Paris, 1906; ср. также: L. Adam. Du genre dans les diverses langues. «*Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft*», Bd I, 1884; *Он же*. De la catégorie du genre. Paris, 1883.

одушевления природы», что знаменует собой значительно более высокую ступень абстракции⁷.

Такие авторы, как К. Уленбек, Г. Вельтен и Г. Ройен, полагали аналогичным образом, что двучленному «виталистическому» распределению субстантивов на классы могли предшествовать более дробные. В частности, последний склонялся в пользу первичности многочленной тотемистической классификации, как она представлена в некоторых языках Австралии⁸.

Обобщая существовавшую к 1935 г. литературу вопроса, к выводу о вторичности именной классификации, построенной по признаку одушевленности ~ неодушевленности приходил и М. Я. Немировский. «Факты говорят за то, — писал он, — что развитие классификации имен идет в направлении от многоклассной системы к системе двух-трех грамматических родов или к полному исчезновению классов. . . . Еще раз подтверждается в общем ходе глоттогонического процесса тенденция развития языка от конкретного к абстрактному, к общему. Ведь чем больше в языке номинальных классов, тем эти классы конкретнее, тем яснее и полнее отражают они в языке классификацию предметов объективного мира, слагающуюся в мышлении людей на основе их общественного бытия как самое мышление, обусловленную этим последним. Напротив, сокращение числа номинальных классов и их синкретизм ведут к тому, что первоначальное единство формы и содержания нарушается, говоря яснее, классификация все больше отдаляется от реальности вещей, отражением которой она является, и превращается в чисто грамматическое абстрактно-формальное деление имен, сквозь которое бледно и большей частью в спутанном виде проглядывает более древняя их классификация»⁹. Согласно Л. П. Якубинскому, формирование

⁷ E. Cassirer. Philosophie der symbolischen Formen. I. Die Sprache. Berlin, 1923, стр. 269—273

⁸ G. Royen. Die Nominalen Klassifikations-Systeme in den Sprachen der Erde. «Linguistische Bibliothek Anthropos», Bd. IV. Mödling, 1929, стр. 232—243 и 265 и след.; ср. также: H. V. Velten. Sur l'évolution du genre, des cas et des parties du discours. — BSLP v. 33, fasc. 2, 1932, стр. 211.

⁹ М. Я. Немировский. Род и класс. К вопросу о генезисе номинальных классификаций. «Изв. ингушского научно-исследовательского Ин-та краеведения», т. IV, вып. 2. Орджоникидзе — Грозный, 1935, стр. 245—246.

оппозиции «одушевленность» ~ «исодушевленность» относится к той сравнительно поздней эпохе, когда возникает представление «о противоположности двух начал: личного (социально и производственно активного) и пассивного, неличного, вещественного»¹⁰.

Особый интерес представляет в рассматриваемом плане одно из высказываний И. И. Мещанинова, свидетельствующее о глубоком историзме его подхода к решению вопроса. «Классные показатели, — подчеркивал он еще в 1936 г., — различны не только в своем формальном выявлении в различных языках, но и по значению своему в различных языках и языковых стадиях; так 1) в пассивной (т. е. в презервативной, по его мнению. — Г. К.) стадии, поскольку там формально еще выделяется как действующее третье постороннее человеку лицо (по Марру, «тотем») и индивидуальное начало лишь частично внедряется, не должно быть деления на активный и пассивный классы. Деление по классам проводится в этой стадии по функции предметов, используемых или воздействующих на человека (см. в африканских языках, зулу и др. Снегирев «К вопросу о происхождении местоимений», Изв. АН СССР, 1933 г., и «Язык и мышление», 1); 2) в языках эргативной стадии, при усилении активизации пассивности, выделяются классы пассивный («неразумный») и активный («разумный»), хотя пережиточно сохраняется и большее число классов... В этих же языках внедряется и деление по родам, но только в пределах активного («разумного») класса; 3) в языках активного строя (в виду имеются представители номинативной типологии. — Г. К.) деление на пассивность и активность снимается, но все же пережитки пассивности выявляются в некоторых чертах среднего рода и неодушевленных...»¹¹ Если учитывать то обстоятельство, что в прошлом эргативный строй не отграничивался типологически от активного, то станет вполне объяснимым, почему оппозиция имен «активного» и «пассивного» классов оказывается здесь соотнесенной именно с эргативным состоянием языка. В плане поставленного вопроса о генезисе активности особенно важным в этом вы-

¹⁰ Л. П. Якубинский. История древнерусского языка. М., 1953, стр. 168.

¹¹ И. И. Мещанинов. Новое учение о языке. Стадиальная типология. Л., 1936, стр. 228.

сказывании является признание факта исторической зависимости характерного для нее бинарного распределения субстантивов по классам активных и инактивных от многоклассного, как оно еще в настоящее время представлено в языках банту. Нетрудно заметить, что приведенные соображения И. И. Мещанинова вполне согласуются с основным направлением исследовательской традиции прошлого.

Подтвердить сказанное может также весьма важная формулировка Л. Ельмслева, согласно которой «различные языки, имеющие грамматические роды (в виду имеются как собственно роды, так и классы. — *Г. К.*), выстраиваются в последовательный ряд от одной крайности к другой, от минимума к максимуму семантической мотивировки: с одной стороны, языки Северного Кавказа, с другой — банту, и, кроме того, имеется неопределенное число промежуточных стадий»¹². Действительно, при всех нарушениях семантических оснований именной классификации, встречающихся в современных языках банту, очень высокая степень формализации последней в нахско-дагестанских и абхазско-адыгских языках не идет с первыми ни в какое сравнение. И хотя процитированная формулировка не принимает во внимание того факта, что градация степени мотивированности с необходимостью выступает в рамках любого принципа классификации субстантивов (по всей вероятности, она отражает собой процессы последовательного преобразования самих ее оснований), в целом наблюдению Л. Ельмслева нельзя отказать в учете определенной историко-типологической перспективы.

К сказанному целесообразно добавить, что эволюция многоклассного противопоставления существительных в бинарную оппозицию активного («одушевленного») и инактивного («неодушевленного») классов была засвидетельствована в истории целого ряда языков. Такой процесс неоднократно отмечал, например, А. П. Рифтин. Согласно одному из его высказываний «шумерский находится на той ступени развития, когда многие грамматические классы, бывшие в нем ранее, как можно судить по истории письма (имеется в виду репертуар употребляв-

¹² Л. Ельмслев. О категориях личности — неличности и одушевленности — неодушевленности. «Принципы типологического анализа языков различного строя». М., 1972, стр. 116.

шихся в шумерской клинописи детерминативов. — Г. К.), объединились в два класса — активный и пассивный»¹³. По его другому замечанию, «как для хауса, так и для других хамитских языков, у которых большое число грамматических классов преобразовалось в два класса, последние трансформировались в той или другой степени в мужской и женский род. . .»¹⁴ Как указывает И. М. Дьяконов, «в семитских языках сохранились следы, возможно, свидетельствующие о существовании сложной системы именных грамматических классов: древнейшие суффиксальные грамматические показатели лексикализованы, т. е. в исторически засвидетельствованных семитских языках они составляют часть именной основы или даже корня. Так, можно предполагать, что формант -b был показателем класса вредных животных. Ср. общесемитские слова: kalb- 'собака', *di'b- 'волк', *ta'lab- 'лисица'. . ., dubb- 'медведь', 'agnab- 'заяц', 'akrab- 'скорпион'. . . Характерны также конечные -г, -l для названий домашнего и дикого скота. Однако эти следы наблюдаются, по-видимому, преимущественно в языках семитской ветви (афразийской семьи. — Г. К.), где их сохранению способствовала более последовательно проведенная тенденция к трехсогласности корня. Видимо, очень рано на месте многоклассной возникла столь типичная также для некоторых кавказских, шумерского, дравидских и других языков система двух классов — социально активного и социально пассивного»¹⁵. По мнению А. П. Дульзона, строй енисейских языков должен восходить к архаичной структуре классифицирующего языка, в котором вместо личных глагольных показателей функционировали классные аффиксы^{15а}. Начало процесса преобразования многочисленной именной классификации в бинарную оппозицию одушевленных и неодушевленных субстантивов констатируется и исследователями языков банту (подробнее см. стр. 281—286 настоящей работы).

¹³ А. П. Рифтин. Из истории множественного числа. «Уч. зап. ЛГУ. Серия филол. наук», вып. 10. Л., 1946, стр. 42.

¹⁴ А. П. Рифтин. Указ. соч., стр. 47.

¹⁵ И. М. Дьяконов. Языки древней Передней Азии. М., 1967, стр. 210.

^{15а} А. Dulson. Eine vorgeschichtliche Sprachgemeinschaft in Zentralasien. «Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae», т. 19 (1—2), 1969, стр. 20—21.

Заметно стремление некоторых лингвистов соотнести функционирование противопоставления инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа с определенным культурным уровнем развития общества. Так, еще сравнительно недавно Т. Милевский полагал, что «только языки народов с примитивной, очень отсталой культурой отличают *inclusivus* от *exclusivus*, тогда как во всех иных функционирует общая форма 1-го лица множественного числа»¹⁶. Значительно раньше к подобной точке зрения склонялся В. Шмидт¹⁷. Как уже отмечалось на стр. 111 настоящей работы, позднее эта оппозиция была сопоставлена с проведением в языковой структуре дихотомии личного ~ неличного, одушевленного ~ неодушевленного.

В специальной литературе отмечается довольно полное единство взглядов на историческое соотношение обеих форм принадлежности (органической и неорганической) в именной категории посессивности, предполагающее происхождение аффикса второй от показателя первой. Так, уже согласно мнению К. Уленбека, можно усмотреть немало аргументов в пользу производности флексии неорганической принадлежности от флексии органической. «В языке тлингит и в алгонкинских, — пишет он, — отчуждаемое владение отличается от неотчуждаемого с помощью суффикса, присоединяемого к имени. . . В языке хайда описательное выражение отчуждаемой принадлежности основывается на отдельном употреблении препозиции, господствующей при неотчуждаемо-посессивной флексии. В мускогейском языке префиксы отчуждаемой собственности вообще базируются на префиксах неотчуждаемой принадлежности. В языках дакота и хидатса местоименные префиксы внешне посессивной флексии образуются без исключения от интимно-посессивной флексии. Разве эти факты не ясны сами по себе и разве можем мы сомневаться в том, что во всяком случае там, где отношение отчуждаемо-посессивной флексии к неотчуждаемо-посессивной имеет такой характер, интимная, естественная, нераздельная собственность установилась в этих языках раньше, чем воз-

¹⁶ Т. Милевский. Предпосылки типологического языкознания. «Исследования по структурной типологии». М., 1963, стр. 23.

¹⁷ W. Schmidt. Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde. Heidelberg, 1926, стр. 330 и след.

ника потребность в создании форм для выражения внешней собственности, и что именно эта потребность обусловила расширение посессивной схемы»¹⁸.

Согласно Н. Ф. Яковлеву, «префиксы неотчуждаемой принадлежности, сохранившиеся во многих языках в различных частях земного шара, и служат в языке отражением как этого рода собственности (имеется в виду личная собственность. — Г. К.), так и общей собственности в неотчуждаемой форме. Эти префиксы в подавляющем большинстве случаев древнее, чем префиксы имущественной принадлежности (т. е. собственности, возникшей на основе разделения труда и обмена), которые вторично образуются от первых. Следовательно, и по данным языка личная собственность возникает задолго до появления частной собственности. . . Для выражения этого вида собственности, собственности как бы временной, случайной, тесно с производителем не связанной, т. е. бывшей древнейшим зачатком того, что позднее приняло форму частной собственности, и в языке появились особые притяжательные префиксы — префиксы имущественной принадлежности»¹⁹. По его мнению, становление обеих форм принадлежности имело экстралингвистическую обусловленность: «. . . очень рано, еще на высшей ступени дикости, появляются в языке эти формы и соответствующие им обычаи на основе развития в реальной жизни того времени двух форм собственности — собственности общей (и личной), которая была неотчуждаемой, неотъемлемой собственностью всего общества (или отдельного его члена), и собственности личной (и общей), которая уже стала служить предметом хотя бы зачаточного обмена, т. е. сделалась в той или иной форме отчуждаемой собственностью. . .»²⁰ По Н. Ф. Яковлеву, оппозиция именных форм органической и неорганической принадлежности и была призвана отразить различие имевшихся форм собственности. Не требуется, однако, комментариев, чтобы показать необоснованность подобных гипотез, предполагающих мотивацию элементов грамматического строя экономическими отношениями (не го-

¹⁸ Х. К. Уленбек. Идентифицирующий характер посессивной флексии в языках Северной Америки, стр. 201.

¹⁹ Н. Ф. Яковлев, Д. А. Ашхамаф. Грамматика адыгейского литературного языка. М.—Л., 1941, стр. 302.

²⁰ Там же, стр. 301.

воря уже о неучете ими того существенного обстоятельства, что форма органической принадлежности передает наряду с посессивными и партитивные отношения).

Нельзя пройти и мимо высказывавшегося ранее мнения, согласно которому древнейшее реконструируемое для протоиндоевропейского состояние должно непосредственно восходить к так называемому доглагольному, т. е. такому, в котором имя существительное и глагол взаимно недифференцированы (ближайшую ему аналогию составляет встречающаяся точка зрения о происхождении прямо из доглагольного состояния и эргативного строя). Несмотря на отдельные черты подобной недифференцированности, в целом, как было показано выше, оно характеризуется достаточно отчетливым размежеванием глагольных слов и субстантивов, свидетельствующим о длительности его истории. Вообще трудно сомневаться в том, что глагол и имя структурно обособлены во всех известных областях глоттогонии и, следовательно, имеют свою специфику не только в номинативных, эргативных и активных языках, но и в представителях классного и, судя по всему, нейтрального строя²¹. Едва ли корректно, в частности, говорить о доглагольности соответствующего протоиндоевропейского состояния, если типологически отождествить его с активным. Представляется, что М. М. Гухман имела полное основание констатировать в последней связи следующее: «Рассматривая приведенные выше факты, а также имеющиеся по этому поводу высказывания в литературе, необходимо прежде всего оговорить, что в весьма сложных системах индоевропейских имени и глагола имеются слои разных эпох, и общность формантов имени и глагола не всегда говорит о вторичности последнего. Поэтому, если в отношении относительно позднего слоя явно деноминативных глаголов можно говорить о примарности имени в буквальном смысле, то значительно сложнее реконструкция тех древних отношений, которые определяли известную формальную недифференцированность имени и глагола. Так, например, вряд ли можно согласиться с весьма распространенным за рубежом утверждением о чисто

²¹ К принимаемой автором классификации языковых типов см.: Г. А. Климов. Вопросы континентно-типологического описания языков. «Принципы описания языков мира». М., 1976, стр. 129—143.

именной природе языкового строя этой древней эпохи, так как до оформления глагола не было, собственно говоря, и имени в нашем понимании слова, т. е. отдельной части речи, с характеризующими ее грамматическими категориями, но одна и та же единица речи выступала то с функцией будущего имени, то с функцией будущего глагола. Вместе с тем первоначальная стадия языков, определяемых как индоевропейские, по-видимому, не характеризовалась закономерностями аморфного языкового типа; наоборот, как бы далеко мы ни шли в нашей реконструкции, известные особенности индоевропейской морфологии образуют предел, далее которого нельзя идти, если мы хотим оставаться в рамках индоевропейской языковой системы»²².

В поисках структурного типа языка, на основе которого мог сформироваться активный строй, естественно обратиться к представителям раннеактивного состояния, где можно ожидать сохранения тех или иных архаичных языковых черт. И здесь больше всего соответствующих указаний следует ожидать в такой консервативной с контенсивно-типологической точки зрения сфере языковой структуры, каковой является морфология. Действительно, в последней можно усмотреть немало признаков типологически отличного состояния языка, большая часть которых подводилась в предшествующем изложении под общее понятие фреквенталий активного строя, и процесс постепенного преодоления которых засвидетельствован в рассматриваемых языках. Представляется, что особенно интересный в данном отношении материал налицо в представителях большой семьи на-дене.

Прежде всего заслуживает внимания то обстоятельство, что в различных частных подсистемах целого ряда активных языков (в формах 3-го лица притяжательной флексии, в лексемном согласовании именных слов с «классифицирующими» глаголами, в системе числительных) нередко проступает дифференциация не двух, а большего числа классов субстантивов. Следует заметить, что именно подобным фактам бывают иногда обязаны противоречивые сведения о числе именных классов, функционирующих в некоторых из активных языков.

²² М. М. Гухман. О стадильности в развитии строя индоевропейских языков. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1947, № 2, стр. 103.

Такое множество именных классов составляет, как известно, довольно характерный признак представителей классной типологии (ср., например, положение в языках банту).

В ряде атапаскских языков различие подклассов человека и животного в рамках субстантивов активного класса проводится в системе посессивной флексии. Например, в посессивной парадигме языка галис оно налицо в формах обвиатива. Г. Хойер пишет в этой связи следующее: «... tš'a- является, по-видимому, неопределенным местоимением, которое соотносится с каким-то животным или животным вообще: tš'a-de? 'нога (животного)', tš'a-ni? 'маска оленьей головы, используемая в церемониях' (букв.: 'какое-то лицо [животного]'), tš'a-geese? 'тестиккулы' (имплицитно — животных), tš'a-ke? 'нога (животного)', 'следы (животного)', tš'a-wa? 'волосы на теле (у животных)', tš'a-saɬ 'печень (животных)', tš'a-san? 'мясо', особенно — 'оленина' (букв. 'мясо [животного]'), tš'a-saɣ 'мозги (животного)'. Wa- также является неопределенным местоимением, однако появляющимся лишь при соотнесении с человеком: wa-ta? 'чей-то отец', wa-dast'e 'чье-то тело', wa-ke? 'чья-то нога, чьи-то следы' (ср. вышеприведенное tš'a-ke?), wa-saane? 'чьи-то экскременты', wa-saɣ 'чьи-то мозги' (ср. вышеприведенное tš'a-saɣ)»²³.

Очевидные пережитки более дробной классификации субстантивов активного класса налицо в некоторых именных формах в языках тупи-гуарани. Например, в старом тупи в формах 3-го лица той же посессивной флексии (в отличие от форм 1-го и 2-го лица, характеризующихся префиксом *ɾ*-) различаются подкласс людей, маркируемый префиксом *t*-, и подкласс животных, имеющий префиксальную характеристику *s*-. Так, наряду с *esá* 'глаз' здесь имеем притяжательные формы *t-esá* 'его (человека) глаз' и *s-esá* 'его (животного) глаз'. Ср. также такие инкорпоративные построения, как *a-t-esá-kutúk* 'я поранил глаза (человека)' и *a-s-esá-kutúk aɨɸuɾu* 'я поранил глаза попугая'²⁴. Очень сходная кар-

²³ H. Hoijer. *Galice Athapaskan: a grammatical sketch*, стр. 322.

²⁴ A. dall Igná Rodrigues. *Morfologia do verbo Tupi*. «Letras» (Curitiba), 1953, № 1, стр. 128; Pe A. Lemos Barbosa. *Curso del Tupi Antigo*. Rio de Janeiro, 1956, стр. 107 и 294.

типа наблюдается в близкородственном языке камаюра, где совершенно аналогичную соотношенность имеют по-сессивные префиксы *t-* и *h-* (при префиксальной характеристике форм 1-го и 2-го лица *г-*)²⁵. Нетрудно заметить, что такие формы напоминают облик субстантивов классных языков, образующих явные, т. е. специально маркированные, именные классы.

Еще одно основание для выделения скрытых именных подклассов составляют встречающиеся в отдельных активных языках суффиксально варьирующие формы количественных числительных, избирательно сочетающиеся с определенным набором субстантивов в рамках атрибутивной синтагмы. В частности, в грамматическом очерке языка хайда Дж. Суонтона говорится о большем, чем два, числе классов субстантивов, постулированном им именно на базе согласовательных форм числительных²⁶. Как замечает Л. Ельмслев, «с семантической точки зрения эти классификации вполне сравнимы с нумеративами, которые в ряде языков (китайском, тайском, японском, малайском) сопровождают обязательно все сочетания имени числительного с существительным (или, точнее, предметным словом), указывая на семантический класс этого последнего (предметы круглые, плоские, продолговатые и т. д.). . .»²⁷

Однако более распространенным в активных языках явлением оказывается обычное функционирование в них так называемых классифицирующих глаголов, сам факт наличия которых обозначает скрытую форму классификации именных лексем (ср. стр. 93—94 настоящей работы). Именно в ходе анализа определенных групп субстантивов, лексически сочетающихся с разными «классифицирующими» глаголами, еще Б. Уорф выделил в языке навахо именные подклассы, основанные на различиях соответствующих им референтов по внешней форме и некоторым другим признакам. Всего в этом языке постулировано до двенадцати подобных подклассов²⁸. В со-

²⁵ Л. С. Феррейра. Язык камаюра (фонетика и фонология, краткие сведения о грамматике). М., 1973. Канд. дис., стр. 78.

²⁶ J. R. Swanton. Haida. «Handbook of American Indian Languages», pt. I. Washington, 1914, стр. 216, 227.

²⁷ Л. Ельмслев. Указ. соч., стр. 115.

²⁸ Ср. Н. Landar. Class Co-occurrence in Navaho Gender. — IJAL, v. 31, 1965, № 4.

ответствии с аналогичной закрепленностью определенных имен существительных за отдельными «классифицирующими» глаголами в другом атапаскском языке чипевья выявляется девять таких именных подклассов.²⁹

Любопытно, что факты, отражающие какую-то более подробную именную классификацию, известны и из языков, представляющих, по всей вероятности, позднее активное состояние. Так, характеризуя так называемые позиционные глагольные основы (positional stems) в языке хидатса (сиу), Г. Мэтьюз отмечает, что таковыми здесь являются: «wahkú, употребляемая с субъектами, соотносящимися с высокими, обычно вертикальными объектами или крупными животными — wírá 'дерево', witéo 'бизон'. Основа waakí употребляется с субъектами, которые соотносятся с длинными предметами, не обязательно вертикальными, или с пресмыкающимися: itáo 'стрела', áaga 'рука', waarooksa 'змея'; waakí также используется для мертвых деревьев, стоящих на корню или нет. Основа rahku применяется с субъектами, соотносящимися с круглыми предметами, мелкими животными или птицами: úitarí 'мяч', ahí 'репа', síhra 'степная собака', sakáaka 'цыпленок, птенец'. Основа háhku употребляется для разбрасываемых предметов, таких, как камни в поле, но может с этой семантикой сочетаться со многими именными основами, встречающимися с wahkú, waakí и rahkú. Сочетаясь с háhku, некоторые имена приобретают несколько сдвинутое значение: например, até 'дом' и wírá 'дерево' в этом случае соответственно обозначают 'деревня' и 'лес'. Основа waakhé употребляется с субъектами, соотносящимися с неведущими или невидимыми объектами: ráguwo tíigi 'общество'. В общем, все эти основы обозначают нахождение где-либо... Сочетаясь с субъектами, представляющими человеческие существа, эти позиционные основы приобретают дополнительные значения, указывающие на их позу или положение: wahkú 'стоя', waakí 'лежа' (или эвфемистически 'будучи мертвым'), rahkú 'сидя', hahkú 'двигаясь'...»³⁰ Как уже

²⁹ M. R. Haas. Notes on a Chipewyan Dialect. — IJAL, v. 34, 1968, № 3, стр. 168.

³⁰ G. H. Matthews. Hidatsa Syntaz. «Papers in Formal Linguistics». The Hague, 1965, № 3, стр. 159—160.

отмечалось в главе III, классифицирующие глаголы зафиксированы и в языках мускоги (см. выше стр. 94).

В связи со сказанным обращает на себя внимание еще одна черта структуры раннеактивных языков, также сближающая их с представителями классной типологии. В виду имеется спорадическое сохранение в них особых классов некоторого множества объектов определенного рода. В частности, в языке навахо, как показывает лексемная специфика сочетающихся с соответствующими разрядами имен «классифицирующих» глаголов бытия, среди дифференциации всего двенадцати подклассов наличны по крайней мере три подобных подкласса множеств, обозначающих: а) совокупность объектов, б) совокупность параллельных объектов (например, бревен) и в) массу объектов (например, стрел)³¹. Ср. в этом отношении классы так называемого множественного числа в языках банту.

Таким образом, в структуре языков активного строя (особенно представляющих его раннее состояние) более или менее отчетливым образом засвидетельствованы следы того состояния именной классификации, когда активный, точнее — одушевленный, класс субстантивов должен был являться одним из более широкого множества классов. Небезынтересно заметить, что значительно более слабые реминисценции подобного порядка фиксировались в специальной литературе в эргативных и номинативных языках (естественно, что речь здесь может идти лишь о тех из них, которые еще не утратили точек соприкосновения с активным строем).

Одной из ярких иллюстраций такого рода могут послужить, в частности, целые серии лексем семантики 'нести', 'брать' и 'класть // ставить' в языке аймара,

³¹ Ср.: *H. Hoijer*, *Classificatory Verb Stems in the Apachean Languages*. — *IJAL*, v. 11, 1945, № 1, стр. 13—33; *M. R. Haas*, *Classificatory Verbs in Muskogee*. — *IJAL*, v. 14, 1948, № 3, стр. 242—245; *W. Davidson, L. W. Elford and H. Hoijer*, *Athapaskan Classificatory Verbs*. «*Studies in the Athapaskan Languages*». University of California Publications in Linguistics, v. XXIX. Berkeley and Los Angeles, 1963, стр. 30—41; *H. Landar*, *Class Co-occurrence in Navaho Gender*. — *IJAL*, v. 31, 1965, № 4, стр. 328; *Он же*, *Tena Classificatory Verbs*. — *IJAL*, v. 33, 1967, № 4, стр. 263—268 и т. д.

различающиеся по своей соотнесенности с обозначениями объектов различного характера:

Таблица 1

| 'Нести' | 'Брать' | 'Класть' | Класс референтов |
|----------------------|---------|-----------|--------------------|
| irpaña ³² | irptaña | irpxataña | Одушевленные |
| içuña ³² | içtaña | içxataña | Мелкие |
| ajaña | ajtaña | ajxataña | Продолговатые |
| iraña | irtaña | irxataña | Округлые |
| asaña | astaña | asxataña | Плоские |
| apaña | aptaña | apxataña | Неправильной формы |
| itaña | ittaña | itxataña | Тяжелые |
| iqaña | iqtaña | iqxataña | Мягкие |

Значительная близость стоящего за приведенными глагольными сериями скрытого разбиения субстантивов к их несколько более отчетливой классификации (с дальнейшим распределением инактивных имен на подклассы), проступающей, например, в атапаскских языках, не вызывает никакого сомнения. Из словообразовательных моделей глаголов, помещенных во второй и третьей рубриках таблицы 1, напрашивается вывод, что деривационные элементы *-ta* и *-xata* должны исторически восходить к морфологической категории способа действия (ингрессива — в первом случае и, по-видимому, терминатива — во втором). Действительно, по крайней мере первый из них еще и в настоящее время функционирует в языке аймара в роли показателя начинательного способа действия ³². При этом будет нелишним заметить, что бывшее классное противопоставление плоских и округлых предметов находит свое отражение в этом языке также в явлении дублетности имен прилагательных семантики 'толстый' и 'тонкий': ср. *lonqo* 'толстый (о плоских)' ~ *lanqhu* 'толстый (об округлых)' при *laqa* 'тонкий (о плоских)' ~ *hiçusa* 'тонкий (об округлых)'. На совершенно аналогичные последние факты в некоторых других представителях номинативного и эргативного строя уже неодно-

³² Ср.: J. E. Ebbing. Gramática y diccionario Aimara. La Paz. (Bolivia), 1965, стр. 245.

кратно обращалось внимание. В частности, они достаточно отчетливо выступают в преимущественно номинативных картвельских языках: ср. здесь противопоставление груз. *skel-i* 'толстый (о плоских)' ~ *msxwil-i* 'толстый (об округлых)' при *txel-i* 'тонкий (о плоских)' ~ *ɕwɾil-i* 'тонкий (об округлых)' ³³. Не менее отчетливо такая дублетность прилагательных выдерживается, как известно, в эргативных абхазско-адыгских языках: ср., например, оппозицию кабард. *luyw* 'толстый (о плоских)' ~ *gʷuyw* 'толстый (об округлых)' при *plawɬIz* 'тонкий (о плоских)' ~ *psygʷuz* 'тонкий (об округлых)' ³⁴. Несколько менее рельефно она свидетельствуется в других представителях эргативного строя — нахско-дагестанских языках: ср., в частности, даргинск. *бузси* 'толстый (о плоских)' ~ *буруси* 'толстый (об округлых)' при *букIуси* 'тонкий (о плоских)' ~ *гъэрцIси* 'тонкий (об округлых)'. Впрочем, в последних иногда усматривают и другие следы именной классификации подобного характера ³⁵.

В связи со сказанным небезынтересно подчеркнуть то обстоятельство, что в языках классной типологии действительно обнаруживается тенденция к поляризации двух полюсов в субстантивах — единой группировки имен «одушевленного» класса, с одной стороны, и такой же группировки имен «неодушевленного» класса, с другой. Так, отечественными африканистами уже неоднократно обращалось внимание на широкое проявление этой тенденции в языках банту. Раньше других дихотомию «одушевленного» и «неодушевленного» классов в качестве структурной инновации стали здесь рассматривать П. С. Кузнецов и Д. А. Ольдерогге. Первый из них отметил, что специфика согласования имен различных классов с глаголом свидетельствует о том, что «в суахили нарождается новая категория — одушевленных предметов, противостоящих неодушевленным. Согласование слов, вы-

³³ Ср.: В. И. Абаев. Некоторые осетино-грузинские семантические параллели. — ИКЯ, т. XVIII, 1973, стр. 29—31.

³⁴ Ср.: А. К. Шагиров. Очерки по сравнительной лексикологии адыгских языков. Нальчик, 1962, стр. 36—37.

³⁵ С. М. Хайдаков. Следы классификации названий предметов по их внешним признакам в лакском языке. «Вопросы грамматики (сб. статей к 75-летию акад. И. И. Мещанинова)». М.—Л., 1960.

ражающих одушевленные предметы, по старым классам держится лишь пережиточно и то главным образом в по-сессивах. Остальные же зависимые члены (и частью по-сессивы) согласуются по нормам 1-го класса»³⁶. Конста-тируя в языках банту четыре группы номинальных клас-сов, (а) классы, основанные на разделении мира на людей, животных, деревья и т. д.; б) классы, основанные на со-относительной величине предметов; в) классы, передаю-щие количественные отношения предметов и г) классы, определяющие взаимное положение двух вещей в про-странстве), Д. А. Ольдерогге пишет следующее: «К этим четырем группам можно в сущности присоединить еще пятую, которая, по-видимому, образовалась значительно позднее, так как уже не оформилась в виде префиксов и не связана по существу с системой классов. Я имею в виду намечающееся разделение на «одушевленные» и «неоду-шевленные» предметы, социально активные и социально пассивные. Эта пятая группа отношений нашла свое выражение в вопросительных частицах: 'кто', 'что', напр., суахили — *napí* и *níní* или в языке атарака: 'кто' — 'что', 'кто-то' или 'никто' — 'ничего', которые противо-полагаются при помощи слов 'человек' (*muntu*) — 'вещь' (*kintu*)»³⁷.

Тот же процесс отмечает И. П. Строганова, подчерки-вающая при этом индуцирующую роль I-го класса: «В связи с подобным выделением I класса и стоит, по-ви-димому, перестройка именной классификации и утрата ею первоначального значения и смысла. Мы наблюдаем отчетливое смещение первоначальных границ классов и сочетание понятий уже по другим принципам. Основным принципом следует считать отнесение имен существи-тельных в тот или иной класс по степени их социальной значимости — активности или пассивности в хозяйстве и общественных отношениях, как мы это наблюдаем на данных класса вещей или по принципу одушевленности и неодушевленности.

³⁶ П. С. Кузнецов. Об именной классификации и системе согласо-ваний в языке суахили. «Языки зарубежного Востока». М., 1935, № 1, стр. 69.

³⁷ Д. А. Ольдерогге. Определение времени и пространства в языках банту (локативные классы). «Памяти В. Г. Богораза (1865—1936)». М.—Л., 1937, стр. 368.

Так, например, названия животных, входящие в V класс — класс животных, наряду с многими другими именами существительными, постепенно переходят в суахили в класс людей. При этом имена, обозначающие животных, значительно реже утрачивают префикс своего класса, приобретая префикс I класса, чаще же сохраняют свой префикс, но согласуются в глагольных формах и местоименных образованиях по I классу. Это наблюдается в тех случаях, когда животные выступают активно действующими существами в повествованиях (фольклорные произведения) или в современных газетных статьях, когда речь идет о животных, играющих роль в хозяйстве, но, очевидно, связано также и с новым принципом деления на одушевленные — неодушевленные»³⁸. «Материалы по различным диалектам суахили указывают на различные периоды перехода названий одушевленных предметов из V класса (класса животных) в I класс (класс людей) и свидетельствуют о том, что имена существительные V класса, обозначающие людей, переходят в I класс раньше, чем названия животных. Так, например, в кимгао, одном из диалектов суахили, при названиях людей, относящихся к V классу, сказуемое оформлено показателями I класса, при названиях же животных — показателями V класса. Аналогичные явления при развитии категории одушевленности наблюдаются и в языках других систем. . .»³⁹

Инновативный, а не архаический характер категории «одушевленности» в языках банту дает себя знать в ряде случаев вторичного наложения соответствующего классного показателя на уже функционирующие в составе лексем показатели более частных классов. Приведем описание этого процесса по одной из работ Н. В. Охотиной. «В особую подгруппу могут быть выделены одушевленные имена, объединяемые в языке суахили, строго говоря, только в 1 и 2-й классы. Однако в состав этой подгруппы войдут и одушевленные имена существительные, принадлежащие к абсолютному большинству классов группы I. Это будет выражаться прежде всего в нарушении прямого согласования. Одушевленное существи-

³⁸ И. П. Строганова. Процесс развития именной классификации в языках банту. «Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та». № 128. Л., 1952, стр. 204—205.

³⁹ Там же, стр. 205—206.

тельное, к какому бы классу оно ни относилось, будет требовать согласования по 1-му или 2-му классу: *Vijana wa Kenya wanakusanya mkutanoni* 'Молодежь Кении собралась на митинг'; *Raia huyu anasoma gazeti* 'Гражданин этот читает газету'.

Категория одушевленности морфологически может быть выражена также путем оформления имени существительного префиксом 1-го или 2-го классов. В этом случае префиксы этих классов *m-* или *wa-* будут выступать как препрефиксы, например:

mndege 'птица' = $a + a + b (m + n + dege)$

mnyama 'животное' = $a + a + b (m + ny + ama)$

wanyama 'животные' = $a + a + b (wa + ny + ama)$ и т. п.

Префиксы *m-* и *wa-* могут замещать собою первичный префикс имени существительного, например, слово *kiongozi* 'руководитель' может выступать и в форме *mwongozi*. В двух последних случаях согласование имен существительных будет прямым, например: *Mndege huyu aliruka hewani* 'Птица эта взмыла в воздух'; *Mwongozi weti alirudi kutoka Ulaya* 'Руководитель наш вернулся из Европы'.

Имена существительные, не получившие морфологического подтверждения категории одушевленности, т. е. не переоформленные префиксами 1-го и 2-го классов, имеют косвенное согласование.

Формула морфемной структуры одушевленных имен существительных также имеет особенности в пределах общей морфемной формулы слов, относящихся к группе I, а именно $(2)a + b + (3d_2)$.

Например:

mtu 'человек' = $a + b (m + tu)$;

raia 'гражданин' = $a + b (0 + raia)$;

mndege 'птица' = $a + a + b (m + n + dege)$;

mlimaji 'земледелец' = $a + b + d_2 (m + lima + ji)$;

mfundishaji 'тренер' = $a + b + d_2 + d_2 (m + funda + isha + ji)$;

mshindanizi 'противник, соперник' = $a + b + d_2 + d_2 + d_2 (m + shinda + ana + iza + i)$.

Особенность морфемной структуры данной подгруппы слов заключается в отсутствии d_1 (суффикса *-ni*). Одушевленные имена существительные не образуют локатив-

ной формы; пространственные отношения данной подгруппы имен существительных могут быть выражены только при помощи предлогов, безотносительно к тому, имеет ли такое имя существительное префиксы 1-го или 2-го класса или оно принадлежит по форме префикса к какому-либо другому классу группы 1»⁴⁰.

Целесообразно, наконец, привести имеющую непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу цитату из работы Н. В. Громовой.

«Противопоставление одушевленности и неодушевленности в языке суахили находится на стадии формирования. Имена существительные, имеющие значение одушевленных предметов, встречаются в ряде классов (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10). На данном этапе развития языка суахили имеется тенденция к образованию грамматической категории одушевленности, что достигается несколькими способами.

I способ — согласование. Имена существительные из разных классов образуют формы множественного числа по принципам данного класса, например, (7) *kijana* 'юноша', (8) *vijana* 'юноши', (5) *jemadari* 'полковник', (6) *majemadari* 'полковники', (9) *ndege* 'птица', (10) *ndege* 'птицы', но согласование их проводится согласно нормам 1-го или 2-го классов, т. е. классов живых существ. Например: *Kijana mrefu wa Nigeria alisema...* 'высокий юноша из Нигерии сказал...', *Majemadari wa majeshi walitoa amri...* 'полковники войск отдали приказы...', *Ndege mdogo ameruka* 'маленькая птица вспорхнула'.

II способ — препрефиксация. Имя существительное со значением одушевленного предмета полностью переходит в 1-й (2) класс, принимая не только систему его согласования, но и префикс, *m-* (для мн. числа *wa-*): (9) *nyuma* — *m-nyuma* 'зверь', *wa-nyuma* 'звери'; (5) *jumbe* — *m-jumbe* 'делегат', *wa-jumbe* 'делегаты'.

III способ — замена префикса имени существительного из другого класса префиксом I (2) класса с соответствующим согласованием: (7) *kiongozi* — *mw-ongozi* 'руководитель', *wa-ongozi* 'руководители'.

⁴⁰ Н. В. Осотина. К типологической характеристике языка суахили. «Лингвистическая типология и восточные языки». М., 1965, стр. 152—153.

Наиболее продуктивным в языке суахили является I способ образования категории одушевленности. Два следующих способа в меньшей степени используются в языке. Одновременно бытуют и старые образования (*kiongozi*, *nyama*), и новые (*mwongozi*, *mnyama*). Это говорит о том, что категория одушевленности — новая, развивающаяся категория. Способы выражения этой категории позволяют считать, что она возникла позднее, уже после завершения формирования именных классов»⁴¹.

Неизученность принципов организации глагольных лексем в языках классного строя не позволяет провести подобного сопоставления в области глагольной лексики. По материалам IV-ой главы архаичной чертой активных языков можно было бы признать случаи остаточного сохранения оппозиции одушевленных и неодушевленных глаголов. Эта черта может быть, например, проиллюстрирована на материале языка гуарани: ср. *žawa o-atá* 'собака плавает', *žawa o-žahojá* 'собака тонет', *žawa o-ñenó* 'собака лежит', с одной стороны, и *əwəga-gowé o-wewé* 'лист (дерева) плавает', *itá o-ñarəmi* 'камень тонет', *itá o'í* 'камень лежит', с другой.

Еще одну интересную в этом отношении черту представителей раннеактивного состояния образует тот факт, что в них особенно очевидна производность глагольных личных аффиксов активной и инактивной серии из единого материала, по-видимому, представлявшего на предшествовавшем этапе «диффузный» аффикс 1-го или 2-го лица.

В связи с этим для реализации принципа активного строя, требующего различения обеих серий личных показателей, в этих языках используются вариации соответствующих аффиксов, обусловленные действием тех или иных фонетических процессов. Яркими примерами этого являются формы показателей 1-го и 2-го лица обеих серий в атапаскских языках: *š-* и *ši-* для 1-го и *n-* и *ni-* для 2-го. В принципе, по-видимому, аналогична и природа материальных различий соответствующих аффиксов и в других языках, относящихся к семье на-дене (ср. стр. 134—135 настоящей работы).

⁴¹ И. В. Громова. О принципах выделения имени существительного в языке суахили. «Африканская филология». М., 1965, стр. 34—35.

Отмеченный в главе III ущербный характер оформления 3-го лица (обычное отсутствие соответствующего единого местоимения, нередкое обозначение этого лица в глагольной словоформе нулевым аффиксом и т. п.) в активных языках находит свою ближайшую аналогию также в представителях классной типологии. В принципе именно такое положение имеет место в языках банту, не знающих единого местоимения 3-го лица, замещаемого здесь совокупностью прономинальных лексем, указывающих на определенный класс подразумеваемого субстантива ⁴².

* * *

Среди эмпирических свидетельств о месте, занимаемом активным строем среди других языковых типов, постулируемых в рамках контенсивно-типологической классификации, обращает на себя внимание то обстоятельство, что, с одной стороны, известны представители активной типологии, обнаруживающие точки соприкосновения с классным строем (например, языки на-дене), а с другой — существуют активные языки, обладающие уже отдельными структурными признаками номинативного или эргативного строя (ср. языки ирокуа-каддо, отчасти — сиу). Уже одно это обстоятельство способно привести к предположению о возможной промежуточной позиции активного состояния между классным строем и номинативным или эргативным.

С точки зрения адекватного понимания взаимоотношений названных языковых типов представляется необходимым коротко остановиться на ранее не отмечавшемся факте большой структурной близости номинативных и эргативных языков и более обособленном положении активных.

Так, следует подчеркнуть, что уже основные принципы структурной организации именной лексики в активном строе обнаруживают существенные отклонения от соответствующих норм эргативного и номинативного. Бросается в глаза, например, что в отличие от противопоставления субстантивов активного и инактивного классов в рамках первого в обоих последних либо вовсе отсут-

⁴² Ср.: И. Л. Снегирев. К вопросу о происхождении местоимений. «Изв. АН СССР», 1933, стр. 637—643.

ствуется классное распределение существительных, либо имеются лишь остаточные и весьма формализованные группировки имен. Другая линия разграничения сопоставляемых систем — несформированность имен прилагательных и некоторых разрядов местоимений (притяжательных, возвратных) в активных языках, обычно имеющих в эргативных и номинативных.

Столь же глубоко различными оказываются в структурах активного и эргативного (// номинативного) строя основные принципы организации глагольной лексики. Если учесть, что именно последними имплицитно определяются фундаментальные характеристики синтаксической и морфологической систем сопоставляемых здесь структур, то значимость этих расхождений едва ли возможно переоценить.

Как известно, в эргативных и номинативных языках глагольные слова лексикализованы на классы транзитивных и интранзитивных. В свою очередь это обстоятельство означает, что гаголы обнаруживают в них более или менее отчетливую субъектную или объектную интенцию, что, напротив, совершенно нехарактерно для активных языков, в которых профилирует дихотомия активных и стативных глаголов. Отличие представителей эргативной типологии от номинативной сводится в этом плане, по-видимому, лишь к тому, что если для глагола первых транзитивность ~ интранзитивность составляет, как правило, явную категорию, т. е. категорию, получающую свое выражение в структуре самой глагольной лексемы (ср., например, различную в них морфологическую структуру словоформы транзитивного и интранзитивного глаголов), то для глагола вторых транзитивность ~ интранзитивность обычно оказывается «скрытой» категорией, находящей свое отражение лишь за пределами глагольной словоформы (в характере возможных в составе предложения дополнений, в особенностях падежного оформления соответствующих именных членов). Еще один класс глагольных лексем, структурно тяготеющий к системе активного строя и по существу не функционирующий ни в эргативных, ни в номинативных языках, образуют глаголы непроизвольного действия и состояния (в некоторых представителях эргативной типологии он остаточно представлен значительно более узкой и непродуктивной группой так называемых аффективных глаголов).

Из более частных структурных параметров лексики, находящихся свою мотивацию в рамках активной системы и встречающихся в некоторых эргативных и номинативных языках лишь на правах несистемных явлений, здесь достаточно упомянуть различие инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа.

Среди важнейших синтаксических следствий разбоя глагольных слов в эргативной и номинативной системах на лексические классы транзитивных и интранзитивных следует назвать дифференцированность в инвентаре членов предложения прямого и косвенного дополнений, неизвестную в рамках активной системы вследствие функционирования в последней иного принципа распределения глагольных лексем.

Наконец, обращают на себя внимание многочисленные расхождения активного строя с эргативным и номинативным в плане морфологии. В структуре первого в связи с резким различием в нем словоизменительных потенций активных и стативных глаголов отсутствует сквозная парадигма склонения, обычно имеющаяся в представителях обеих других сопоставляемых систем, место морфологической категории времени последних занимает широко разветвленная категория способа действия, позиции притяжательных местоимений и генитива замещает притяжательная флексия имен существительных, обособляющая формы органической и неорганической принадлежности. Если в системе активного строя облигаторно функционирует оппозиция центробежной и нецентробежной версий активного глагола, то в эргативной и номинативной структурах диатеза, как известно, не составляет сколько-нибудь необходимой черты транзитивного глагола (не говоря уже об отсутствии ее в эргативных языках, далеко не всем номинативным известна оппозиция форм действительного и страдательного залогов).

С другой стороны, как автор пытался показать в предшествовавшем изложении, активный строй обнаруживает несомненные точки соприкосновения с классным, особенно ощутимые в представителях раннеактивного состояния. Целесообразно еще раз подчеркнуть, что один из основных принципов организации здесь именной лексики — дихотомия активного («одушевленного») и пассивного («неодушевленного») классов субстантивов — оказывается чрезвычайно близким к такой профилирующей

черте классных языков, каковой является номинальная классификация, не составляющая, напротив, необходимой характеристики эргативных и номинативных (отличительный признак представителей классного строя образует маркированность классной принадлежности существительного в его собственной структуре: ср. суахили *m-tu* 'человек', *ki-tabu* 'книга' и т. д.). Развитость глагольной морфологии и бедность именной также связывает активную типологию с классной. Еще одна важнейшая черта общности обеих — значительно больший, по сравнению с эргативной и номинативной, удельный вес лексической структуры в передаче субъектно-объектных отношений при отсутствии специально ориентированных на нее грамматических средств.

Таким образом, уже само по себе положение активного строя среди остальных языковых типов, выделенных в рамках контенсивно-типологической схемы, может, по-видимому, дать некоторые указания об их общей диахронической перспективе. Если принять во внимание всю совокупность намечающихся при этом языковых типов (в составе нейтрального, классного, активного, эргативного и номинативного), то все они могут быть выстроены в единую последовательность, отражающую возрастание, гесп. убывание степени ориентированности грамматического строя языка на передачу субъектно-объектных отношений. Это и призвана иллюстрировать приводимая на стр. 291 таблица, нуждающаяся, вероятно, в минимальном комментарии. Так, нетрудно заметить, что в системе номинативного строя ориентация парадигматических элементов языка на выражение этих отношений проводится наиболее однозначным образом (ср. характер дополнений, функциональное содержание личных глагольных аффиксов и падежных единиц.) Уже среди профилирующих компонентов эргативной типологии налицо структурные элементы, обнаруживающие очевидную диффузность в передаче субъектного и объектного (ср. функции личных глагольных аффиксов абсолютного ряда и абсолютного падежа). В системе активного строя вообще не приходится говорить об ориентации парадигматических элементов языка на передачу субъектно-объектных отношений действительности: на разных уровнях языковой структуры они выражаются опосредствованным образом. В структуре классной типологии последние

Таблица 2

| | | Нейтральный | Классный | Активный | Эргативный | Номинативный |
|------------------------------|---|-----------------------|--|---|---|--|
| Морфология Синтаксис Лексика | Существительное Глагол | ? | Множество предм. классов Ситуац. ~ качеств. (?) | Активн. ~ инакт. классы Активн. ~ стативн. | θ Транзит. ~ интранзит. | θ Транзит. ~ интранзит. |
| | Конструкции предложения Дополнения | Нейтральная Единое | ? | Активн. ~ инактивная Ближайш. ~ дальнейшее | Эргативн. ~ абсолютная Прямое ~ косвенное | Номинативная Прямое ~ косвенное |
| | Именное склонение Глагольное спряжение | θ θ | θ Множество классно-личных аффиксов | Активн. ~ инактивн. пад. Активн. ~ инакт. ряды личных аффиксов | Эргативн. ~ абсол. пад. Эргат. ~ абсолют. ряды личных аффиксов | Именит. ~ винит. пад. Субъект. ~ (объектн.) ряд личных аффиксов |

опосредственно передаются в лексике и — в очень ограниченной мере — в грамматике. Наконец, в эталоне нейтрального строя эти отношения, по-видимому, всецело и при том лишь опосредствованно выражаются в глагольной и именной лексике.

В доступном современной лингвистической науке эмпирическом материале можно усмотреть и определенные свидетельства в пользу необратимости предполагаемых приведенной таблицей типологических преобразований языковой структуры. Так, например, неизвестны активные языки, сохранявшие бы какие-либо остаточные черты номинативного или эргативного строя. Вообще было бы, по всей вероятности, тщетным искать в тех или иных активных языках пережитки номинатива, аккумулятива, генитива и датива в именной морфологии или форм действительного и страдательного залога в глагольной, поскольку, в частности, именно активный строй представляет собой начальный этап формирования именной морфологии (например, парадигмы склонения), а оппозиция транзитивного и интранзитивного глаголов зарождается только в позднеактивном состоянии. В этой связи уместно отметить полное отсутствие именного склонения и дихотомии транзитивного и интранзитивного глаголов в представителях классной или нейтральной типологии. Напротив, засвидетельствовано множество эргативных и номинативных языков, характеризующихся более или менее очевидными пережитками активности⁴³. Естественно, что большую достоверность высказываемое предположение приобретет лишь в том случае, если невозможность преобразования эргативного или номинативного строя в активный, а также в классный и нейтральный, будет обоснована и теоретически. В этом плане в настоящее время заслуживают внимания два следующих обстоятельства. Во-первых, в пользу этого предположения свидетельствуют высокие объяснительные возможности активного строя по отношению к структурам эргативного и номинативного (но не классного и тем более нейтраль-

⁴³ Об остаточных явлениях активности в эргативных языках см.: С. Д. Кацнельсон. К происхождению эргативной конструкции. — ЭКПЯРТ. Л., 1967, стр. 33 и след.; А. И. Савченко. К вопросу о происхождении эргативной конструкции предложения. — ИКЯ, т. XVIII, 1973, стр. 137—143; Г. А. Климов. Очерк общей теории эргативности, стр. 233—243.

ного). Во-вторых, ослабление семантических детерминант эргативного и номинативного строя, по-видимому, означало бы регресс в отражении сферой сознания субъектно-объектных отношений действительности: ср. субъектно-объектную семантическую детерминанту номинативного строя, агентивно-фактитивную — эргативного и активно-инактивную — активного. Вместе с тем если учесть бесспорный факт исторической смежности активного, эргативного и номинативного типов, то едва ли будут основания говорить об исключительной архаичности первого по сравнению с обоими последними.

Таким образом, процесс формирования активного строя в грубом приближении может быть представлен как процесс усиления субъектно-объектной ориентации языковой структуры классного типа, основанной на противопоставлении одушевленного и неодушевленного начал.

Вероятно, нетрудно заметить, что подобное представление заставляет типологическое исследование вновь обратиться к мысли, особенно отчетливо формулировавшейся в отечественном языкознании, и согласно которой движущие стимулы языкового развития следует прежде всего усматривать в сфере мышления. Уместно подчеркнуть при этом, что уже сравнительно давно высказывались и догадки о важнейшей роли мыслительных импульсов в структурном преобразовании языков классного строя. Так, в частности, по мнению И. П. Строгановой, «особенности системы именных классов в суахили (появление двух противостоящих одна другой групп — активной и пассивной. . .) связаны с особыми условиями общественной практики, обуславливающей новые потребности мышления. . .»⁴⁴ Вместе с тем в настоящее время не существует никаких оснований соотносить тот или иной языковый тип со специфическим и однозначно соответствующим ему «типом мышления», как это иногда предполагалось в прошлом. Легче скорее допустить, что континентивно-типологический облик языка обнаруживает определенную зависимость лишь от одного из компонентов разноуровневой, по всей вероятности, структуры мышления — семантической детерминанты языка (способной к тому же отражать ранее существовавшие модели мировосприятия).

⁴⁴ И. П. Строганова. Указ. соч., стр. 209.

Рассмотрение проблемы генезиса активной типологии, равно как и происхождения других языковых типов, выделяемых в рамках принимаемой автором контенсивно-типологической классификации, в частности — эргативного строя, настоятельно выдвигает в повестку дня исследования вопрос об универсальных тенденциях языкового развития, особенно интенсивно разрабатывавшийся в отечественной лингвистике 30—40-х годов. Не увенчавшиеся тогда сколько-нибудь очевидными результатами опыты его решения не могли скомпрометировать саму идею об определенной поэтапности языковой эволюции, в последние десятилетия, по-видимому, более распространенной в зарубежном языкознании. Трудно, вероятно, сомневаться и в том, что эта идея представляется методологически корректной каждому исследователю, придерживающемуся концепции исторической закономерности развития общественных явлений. Кажется поэтому неслучайным возвращение к ней и целого ряда современных советских лингвистов. Так, например, Ю. С. Степанов пишет, что «языковой тип . . . есть не что иное, как комбинация определенных существенных черт языка, каждая из которых представляет собой определенную ступень на универсальной шкале эволюции. . . Языковой тип можно до известной степени сравнить с категорией общественно-исторической формации: различные формации могут существовать в современном мире, но тем не менее каждая формация представляет собой определенную ступень в едином историческом процессе развития человеческого общества»⁴⁵. И. М. Дьяконов отмечает, что «гипотеза закономерной последовательности смены синтаксических строев, выдвигавшаяся представителями «нового учения о языке», не была просто надуманной и беспочвенной схемой; как и всякая научная гипотеза, она имела основание в наблюдаемых эмпирических фактах, в том числе фактах из истории языков древнего Востока.* В самом деле, однородность типологического развития, в частности, и развития от безглагольного строя через эргативный (в понимании автора, по существу активный. — Г. К.) к номинативному, действительно может быть наблюдаема на значительных территориях в течение продолжитель-

⁴⁵ Ю. С. Степанов. Семиологический принцип описания языка. «Принципы описания языков мира». М., 1976, стр. 213.

ного времени для целых групп языков, при этом языков различного происхождения»⁴⁶. По мнению И. М. Тронского, «исследователь, признающий причинность в процессе языкового развития, всегда будет обращать особое внимание на повторяемость явлений, на действие одинаковых законов в истории языков вообще. . . Апеллируя от истории одного языка к истории другого, мы в отдельных случаях рискуем преувеличить это единство в подробностях, «навязать» истории одного языка черты, которые никогда в этом языке не были, а имелись в другом языке. Однако это будет ошибка неизмеримо меньшего значения, чем если мы будем считать языки абсолютно индивидуальными явлениями, развивающимися каждый раз совершенно особенными путями»⁴⁷. Согласно высказыванию М. А. Коростовцева, такие тяготеющие к активному строю характеристики языка, как функционирование широкого класса диффузных с точки зрения субъектной или объектной интенций глаголов, неразвитость морфологической категории времени, образование форм «пассива» у семантически интранзитивных глаголов и некоторые другие отражают собой универсальные ступени языкового развития⁴⁸.

В связи с намечаемой позицией активного строя в рамках континентально-типологической классификации языков нельзя оставить без внимания весьма отчетливую семантическую мотивированность его основных структурных компонентов. Как уже отмечалось выше, еще в ранних исследованиях представителей активной типологии неоднократно подчеркивался факт высокой конкретности в них «языкового выражения»⁴⁹. Действительно, последняя заявляет о себе во многих отношениях. В возможных моделях мира находят себе оправдание профилирующие принципы организации здесь именной и глагольной лексики. Обращает на себя внимание в активном строе и большая по сравнению с категориальным составом номина-

⁴⁶ И. М. Дьяконов. Языки древней Передней Азии. М., 1967, стр. 10.

⁴⁷ И. М. Тронский. Общеподоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции). Л., 1967, стр. 87.

⁴⁸ М. А. Коростовцев. О природе египетского глагола. — ВЯ, 1969, № 4, стр. 106.

⁴⁹ См., например: R. de la Grasserie. Du caractère concret de plusieurs familles linguistiques Américaines. Études de grammaire comparée. Paris, 1914.

тивных и эргативных языков содержательная конкретность элементов его грамматической системы (большая семантизованность грамматических категорий эргативных языков по сравнению с номинативными уже неоднократно отмечалась⁵⁰). В частности, в литературе указывалось на относительно невысокий уровень абстрагированности противопоставления актива и медиума в глагольной структуре древних индоевропейских языков. Так, М. М. Гухман подчеркивала, что «описывая смысловую структуру оппозиции медиум // актив в синхронном срезе древних индоевропейских языков, необходимо иметь в виду особый характер построения глагольных парадигм в этих языках, слабую степень формализации, большую зависимость от лексического характера основы, близость словообразования и словоизменения»⁵¹. Нетрудно констатировать, что еще меньшая степень языковой формализации субъектно-объектных отношений действительности характеризует противопоставление центробежной и нецентробежной версий в эталонном активном состоянии. То же самое следует сказать и относительно других грамматических категорий, присущих глаголу и имени в представителях активного строя, например, категории лица, различающей активный и инактивный ряды показателей, категории способа действия, категории притяжательности, дифференцирующей формы органической и неорганической принадлежности и т. д.

В языкознании прошлого неоднократно высказывалась мысль о том, что архаичная языковая типология должна была быть лишена богатства форм словоизменения, наблюдаемого в большинстве современных языков. В частности, многие индоевропейцы приходили к выводу, согласно которому глубокое проникновение в историю позволяет «угадать за индоевропейским флективным типом, типом столь своеобразным, предшествующее состояние языка типа более обычного, где слова были неизменяемыми или малоизменяемыми»⁵². В лингвистической лите-

⁵⁰ Ср.: *H. H. Holz. Sprache und Welt. Probleme der Sprachphilosophie. Frankfurt / Main, 1953, стр. 113—115.*

⁵¹ *М. М. Гухман. Развитие залоговых противопоставлений в германских языках. Опыт историко-типологического исследования родственных языков. М., 1964, стр. 34.*

⁵² Ср.: *А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938, стр. 171; ср. также: H. Hirt. Indogermanische Grammatik, Bd I—VII. Heidelberg, 1927—1937.*

ратуре иногда встречается и экстраполяция этого положения (к тому же без сколько-нибудь солидного фактического обоснования) в план общих закономерностей языкового развития⁵³. При существующем соблазне допущения именно подобной картины эволюции структуры языков необходимо иметь в виду, что неучет некоторой последовательности в языковом развитии чреват весьма ненадежными реконструкциями. Между тем если трудно отрицать наличие исторических связей активного строя с классным, то отсюда следует, в частности, что популярное в науке прошлого мнение о выводимости древнейшего протоиндоевропейского непосредственно из так называемого дофлексивного состояния (следовательно, из состояния, которое квалифицируется автором в рамках принимаемой им схемы контенсивно-типологической классификации в качестве нейтрального строя) игнорирует едва ли не две исторических эпохи, оставившие, как это показывают достаточно многочисленные исследования, отчетливый след в виде до сих пор заявляющего о себе противопоставления элементов языковой структуры по признаку одушевленности ~ неодушевленности. Тем более не приходится говорить о доглагольности состояния, из которого будто бы должна была сложиться индоевропейская структура, характеризующаяся морфологически четко обособленным от имени глаголом (как совершенно справедливо отмечала А. В. Десницкая еще в 1949 г., глагол «уже в древнейших из засвидетельствованных индоевропейских языков с чрезвычайной четкостью выделен как особая, отличная от имени, часть речи»⁵⁴). Имеются все основания исходить из мысли о том, что многим современным флексиям индоевропейского глагола предшествовали иные. Ср. в этой связи известный вывод М. Бреаля, согласно которому «времена, следовательно, есть сравнительно позднее приобретение — глагол располагал целой совокупностью форм задолго до того, как он превратился в *Zeitwort*. . .»⁵⁵

⁵³ Ср.: I. H. Danişmend. Étude sur le langage mimé de l'homme primitif et sur les verbes sans conjugaison. Istanbul, 1936, стр. 9—14.

⁵⁴ А. В. Десницкая. К вопросу о соотношении именных и глагольных основ в индоевропейских языках. «Уч. зап. ЛГУ. Серия филол. наук», вып. 14, 1949, стр. 108.

⁵⁵ M. Bréal. Essai de sémantique. Science des significations. Paris, 1924, стр. 353.

Необходимо, наконец, кратко остановиться на критическом анализе целого ряда недоразумений, сложившихся в прошлом при оценке характерных черт мышления носителей языков активной типологии и проникнутых расистской по своему существу идеей о его неполноценности. Хотя с их отдельными рецидивами приходится иногда сталкиваться и в настоящее время, в целом их удельный вес был особенно значительным в тот период, когда большая часть этнологов и лингвистов оказалась под воздействием известной концепции Л. Леви-Брюля о будто бы переживавшейся человечеством фазе так называемого дологического мышления.

Характеристика семантической детерминанты активного строя, как ориентирующей его структурные компоненты на выражение не субъектно-объектных отношений, а тех отношений, которые существуют между активным и инактивным участниками пропозиции, в прошлом неоднократно давал исследователям повод говорить о неразличении в сознании носителей активных языков самих субъектно-объектных отношений. Так, еще К. Уленбек исходил из положения о специфическом «мышлении народов, не знающих противопоставления между переходным и непереходным действием, а знакомых лишь с различием между действием активным и пассивным»⁵⁶. Сходные формулировки встречались и у некоторых других лингвистов.

Однако данная выше характеристика семантической детерминанты активного строя, как уже подчеркивалось в III главе настоящей работы, еще не дает каких-либо оснований для вывода о неразличении самих субъектно-объектных отношений действительности в сознании говорящих на языках активной типологии. Это должно быть очевидным по крайней мере для всех лингвистов, разделяющих тезис, согласно которому в двуединстве, образуемом языком и мышлением, именно последнему принадлежит определяющая роль. Э. Кошмидер совершенно справедливо пишет в этой связи, что «наше мышление, действительно, преимущественно пользуется тем, что имеется в системе языка, но оно никак не связано границами

⁵⁶ Х. К. Уленбек. Пассивный характер переходного глагола пль глагола действия в языках Северной Америки. «Оргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 94—95.

этой системы, потому что всегда можно мыслить и такие вещи, которые в инвентаре языка не представлены», и настойчиво предостерегает лингвистов от «легкомысленной этнопсихологической интерпретации языковых форм», а также от поспешных выводов об отсутствии у того или иного народа осознания каких-либо явлений действительности, если в языке этого народа нет соответствующего слова или грамматической формы⁵⁷. Ср. в этом отношении и следующее высказывание А. Н. Савченко: «Нет основания полагать, что первобытному мышлению не свойственно было понимание субъекта и объекта действия, а доступно было противопоставление только активного и пассивного положения предмета. Теоретически вероятно, что осознавалось и одно и другое, и это подтверждается тем фактом, что в языках обществ, находящихся на различных уровнях развития, начиная с самых примитивных, бывает и эргативная конструкция предложения (у автора последнее понятие охватывает как собственно эргативную конструкцию, так и активную. — Г. К.) и номинативная»⁵⁸. Впрочем, автор отмечает далее: «Но вероятно также, что в первобытном мышлении вследствие недостаточной дифференцированности, четкости понятий понятие субъекта действия слабо отграничивалось от понятия активного предмета и объект — от пассивного предмета»⁵⁹.

В предшествовавшем изложении подчеркивалось, что целый ряд структурных характеристик языков активной типологии уже сам по себе может быть истолкован как усиление ориентации языкового строя на выражение субъектно-объектных отношений (ср., например, трактовку именной категории притяжательности, различающей формы органической и неорганической принадлежности как целую ступень в языковом обособлении субъективного и разных градаций объективного). Еще более убедительные иллюстрации такого усиления в изобилии представляют факты эргативных языков, в основе структурного механизма которых усматривают глубинное противопоставление агентивного и фактитивного начал, и осо-

⁵⁷ E. A. Schmieder. Beiträge zur allgemeinen Syntax. Heidelberg, 1965, стр. 184.

⁵⁸ А. Н. Савченко. Указ. соч., стр. 141.

⁵⁹ Там же.

бенно поминативных, ориентирующих парадигматические элементы своей структуры на глубинную оппозицию субъектного и объектного. Думается, что с подобной перспективой может быть в конечном счете согласован, в частности, известный тезис Й. Вакернагеля о том, что в развитии индоевропейских языков может быть обнаружен определенный прогресс, заключающийся в том, что «более новые формы выражения в целом соответствуют логике (субъектно-объектных отношений. — Г. К.) в большей степени, чем более старые формы»⁶⁰. Конечно, имеются все основания утверждать, что в структуре активного строя своя внутренняя логика проводится не менее последовательным образом, чем это имеет место в структуре эргативного или номинативного. Однако, как свидетельствует материал, здесь имеем дело с особой семантической детерминантой языка, которую можно рассматривать лишь как очень грубое приближение к субъектно-объектной.

Некорректность гипотезы о дологическом характере мышления носителей языков активной типологии не позволяет, в частности, присоединиться к мысли Ф. Маутнера, заметившего в свое время, что логика Аристотеля выглядела бы по-иному, если бы Аристотель говорил не на греческом, а на языке индейцев дакота⁶¹. Это замечание, по существу предвосхищавшее позднее сформулированную гипотезу Сепира—Уорфа об интенсивнейшем воздействии языка на мышление, в настоящее время теряет под собой всякую почву. Напротив, имеются основания полагать, что в последнем случае Аристотелю было бы в некотором смысле легче прийти к построению своей логической системы, в виду того, что в языках активной типологии отсутствует связочный глагол, с одной стороны, и морфологически маркированное дополнение, с другой. Вместе с тем не следует упускать из виду и того немаловажного обстоятельства, что структура древнегреческого языка VI столетия до н. э. все еще сохраняла некоторые ощутимые точки соприкосновения с активным строем.

⁶⁰ *J. Wackernagel. Vorlesungen über Syntax mit besonderen Berücksichtigung von Griechisch, Lateinisch und Deutsch. Basel, 1920, стр. 63.*

⁶¹ *F. Mauthner. Beiträge zu einer Kritik der Sprache, Bd III. Stuttgart—Berlin, 1902, стр. 4.*

Не выдерживает серьезной критики и тезис о неспособности носителей рассматриваемых языков к абстрактному мышлению, уже затрагивавшийся в III главе. Его адепты апеллировали обычно к таким языковым фактам, как наличие имен существительных, не употребляющихся без местоименной притяжательной флексии, функционирование инклюзивной и эксклюзивной лексем в прономинальной системе, явление глагольной дублетности, основанной на соотносительности обозначаемого действия с референтами различного рода и т. п. Этот тезис не учитывает ни того общего обстоятельства, что мышление не может быть сковано спецификой языковой структуры, ни, тем более, фактического материала самих представителей активного строя, только теперь становящегося объектом систематизации. Между тем последний силовь и рядом свидетельствует об обратном. Так, например, в высшей степени абстрактны именные притяжательные формы обвиатива (так называемого четвертого лица) типа 'чья-то рука', 'чей-то след', 'чей-то дом' (не говоря уже о множестве субстантивов вообще не приобретающих здесь посессивной флексии). С другой стороны, максимально абстрактным оказывается в рассматриваемых языках инклюзивное местоимение 'мы', способное подразумевать всех мыслимых участников препозиции ('я + ты + они'). Наконец, упомянутая глагольная дублетность характеризует лишь ограниченные звенья лексической системы. В этом контексте, вероятно, нелишним будет привести и высказывание А. Ф. Анисимова, который, комментируя казалось бы весьма конкретные лексемы в языках народов, находящихся на относительно невысокой ступени культурного развития, отмечал, что подобная черта номинации «вовсе не означает отсутствия способности к обобщениям, а знаменует собой определенную ступень исторического развития обобщения, ибо уже самые первые наименования требуют интегральной мыслительной деятельности . . .»⁶²

Предпринятый в предшествующем изложении анализ структуры активного строя должен, вероятно, привести к выводу и о встречавшемся в прошлом преувеличении роли анимистического начала в мышлении носителей

⁶² А. Ф. Анисимов. Исторические особенности первобытного мышления. Л., 1971, стр. 55.

рассматриваемых языков. Профилирующие черты типологии последних обусловлены, конечно, не одухотворением сил природы (которое могло играть в этом плане лишь весьма скромную роль), а проведением говорящими на них вполне рациональных аналогий между такими компонентами живой природы, как человек, животное и растение, с одной стороны, и компонентами неживой, с другой. Поэтому представляется, что и формулировка Э. Кассирера, согласно которой классное распределение субстантивов в рассматриваемых языках определяется не только объективными критериями, представляющимися эмпирическому наблюдению, но и в значительной степени обусловлено и направлением мифической фантазии и мифического одухотворения природы ⁶³, также страдает преувеличением роли иррационального. Тем более трудно усмотреть языковые основания для того, чтобы считать вслед за А. П. Рифтиным, что так называемой активно-пассивной стадии языка, предшествовавшей, по его мнению, эргативной, должно было соответствовать мифологическое мышление ⁶⁴.

Ввиду сказанного следует воздержаться от предположения, что говорящие на языках активной типологии выражают свои мысли менее адекватно, чем носители номинативных или эргативных языков. Более того, могут найтись аргументы, чтобы с неменьшим успехом утверждать, что по крайней мере в некоторых отношениях структура активного строя отражает объективную реальность более адекватным образом, чем, например, структура номинативного. В последней связи небезынтересно привести следующее высказывание М. М. Гухман: «Вероятно, семантико-синтаксические отношения, характерные для языков номинативного строя, отражают более высокую степень абстракции, но, с другой стороны, в так называемых активных языках языковое моделирование более прямолинейно и последовательно отражает различия, реально существующие в действительности. Если при некоторой фантазии представить себе, что среди носителей активных языков оказался бы лингвист-теоретик,

⁶³ *E. Cassirer. Philosophie der Symbolischen Formen, Bd I. Sprache Berlin, 1923, стр. 270.*

⁶⁴ *Ср.: А. П. Рифтин. Основные принципы построения теории стадий в языке, стр. 20.*

занимающийся сравнительной типологией и изучающий языки номинативного строя, он, пожалуй, пришел бы к выводу, что моделирование этих языков отражает ту стадию мышления, когда человек одухотворял всю окружающую действительность»⁶⁵. Думается поэтому, что можно полностью согласиться со следующими словами одного из ведущих исследователей языков активной типологии Г. Хойера: «... подобно другим языкам, американские аборигенные идиомы представляют собой в высшей степени совершенные знаковые системы, непохожие на наши собственные, но столь же хорошо приспособленные к коммуникации и другим функциям языка, как и самые восхитительные из классических и современных европейских языков»⁶⁶.

⁶⁵ М. М. Гухман. К вопросу о взаимоотношении языка и мышления. «Известия АН СССР, ОЛЯ», 1973, № 4, стр. 357—358.

⁶⁶ H. Hoijer. Some Problems of American Indian Linguistic Research. «Papers from Symposium on American Indian Linguistics». University of California Publications in Linguistics, v. 10, Berkeley and Los Angeles, 1954, стр. 10.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подобно номинативному, эргативному и некоторым другим языковым типам, понятие которых может быть сформулировано в рамках контенсивной (содержательной) типологии, активный строй трактуется в настоящей работе в качестве целостного состояния языка, реализующегося своими специфическими характеристиками на лексическом, синтаксическом и морфологическом уровнях. Его представители засвидетельствованы в настоящее время в Северной и Южной Америке (языковые семьи на-дене, сиу, мускоги, тупи-гуарани, в значительной степени — прокуа-каддо), и, возможно, будут обнаружены на других континентах. В существенной мере активная типология представлена в таких древних языках Передней Азии, как хурритско-урартские и особенно эламский. Несколько менее отчетливо ее черты прослеживаются в некоторых других случаях (например, в эскимосско-алеутских языках). Можно привести многочисленные свидетельства того, что активные языки являются типологическими предшественниками эргативных (как известно, в прошлом и те и другие не были сколько-нибудь строго разграничены, что в течение длительного времени тормозило разработку теории активного строя). Вместе с тем активную фазу переживали, вероятно, и такие, ныне в своей основе номинативные языки, как индоевропейские, афразийские, картвельские, енисейские, кечумара и другие.

Существующие в рамках активного строя закономерности организации лексической структуры и прежде всего координированные друг с другом принципы лексикализации имен существительных по классам активных и пассивных (более или менее близкий к противопоставлению одушевленного и неодушевленного классов) и распределения глагольных слов по признаку активности («глаголы действия») ~ стативности («глаголы состоя-

ния»), определяют здесь функционирование всего комплекса остальных импликаций активности. Необходимо иметь в виду, что обе названные группировки лексем образуют так называемые скрытые категории, что долго не позволяло не только увидеть их определяющую роль в структурном механизме рассматриваемых языков, но и даже обнаружить самый факт их функционирования. Таким образом, структура активного строя с особой наглядностью подтверждает справедливость общелингвистического тезиса о первичности лексического и вторичности грамматического.

Статистика употребления субстантивов в тексте показывает, что в позиции активного участника ситуации почти без исключений выступают обозначения одушевленных референтов, в то время как в роли инактивного чаще выступают обозначения неодушевленных. Оба класса имен выделяются и по своим морфологическим потенциям. Такое положение позволяет в целом отождествить названия людей, животных и растений с классом активных имен, а обозначения всего остального — с классом инактивных. Активные глаголы обозначают действия, движения, события, а стативные — состояния и качества. Конкретный состав и тех и других может несколько варьировать по языкам. Характерной чертой глагола языков активной типологии является очень слабая выраженность его субъектной или объектной интенции. Ср., например, диффузную в этом отношении семантику активных глаголов типа 'вести' ~ 'идти', 'гнать' ~ 'бежать', 'жечь' ~ 'гореть', 'тащить' ~ 'ползти', 'будить' ~ 'просыпаться' и т. п.

Среди более частных лексических импликаций активности следует упомянуть наличие особой группы глаголов непроизвольного действия и состояния (среди них оказываются *verba sentiendi*, *verba affectuum* и др.), отсутствие глагольных лексем, специально ориентированных на передачу субъектно-объектных отношений (например, *verba habendi*), функционирование инклюзивного и эксклюзивного местоимений 1-го лица множественного числа в прономинальной системе.

В числе признаков-координат активного строя на синтаксическом уровне следует назвать корреляцию активной и инактивной конструкций предложения, первая из которых задается активными глаголами, а вторая —

стативными, а также дифференцированность в инвентаре второстепенных членов предложения ближайшего и дальнего дополнений. Выделяющийся преимущественно в представителях развитого активного строя класс глаголов непроизвольного действия и состояния («аффективных») также задает особую конструкцию предложения.

Важнейшими импликациями активности на уровне обслуживающей синтаксис морфологической системы являются противопоставление активной и инактивной серий личных аффиксов в глагольном спряжении или функционально аналогичная ему оппозиция активного и инактивного надежд (при условии наличия именного склонения).

В зависимости от степени близости представителей активного строя к постулируемому в работе его абстрактному эталону можно разграничить языки, которые реализуют комплекс его признаков-координат последовательно, а также языки, характеризующиеся совмещением некоторых черт иных типологий. Материал последних представляет особый интерес в двояком отношении, с одной стороны, в плане определения закономерностей развития активного строя, с другой — в плане выяснения его генезиса.

Основную специфику типологии предложения в рассматриваемых языках образует корреляция его активной и инактивной моделей. Кроме них здесь представлена также «аффективная» конструкция, задаваемая классом глаголов непроизвольного действия и состояния (для языков раннеактивного состояния, например, на-дене, последняя малохарактерна в связи со слабой выделенностью соответствующего глагольного класса). Вместе с тем сомнение вызывает наличие здесь особой посессивной конструкции предложения, поскольку специального класса *verba habendi* в активных языках не существует. Корректные определения, характерные для последних конструкций предложения, возможны только на уровне глубинного синтаксиса. Активная типология предложения есть такая его типология, в рамках которой субъект активного действия трактуется иначе, чем субъект инактивного, т. е. состояния (при этом объект первого трактуется аналогично субъекту второго). Отсюда активная конструкция может быть определена как модель активного

предложения этой типологии, а инактивная — как модель ее инактивного предложения.

Принципиальная возможность широкого варьирования морфологического облика основных моделей предложения активной типологии непосредственно обуславливается их глубинно-синтаксической сущностью. Например, активная конструкция предложения, подобно коррелирующим с ней другим моделям, может иметь облик трех следующих структурных разновидностей: а) глагольной ($N-V_{act} (inact.)$), в которой отношения активности всецело передаются в составе словоформы глагола-сказуемого, б) «смешанной» ($N_{act.}-V_{act} (inact.)$), где те же отношения выражаются как в словоформе глагола-сказуемого, так и в синтаксически связанных с ним именных членах, и в) именной ($N_{act.}-V$), в которой отношения активности передаются исключительно падежными формами именных компонентов. Таким образом, должно быть очевидным отличие активной конструкции предложения от эргативной и по числу составляющих синтагм: если в первой минимально необходима одна — предикативная синтагма, то вторая включает, как обычно полагают, две — предикативную и комплетивную.

Синхронной доминантой любой модели предложения активной типологии является глагол-сказуемое, управляющий ее именными компонентами. Проявлением именно такой синтаксической зависимости являются весьма распространенные в рассматриваемых языках факты инкорпоративной связи подлежащего со стативным глаголом-сказуемым и ближайшего дополнения с активным глаголом-сказуемым. Подлежащее и сказуемое и здесь играют роль двух грамматически организующих предложение центров, т. е. являются его главными членами. В то же время ближайшее и дальнейшее дополнения, равно как и «аффективное», выступающее в составе конструкции, образуемой глаголами произвольного действия и состояния, входят в инвентарь второстепенных членов. Ближайшее дополнение встречается лишь при активном глаголе-сказуемом и обозначает широкий объект направленности передаваемого действия, как он представлен, например, в предложениях семантики 'медведь ломает дерево', 'змея ползет к реке', 'отец садится на землю' и т. п. Дальнейшее дополнение приближается по своей семантике к обстоятельству. Максимально дистантная пози-

ция подлежащего и сказуемого, случаи маркированности подлежащего в плане выражения, а также некоторые другие признаки указывают здесь на более автономное положение последнего по сравнению с дополнениями.

В соответствии с синтаксическими зависимостями, существующими в предложении, преобладающий в языках активной типологии словопорядок может быть отражен схемой $S-(O')-(O'')-V$ для активной конструкции предложения (O' здесь символ дальнейшего дополнения, O'' — ближайшего) и схемой $S-(O')-V$ для пассивной.

Одной из важнейших импликаций активного строя на уровне морфологии следует считать противопоставление активного и пассивного рядов личных аффиксов в глагольном спряжении или функционально аналогичную ему оппозицию активного и пассивного падежей в именном склонении. Противопоставление личных аффиксов обеих серий находит свое внешнее выражение либо в их материальном различии, либо — в позиционном. Активный падеж как в плане содержания, так и в плане выражения оказывается маркированным членом оппозиции, а пассивный — немаркированным. Специфическая функция первого заключается в оформлении подлежащего активной конструкции предложения, а второго — в оформлении подлежащего пассивной, а также дополнений.

Формы действительного и страдательного залогов в активном глаголе не получают дифференциации. Их место здесь занимает диатеза незалогового характера, содержательная сущность которой сводится к противопоставлению центробежной и нецентробежной версий: ср. их семантическую оппозицию 'сушить' ~ 'сохнуть', 'жечь' ~ 'гореть', 'класть' ~ 'ложиться', 'будить' ~ 'просыпаться' и т. п. Ввиду этих фактов известный тезис К. Уленбека о пассивном характере активной конструкции предложения в американских языках не имеет под собой структурных оснований (не получает он поддержки и со стороны передаваемого в ней содержания).

Характерными чертами глагольной морфологии активных языков являются также несквозной характер парадигмы спряжения (полная — для активных глаголов и «дефектная» — для стативных), его классно-личный тип, резкая доминанция аспектуальных различий, передающих способ действия, над темпоральными.

В именной морфологии основное место занимает категория притяжательности с противопоставлением форм органической и неорганической принадлежности, служащая для передачи партитивных и посессивных отношений. Категории падежа и числа развиты слабо.

Функциональная специфика разноуровневых импликаций активного строя свидетельствует о том, что его структура мотивируется в конечном счете определенным содержательным стимулом — семантической детерминантой (типологической глубинной структурой), противопоставляющей активное начало инактивному. В некоторых представителях активной типологии это противопоставление оказывается весьма близким к оппозиции одушевленного и неодушевленного. В других, напротив, оно приближается к оппозиции субъектного и объектного начал. Впрочем, нетрудно заметить, что и за противопоставлением собственно активного и инактивного начал в весьма грубом приближении также должна стоять оппозиция субъектного и объектного.

Обращает на себя внимание и целый ряд разноуровневых фреквенталий активного строя. На уровне лексики к их числу должны быть отнесены обычно встречающиеся здесь более дробные подразделения именных лексем инактивного класса, основанные на форме предметов, с одной стороны, а также лексем активного класса, основанные на различии людей и животных. Эти еще менее явные группировки субстантивов заявляют о себе в некоторых морфологических особенностях их согласования с синтаксически связанными с ними словами. Другой лексической фреквенталией рассматриваемых языков является супплетивизм так называемых сингулярных и плюральных глаголов, предполагающих соотношенность действия с единичностью или множеством вовлеченных в него реальных референтов (это явление, характеризующее в основном активные глаголы, связано с неразвитостью здесь морфологической категории числа). Сюда же следует отнести многочисленные в активных языках факты этимологического тождества именных и, отчасти, глагольных лексем, основанные на аналогиях, существующих между животным и растительным организмом и их функциями: ср. материальные тождества семантем 'кровь' ~ 'сок', 'ухо' ~ 'лист', 'шкура' ~ 'кора', 'убивать' ~ 'срубать', 'плакать' ~ 'сочиться' и т. д. Словообразо-

вательную фреквенталию активности составляет обилие уменьшительных и увеличительных аффиксов, «компенсирующих» очевидную ущербность здесь класса имен прилагательных.

Наиболее значителен удельный вес этих фреквенталий в языках на-дене, напротив, не знающих отдельных признаков эталонного активного состояния (в частности, оппозиции инклюзива ~ эксклюзива в местоимениях). Однако от возникающего при этом соблазна типологически обособить их структурное состояние как «виталистическое», т. е. построенное на противопоставлении одушевленного и неодушевленного начал, приходится отказаться, так как субъектно-объектные отношения передаются в них в принципе таким же образом, как и в других представителях активной типологии.

Имеются все основания считать, что глагольная лексема остается структурной доминантой активного строя и в плане диахронии. С историческим развитием последнего прежде всего связано постепенное изменение самого лексического качества активных и стативных глаголов, перестраивающихся на явную или скрытую оппозицию транзитивных и интранзитивных. Примечательно, что в целом ряде эргативных и номинативных языков наряду с основным для них принципом лексикализации глагольных слов на правах пережитка встречается пересекающееся с ним распределение глаголов на динамические и статические, принципиально близкое к противопоставлению активных и стативных. Параллельно с этим наблюдаются процессы преобразования бинарного распределения субстантивов между активным и инактивным классами в более формализованные группировки имен или их полной утраты. Факты свидетельствуют о том, что активный строй — фаза интенсивного формирования имени прилагательного, тесно связанного одним из своих истоков со стативным глаголом (ср., например, характерную постпозицию его праобраза по отношению к определяемому, выдающую его предикативную природу), а также причастия.

В сфере типологии предложения изменениям в принципах структурной организации лексики отвечает отчетливая тенденция к ослаблению корреляции его активной и инактивной конструкций. В соответствии с перестройкой, протекающей на более высоких уровнях языковой

структуры, наступают однотипные преобразования и в морфологической системе. Здесь, в частности, засвидетельствована двоякая эволюция активного и инактивного рядов личных глагольных аффиксов: если в одном случае они перестраиваются соответственно в эргативный и абсолютный ряды, то в другом они обычно сливаются в единый субъектный (номинативный) ряд. В именной морфологии прослеживаются факты постепенного снятия оппозиции активного и инактивного падежей и формирования либо эргативного и абсолютного, либо номинатива и аккумулятива. Не менее заметным представляется процесс нейтрализации противопоставления именных форм органической и неорганической принадлежности. При всем этом очевидна индуцирующая роль активных глаголов по отношению к стативным, а также имен активного класса по отношению к именам инактивного.

Констатация основных закономерностей структурной эволюции активной типологии позволяет давать определенную историческую квалификацию ее конкретной фазы, переживаемой каждым из рассматриваемых языков. Есть основания предполагать, что языки, в которых дихотомия активного и инактивного начал в той или иной степени близка к корреляции одушевленного и неодушевленного, соотносимы с раннеактивной формацией. Напротив, языки, где эта же дихотомия приближается к корреляции субъектного и объектного, по всей вероятности, иллюстрируют позднеактивное состояние.

Большой интерес вызывают, в частности, представители позднего активного состояния. Содержательная интерпретация охарактеризованных выше тенденций развития активных языков приводит к заключению, что за ними стоит по существу единый процесс усиления оппозиции субъектного и объектного начал. Намеченные две схематические линии этого процесса, по-видимому, обозначают соответственно эргативизацию или номинативизацию языковой структуры. Однако конкретные предпосылки реализации того или другого пути преобразования остаются недостаточно ясными (не исключено, что их составляют преимущественно одноличный («субъектный») или преимущественно двухличный («субъектно-объектный») характер глагольного спряжения). Значительно менее строгим закономерностям подчинен протекающий по рассматриваемым языкам процесс утраты фреквента-

лий активного строя. Относительная хронология составляющих последний обнаруживает, судя по всему, существенную зависимость от частных особенностей структуры языка.

В настоящее время наиболее вероятные иллюстрации процесса номинативизации активного строя можно усмотреть в истории таких языков, как индоевропейские, картвельские, енисейские, кечумара, афразийские и нек. др. Линию его эргативизации следует видеть в истории таких языков, как баскский, абхазско-адыгские, нахско-дагестанские, бурушаски, папуасские, австралийские, чукотско-камчатские, эскимосско-алеутские, алгонкинские, чинук-димшиан, юто-ацтек, пано-такана, салиш и др.

Вместе с тем в эмпирической действительности не видно случаев преобразования языков эргативного или номинативного строя в активные. По-видимому, лишь в условиях интенсивного воздействия со стороны соответствующего субстрата языки иных типологий способны воспринять отдельные черты активности (ср. свидетельства некоторых индоиранских языков).

Если наиболее общие тенденции развития активного строя сформулированы здесь адекватно, то возникает возможность высказать гипотезу о его происхождении, подкрепляемую анализом комплекса фреквенталий активных языков. Судя по содержанию своих структурных компонентов, он, по-видимому, должен представлять собой результат преобразования типологически отличного состояния языка — так называемого классного строя — типологическая глубинная структура которого еще менее отчетливым образом отражает противопоставление субъектного и объектного начал. Нетрудно заметить, что лабильная по своему характеру оппозиция активного и пассивного начал, детерминирующая структуру активного строя, особенно близка к стабильной оппозиции одушевленного и неодушевленного, профилирующей в некоторых представителях классного строя. Предполагаемая в работе картина становления активного строя как будто находит определенную опору, с одной стороны, в раннеактивных языках типа на-дене, сохраняющих целый комплекс точек соприкосновения с классным строем (наиболее отчетливое противопоставление одушевленного и неодушевленного классов, пережитки более дробной классификации), с другой — в представителях классной

типологии, в той или иной степени перестроивших свою структуру на бинарное противопоставление одушевленного и неодушевленного начал (ср., например, языки банту).

В свете этой гипотезы вероятный механизм формирования активного строя на уровне лексики должен сводиться в основном к преобразованию распределения субстантивов по явным одушевленному и неодушевленному классам на оппозицию скрытых активного и инактивного классов, а также к перестройке ранее функционировавшего принципа лексикализации глагольных слов (до сих пор представляющегося не вполне неясным) на противопоставление активных и стативных глаголов. В соответствии с этими сдвигами должны были подвергнуться преобразованию синтаксическая структура языка, в частности типология предложения, а также его морфологическая система (прежде всего — принципы глагольного спряжения).

В настоящее время в распоряжение исследования поступает все больше свидетельств в пользу взгляда, согласно которому в конечном счете за процессом становления активного строя стоит смена семантической детерминанты языка, результирующая в усилении ориентации его основных строевых элементов на передачу субъектно-объектных отношений: если семантическая детерминанта последнего, противопоставляющая активное и инактивное начала, отстоит от субъектно-объектной семантической детерминанты номинативного строя на большее расстояние, чем таковая эргативного (ср. оппозицию в нем агентивного и фактивитивного), то еще более удаленной от нее представляется семантическая детерминанта классного строя (ср. противопоставление одушевленного и неодушевленного начал).

SUMMARY

The active type, like the nominative, ergative and other linguistic types, which may be described in terms of content-oriented typology, is treated in the present work as an integral state of language, displaying its specific lexical, syntactic and morphological features. Its representatives are attested in North and South America (the groups of Na-Dene, Sioux, Muskogee, Tupi-Guarani, in some degree — Iroquois-Caddo, possibly — Yuchi) and are likely to be found in other continents. Some ancient languages of the Near East (especially, Elamite) represent the active type to a considerable degree. Its features, but far less expressed, may be traced in some other cases.

The regularities of the active type lexical structure determine the functioning of the whole set of the specific features on the other levels of language. Its lexical structure is based on the principle of dividing nouns into active and inactive classes and the corresponding principle of dividing verbs into active (verbs of action) and stative (verbs of state) groups. Both of these groups of words form so-called «covert» categories. The structure of the active type clearly bears out the general thesis on the priority of lexicon over grammar. The active participant of a situation is almost always expressed by an animate referent, whereas the inactive participant is more often expressed by an inanimate one. These two noun classes differ from each other in their morphological potentialities too. Everything aforesaid permits to identify names of persons, animals and plants with the active class of nouns, and all other names — with the inactive one. Active verbs denote actions, motions, events, while stative verbs denote states and qualities. The stock of this or that group of verbs may vary somewhat from one language to another. The subjective or objective intention of the verb is weakly expressed. Among specific lexical features of the active type one should mention:

a particular group of verbs denoting involuntary actions and states, lack of verbs especially intended to express subject-object relationships (e. g. *verba habendi*), an opposition of inclusive and exclusive pronouns.

One of the active type syntactic coordinate features is the correlation between active and inactive sentence constructions, the first being caused by active verbs, the latter by stative verbs. Another characteristic syntactic trait here is the distinction between the so-called nearest and distant complements. The main active type implications for the morphological system employed in syntax are the opposition of the active and inactive series of personal verbal affixes and that of the active and inactive noun cases.

The main feature of sentence typology of the languages under consideration is the correlation between the active and inactive models of sentences. Besides, there is an «affective» construction, introduced by the class of involuntary action and state verbs (languages of the early active phase lack this construction). The correct definitions of the sentence constructions typical for the active languages may be provided only at the deep syntactic level. The active sentence typology is that which treats the subject of the active action differently from the subject of the inactive one, i. e. of state, the object of the active action being treated in the same way as the subject of the inactive one. The deep structure of the main models of active typology sentences opens the way to the great variety of their morphological shapes. E. g. the active construction may have, like other models, three structural patterns correlated with it: a) verbal ($N-V_{act}$), with the active relationships expressed only in the form of the verbal predicate; b) «mixed» ($N_{act}-V_{act,(inaot.)}$), with the same relationships expressed both in the form of the verbal predicate and in the forms of the nominal parts, syntactically related to it; c) nominal ($N_{act}-V$), with the active relationships expressed only in the case forms of the nominal parts. The synchronic dominant of any model of the active typology sentence is the verbal predicate. This is reflected in the incorporation of the subject with the stative verb-predicate or the nearest object with the active verb-predicate, the process being widespread in languages of the active typology. Here, too, the subject and the predicate form two grammatical nuclei of the sentence. At the same time both objects are

included in the set of the secondary parts, as well as the «affective» one, occurring in the construction with involuntary action and state verbs. The nearest object is used only in sentences with the active verb-predicate and denotes an object to which the action refers, as it is represented in sentences like 'a bear breaks a tree', 'a serpent crawls to the river'. The distant object is similar by its function to adverbials. The typical word order for active languages depends on the syntactic relations in a sentence. It may be represented by the pattern $S-(O')-(O'')-V$ for the active construction (O' designating the distant object, O'' — the nearest one) and by the pattern $S-(O')-V$ for the inactive construction.

The most important morphological implications of active languages are as follows: the opposition of the active and inactive series of personal affixes in the verb conjugation and the opposition of the active and inactive cases in the noun declension, similar to each other by their function. The personal affixes of the two series are opposed either by their form or by their position. The active case appears to be the marked member of the opposition both in meaning and in expression, the inactive case — unmarked. The specific function of the first one is to express the subject of the active construction, that of the second — to express the subject of the inactive construction, as well as the objects. The active verb instead of distinguishing between active and passive forms has a diathesis of centrifugal and noncentrifugal versions: cf. their semantic opposition 'to mourn, to deplore ~ to weep', 'to put ~ to lie down' and so on. The following features should be added to the list of characteristic verb morphology features of active languages: the heterogeneous character of the verb paradigm (active verbs have the complete paradigm, stative — the «defective» one), its class-personal type, the highly expressed domination of aspectual meanings over temporal ones. The main category of noun morphology is the possession category with a correlation between alienable and inalienable possessive forms. This category serves to denote partitive and possessive relationships. The categories of case and number are weakly developed.

The specific functional value of the active type implications presented on different levels of language shows that its structure is motivated by a certain contentive

stimulus — semantic determinant (the typological deep structure), with the opposition of the active and inactive principles. The active type is characterized by the set of frequentalia belonging to different levels. On the lexical level the frequentalia are as follows: the inactive noun class is often subdivided into groups according to the shape of things, the active noun class is often subdivided into persons and animals. Another lexical frequentalia of the languages under discussion is suppletion of so-called «singular» and «plural» verbs. Noteworthy are also the facts of the etymological identity of nominal and partly verbal lexemes, based on the analogies existing between animal and plant organisms and their functions: cf. the material identity of semantemes 'blood' ~ 'juice', 'ear' ~ 'leaf'.

From a diachronic point of view, there is also every reason to consider the verb to be the structural dominant of the active type. The development of the latter influenced the gradual change of the lexical quality of active and stative verbs, reforming them in accordance with the opposition of the transitive and intransitive principles. It is noteworthy that many ergative and nominative languages, equally with the main principle of verb division, reveal the coexisting remnant principle: verbs are divided into dynamic and static ones, the opposition between them being very close to that of the active and stative verbs. The division of nouns into the active and inactive classes seems to change into more formalized groups of nouns or to disappear completely.

The changes of lexical structure are accompanied by changes in the types of sentences: a tendency is observed to weaken the opposition of the active and inactive constructions. Similar changes take place in the morphological system. Here, in particular, active and inactive personal verbal affixes may develop in two ways: in one case they change into ergative and absolute series correspondingly, while in the other case they merge into one nominative set. In the noun morphology the opposition of the active and inactive cases gradually disappears and transforms into either ergative and absolute, or nominative and accusative cases. The process of neutralization of alienable and inalienable possession forms of nouns is no less obvious. There are reasons to treat languages with the opposition of the active and inactive principles, close to the opposition

of the animate and inanimate principles, as the representatives of the early stage of the active type. On the contrary, languages in which this binary opposition is close to the opposition of the subjective and objective principles are likely to represent the latest active type stage. The contentive interpretation of the active type evolutionary tendencies leads to the conclusion that against this background there is a process of strengthening the opposition of the subjective and objective principles. The two schematic lines of this process denote obviously the ergativization or the nominativization of the linguistic structure correspondingly. At the same time cases of an ergative or nominative language transition into active stage are not stated.

If only the most general evolutionary tendencies of the active type development are described here adequately, a hypothesis about its origin may be put forward. It might have developed from another typological phase — class type, the deep structure of which reveals the subjective-objective opposition far less distinctly. According to this hypothesis, the lexical system must have undergone the following changes: the noun division into animate and inanimate classes has changed into the covert opposition of the active and inactive classes, the original verb correlation has changed into the opposition of active and stative verbs. Corresponding changes must have taken place in syntactic structure and in the morphological system. More and more evidence is being found to support the view that it is precisely the semantic determinant of a language which changes with the creation of the active type. This process results in strengthening the subject-object orientation in all structural elements of a language.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

| | |
|--------|---|
| ВДИ | — Вестник древней истории |
| ИКЯ | — Иберийско-кавказское языкознание |
| МЯЯ | — Материалы по яфетическому языкознанию |
| ЭКПЯРТ | — Эргативная конструкция предложения в языках различных типов |
| BSLP | — Bulletin de la Société de Linguistique de Paris |
| IJAL | — International Journal of American Linguistics |
| ZS | — Zeitschrift für Semitologie |
| BFLS | — Bulletin de la Faculté des Lettres de Strassburg |
| SBAW | — Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philos. — hist. Klasse. Sitzungsberichte |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| Введение..... | 3 |
| Глава 1. Из истории изучения активного строя..... | 10 |
| Глава 2. К определению основных понятий теории активного строя..... | 53 |
| Глава 3. Активный строй в синхронии..... | 78 |
| Глава 4. Активный строй в диахронии..... | 170 |
| Глава 5. К генезису активного строя..... | 264 |
| Заключение..... | 304 |
| Summary..... | 314 |